

Владимир Тендряков | 1

К 1477664

Владимир
Тендряков | 1

21.08.2023 03P



Владимир Тендряков

**Собрание сочинений
в пяти томах**

гная

ка
на

Владимир Тендряков

Собрание сочинений
в пяти томах



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1987

8 то
Владимир Тендряков

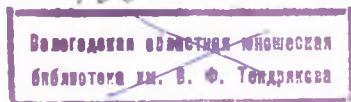
Собрание сочинений
том первый

ПОВЕСТИ

Вологодской библиотеке —
— с теплотой и благодарностью
за печать о Владимире
Федоровиче — Ваша
Н. Тендрякова

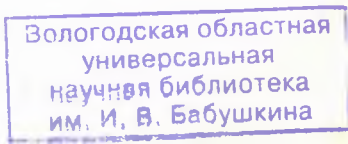
14/к1-2030
г. Вологда

~~126213-0~~⁴



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1987

01477664



Составление, примечания и подготовка текста
Н. Асмоловой-Теидряковой

Вступительная статья
Е. Сидорова

Оформление художника
В. Мирошниченко

О прозе Владимира Тендрякова

(1923—1984)

I

Владимир Федорович Тендряков был личностью огромного общественного темперамента. Он проработал в литературе тридцать пять лет, и каждое новое его произведение вызывало интерес читателей и критики, встречало признание, несогласие, будило мысль и совесть. Мало можно назвать современных прозаиков, кто бы с таким постоянством, с такой упорной страстью отстаивал право советского художника на постановку острейших социально-правственных проблем нашего общества, кто бы день за днем, напрямую, задавал вопрос о смысле человеческого существования себе и своему читателю. В творчестве В. Тендрякова неумолчно звенела туго натянутая струна гражданского беспокойства. В этом смысле он был очень целен и последователен. Его книги вызваны к жизни жаждой художественного познания действительности, стремлением писателя вынести свое суждение о ней, воззвать к нашему сознанию, воспитать или пробудить в читателе общественное неравнодушие.

Поэтому разговор о его повестях и романах сразу вступает в зону самой действительности, мы начинаем спорить о жизни, окружающей нас, о сложных духовных, экономических, моральных процессах, затронутых прозаиком. Но при этом критика, поддерживая писателя за его пафос, бесстрашие и прямоту в постановке вопросов, иногда с сожалением констатирует несовпадение «проблем» и «прозы» в некоторых тендряковских произведениях: «Безусловно, существует логика решения проблем. Но существует и логика построения художественной прозы. Проблема, введенная в прозу, должна держать собою художественную конструкцию вещи, а не наваливаться на нее сверху, иначе плохо и для проблемы и

для прозы»¹. Да и те критики, которым «перевес» проблемности не кажется слабостью прозаика, а лишь ярко выраженным свойством его писательской натуры, непременно считают своим долгом упомянуть о художественных «прототипах и убытках», сторицей окулающихся, впрочем, «значительностью, серьезностью и современностью его слова, общественной значимостью и остротой социальных конфликтов и нравственных проблем его творчества»².

Вот, по существу, два крыла критического осознания прозы Владимира Тендрякова:

граждански отзывчивый социолог и моралист, но порой «недостаточно» художник, от чего мелеет глубина и самой его проблематики;

«недостаточно» художник? Может быть. Но зато все сторицей окупается остротой и общественной значимостью конфликтов и проблем его творчества.

Оба суждения, хотя и в неодинаковой степени, признают художественную неполноту тендряковского мира. Не могу согласиться с этим. Стоит перечитать сегодня одну за другой все книги писателя, вызвавшие в свое время обильную критику, в том числе и заведомо недобросовестную, прямо отрицающую как раз правомерность проблематики и конфликтов некоторых произведений прозаика, чтобы убедиться в цельности именно проблемно-художественного мира этого писателя. Можно спорить, не соглашаться с его активно проповеднической манерой, со стремлением высказать наиболее не столько в объективно-пластической образной форме, сколько в прямом напоре рассуждений героев, где всегда явственно слышен и авторский голос. Можно отрицать действенность и универсальность притчеобразных ситуаций, весьма характерных для новелл Тендрякова. Но при этом нельзя, на мой взгляд, не видеть резко очерченную художественную оригинальность этого пера. Логика решения жизненно важных проблем для Тендрякова и художественная логика слитны, нераздельны, питают друг друга. Искусство для него начинается с идеи и живет идейностью. Мысль разворачивается в образах, проверяет себя в художественных аргументах на площадке повести или романа и, как правило, разрешается в финале, ставя перед нами и героями новые вопросы, новые проблемы.

Нельзя забывать также, что В. Тендряков сформировался как писатель в активной полемике против так называемой «теории бесконфликтности», имевшей достаточно широкое распространение в

¹ Соловьева И. Проблемы и проза (Заметки о творчестве Владимира Тендрякова). «Новый мир», 1962. № 7, с. 249.

² Кузнецов Ф. Переключка эпох. Очерки, статьи, портреты. М., Современник, 1976, с. 276.

нашей послевоенной беллетристике. Острая конфликтность, предельный драматизм ситуаций, особенно нравственных коллизий — самая характерная черта тендряковского стиля. Он ощущает правду как поиск равнодушной, активной мысли и открыто, без обиняков, стремится поведать эту правду людям, отнюдь не претендуя на всю ее объективную полноту, на собственное всеведение. Мужество и откровенность правды — тот нравственный фундамент, на котором держится художественный мир Тендрякова, и стоит он прочно и простоит долго, до тех пор, пока жизненные противоречия, его питающие, не будут исчерпаны самой действительностью.

Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская Вологодской области в семье сельского служащего. После окончания средней школы ушел на фронт и служил радистом стрелкового полка. В боях за Харьков получил тяжелое ранение, демобилизовался, учительствовал в сельской школе, был избран секретарем райкома комсомола. Первой мирной осенью поступил на художественный факультет ВГИКа, а затем перешел в Литературный институт, который окончил в 1951 году. С 1948 года В. Тендряков — член Коммунистической партии. Работал корреспондентом журнала «Огонек», писал сельские очерки, в 1948 году опубликовал свой первый рассказ в альманахе «Молодая гвардия».

Но в нашем читательском сознании Тендряков заявил о себе сразу, крупно и заметно, в начале пятидесятых годов, словно бы миновав пору литературного ученичества. Время, общественная ситуация способствовали появлению целой плеяды писателей, устами которых правдиво заговорила доселе почти молчаливая или пейзажно подгримированная послевоенная деревня. Вслед за очерками и рассказами Валентина Овечкина, Гавриила Троепольского в ранних произведениях В. Тендрякова были публично обнажены серьезные противоречия колхозной жизни тех лет, ставшие впоследствии предметом пристального общественного внимания.

Сельская действительность сороковых — пятидесятых годов, сложный процесс восстановления в деревне ленинских норм партийной и общественной жизни нашли в лице Тендрякова сильного, смелого художественного интерпретатора.

Другие устойчивые мотивы его прозы — школа и подросток, религия как эрзац духовности, искусство. Вся жизнь его волновали проблемы выбора и долга, веры и скепсиса. И до последних своих дней он тревожно размышлял над вопросом: «Куда движется человеческая история?» Свидетельство тому — роман «Покушение на миражи» (1978—1980) — наиболее глубокое и сильное

произведение Тендрякова, его духовное завещание нам и будущему;

Но о чем бы ни писал Тендряков, какую бы жизненную ситуацию ни выбирал, рассмотренные, художественный анализ действительности всегда протекают у него при свете нравственных требований совести.)

Совесь в этическом кодексе Владимира Тендрякова — основополагающее понятие, только она способна осветить человеку глубокую правду о нем самом и окружающем мире.

II

Уже в первой своей повести «Падение Ивана Чупрова» (1953) В. Тендряков обращается к истории нравственного перерождения человека, корыстно использующего свое положение в обществе. Не о материальной личной корысти здесь идет речь, откровенные рвачи и приобретатели не интересуют писателя. Ему важно понять другой нравственный феномен, издавна закрепленный в таких, например, формулах, как «ложь во благо» или «цель оправдывает средства». Тема эта не оставляет, тревожит Тендрякова, он возвращается к ней постоянно, углубляя и варьируя ее в разных произведениях.

Председатель колхоза Иван Чупров ради колхозного «блага» обманывает государство и в результате морально гибнет сам и приводит к развалу хозяйство.)

Знатная свиарка Настя Сыроегина, подталкиваемая ласковой, но твердой рукой другого председателя, встает на путь очковтирательства и, не выдержав душевных мук, стыда перед людьми, совершает в отчаянье преступление («Поденка — век короткий», 1965).

В романе «Тугой узел» (1956) секретарь райкома партии Павел Мансуров шаг за шагом утрачивает высокие нравственные ориентиры и наконец перестает различать добро и зло. В его характере писателю очень точно удалось раскрыть психологию волюнтаризма, не лишеного своеобразной отваги и риска: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Энергичный Мансуров хорошо начал, но плохо кончил, ибо ради собственной карьеры, взвалив на район повышенные, нереальные обязательства, пренебрег людьми, незаметно «вывел» их за пределы своих представлений о смысле борьбы за новое, о материальном прогрессе на селе. Искаженная, мистифицированная сознанием Мансурова цель неизбежно породила ложные средства для ее достижения и вызвала деловой и нравственный крах этого партийного руководителя.

Но особенно полно и впечатляюще раскрыта психология морального и социального перерождения в повести Владимира Тендрякова «Копчина» (1968).

Умирает Евлампий Никитич Лыков, знаменитый человек по области, председатель колхоза-миллионера «Власть труда». Умирает еще не старым, на шестьдесят третьем году жизни, в собственном доме, который «отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа, — в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна».

Неспроста начинает Тендряков свою повесть с описания лыковского дома. Дом несет отпечаток характера своего хозяина, которого большинство колхозников-односельчан почитают чуть ли не за пророка, хозяина, кормильца, давшего им безбедную жизнь.

Но какой ценой пришло материальное благополучие в колхоз «Власть труда»?

Если вдуматься, страшная эта цена. «Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то и нет семьи, есть казенная организация».

Колхоз Евлампия Лыкова богатеет даже в тяжкие дни войны. Мужские руки взятых на фронт пожарцев, лошадей и ненадежную эмтэсовскую технику заменили руки эвакуированных женщины, придиричиво, как на ярмарке, отобранных председателем. Померзший картофель из соседних сел скушался за бесценок, а то и вывозился даром и пускался на патоку, затем на рынок. А рядом, в деревне Петраковка, пацан малой — «тугой барабан живота на кривых тонких ножках» — остановившимися светлыми глазами глядит на хлеб и яйца не с жадностью, а с изумлением. Морю нищеты и гори омывает лыковский остров. Два мира через узкую дорожку колхозных границ.

«Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде» — так долгие годы приучался думать и говорить вслух пожарцы. Почти обожествляя своего крутого правом, оборотистого председателя, они отдали ему право все судить и решать за них.

Писатель глубоко вскрывает диалектику лыковского перерождения. Мы следим за Евлампием Никитичем на протяжении многих лет — от первых коммун до конца пятидесятых годов. Не родился Лыков хозяином и «богом» для своих односельчан, был как

все, только, пожалуй, умнее и способнее других и умело пользовался обстоятельствами, которые то и дело принуждали его входить в сделку с моральными принципами, ставить материальные интересы своего хозяйства превыше всего на свете. Рапо выйдя в передовые, в «маяки», он обрел и общественный вес, и тогда-то появилось сладостное чувство вседозволенности, объективно поощряемое почетом, орденами, привычным местом в президиумах.

Характер Лыкова, конечно, по-своему феноменален, но одновременно он типизирует собственной судьбой некоторые серьезные противоречия нашей колхозной истории. Типизация для Тендрякова есть, по его словам, «характерное, доведенное до исключительности».

Пожалуй, ни в одном своем произведении писатель не достигал такой силы обобщения. «Лыковщина» есть резкое искажение самой идеи социалистического строительства. Богатей на несчастье других, цепко огородив свой колхоз удельной границей благополучия, Лыков разрушается нравственно и сеет вокруг себя моральное разложение. Он окружен прилебателями, вроде своего заместителя Валерия Николаевича Чистых или личного шофера и телохранителя Алексея Шаблова. Зло приносит он и своей семье: спиваются сыновья, сохнет от горя бессловесная Ольга, вынужденная терпеть бесстыдные любовные похождения своего стареющего мужа.

Писатель не упрощает конфликта. Отрицание «лыковщины» приходит не сверху, как это нередко бывало в книгах на подобную тему, а рождается изнутри, в недрах самого колхоза «Власть труда». Эти силы зреют исподволь и наиболее концентрированного выражения достигают в образе агронома Сергея Лыкова, племянника председателя, объявляющего поначалу неравный, но в конечном итоге победный бой Евлампию Никитичу.

Сергей не просто доказал, что скудная земля Петраковки, которая после укрупнения колхозов в середине пятидесятых годов была присоединена к хозяйству «Власть труда», тоже способна давать людям хлеб. Он сделал гораздо больше: он посеял сомнения в самих основах хозяйственного и нравственного кодекса Евлампия Никитича, делившего мир на «свое» и «чужое», пробудил в рядовых колхозниках чувство хозяина своей земли. Пусть «лыковщина» еще не сдалась, еще живет в людях, первый смертельный удар ей уже нанесен.

«Кончина» написана сильной, плотной прозой; характеры героев выявлены до конца, психологическое и социальное живет в них слитно, нераздельно. Художественное мастерство Тендрякова ярко проявилось здесь и в самой стилистической ткани произведения, в слове, которое временами обретает поэтический пафос, как бы

контрастируя с основными драматическими красками повествования.

«Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крешет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахrome зелени: лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб всгунает в пору юности.

Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и взглядишь — серебром отликает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер, — по зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминает старости.

Желтизна, соломенное золото — вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.

Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дышание. На колосе серыги. Хлеб цветет. Это созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.

Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.

Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.

Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как успеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди...

Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивились своим полям. Изумлялись до страха, до отороши...

«— Господи! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас... Господи!

Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье».

Будь моя воля, я непременно поместил бы этот отрывок из «Кончины» в наши школьные хрестоматии по литературе. Советская «деревенская» проза и публицистика посвятила хлебу пасущему немало сильных, взволнованных страниц, но даже на фоне богатой традиции тендряковские строки о хлебном колосе выделяются своей безусловной поэзией. Важно только подчеркнуть, что для Тендрякова это не просто ода хлебу, не «лирическое отступление», которое у иного прозаика и само по себе было бы хорошо и уместно, а все тот же «прозаический», «счастливо-отчаянный» взгляд измученных петраковских баб, верящих и не верящих в свое грядущее счастье.

Очень редко в голосе Тендрякова прорывается прямая нежность. Обычно он жестковат и суров в описаниях, особенно в пейзажах, которые под стать драматическим событиям, свершающимся в его книгах. Но здесь — исключение, здесь крестьянская душа очнулась, дала себе волю и выплеснулась в словах бесхитростно точных, согретых сердечной памятью и болью.

Эта память сердца живет и в повести «Три мешка сорной пшеницы» (1972), действие которой протекает последней военной осенью в одном из северных сельских районов. Бригада уполномоченных прибыла сюда по поручению области добыть хоть какой-нибудь хлеб для фронта. И вновь решающим для Тендрякова становится вопрос о «средствах», которыми достигается и конкретно-исторических условиях та или иная справедливая цель.

Существо и противостояние характеров заявлено здесь, как всегда у Тендрякова, с графической четкостью и определенностью. Даже в портретах героев писатель, как правило, сразу выявляет собственную экспрессию, дает персонажам прямую или косвенную нравственную оценку.

Вот первое представление читателям членов бригады по хлебозаготовкам. Крупный план выделяет два контрастных портрета. Именно эти герои и схлестнутся потом в непримиримом конфликте.

Первый — заместитель предрика соседнего района Илья Божумов, «долговязый, тонконогий, в короткой дошке, в хромовых сапогах с галошами, бродил возле машины, заводил беседы и уже начальственно помахивал костлявым пальцем — настаивал.

Второй стоял в общей куче — молодой парень с застенчиво румяной физиономией, в шинельке, тесно ушитой в талии, приосанившийся в петушиной стоечке — одна нога (рапеная) чуть поджата, тяжесть тела перенесена на толстую, выструганную из доб-

ротной доски — полуторадюймовую палку. Женька Тулупов, недавно вернувшийся из госпиталя, выдвинутый вторым секретарем Полдневского райкома комсомола...

Он глядел на всех внимательными, разнеженно теплыми глазами».

Божеумов исповедует методы угроз и насилия. Он требует ареста председателя колхоза Адриана Фомича, сурового наказания Женьке Тулупову за сокрытие ими трех мешков сорной пшеницы, последнего колхозного зернового запаса. Тулупов и старик председатель взывают к сердцу трудящихся баб и подростков, действуют не окриком, а убеждением, и люди отдают последнее, по шепотке собранное личное зерно, пусть крохи, но все же шесть мешков на деревню. Но те, три «общих» мешка остаются неприкосновенными, без них колхозу и вовсе гибель. Кто осудит за это Адриана Фомича и Тулупова?

Для Божеумова хороши все средства, даже самые крайние, лишь бы выполнить задание о хлебопоставках. Другие коммунисты — секретарь райкома Бахтьяров, председатель сельсовета Кистерев, комсомольский вожак Тулупов постоянно думают о человеческой, моральной цене собранного хлеба. «Любой ценой» — этот лозунг не может не войти в противоречие с их представлениями о должном, необходимом, и они отвергают слепую букву приказа. Не случайно двое из них прошли фронт, видели в глаза смерть и, вернувшись инвалидами в тыл, стремятся не столько закрепить на селе военные порядки, сколько по возможности преодолеть их, помочь полуголодным людям, свершающим ежедневный трудовой подвиг во имя общей победы, выстоять и сохранить себя и родную землю для будущих мирных всходов.

В «Трех мешках сорной пшеницы» есть идейный мотив, особенно важный для понимания прозы Тендрякова. Книга «Город Солнца» великого утописта Т. Кампанеллы, с которой не расстанется Женька Тулупов, — весьма многозначительный, хотя и несколько рассудочный символ. Писатель сталкивает абстрактный идеал с реальностью и решительно развенчивает всякие умозрительные, пусть и самые благородные, представления о должном. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» — это не для Тендрякова, не для его героев. В финале повести Тулупов навсегда прощается со сказкой, с Кампанеллой, а в сущности, со слепой верой в авторитеты, как бы высоки они ни были. Необходимость самому пройти до конца тернистый путь познания жизни — вот что остается Тендряков своим творчеством.

Нет такого социального блага, нет такой праведной цели, которые оправдали бы недоверие к человеку, принижение его личности, не ставили бы в центр его душу, его духовные и матери-

альные интересы. Социальный мир тендряковской прозы постоянно сопрягает хозяйственные и нравственные проблемы, польза дела для автора и его положительных героев неизменно включает в себя принципы социалистического гуманизма, а их нарушение рано или поздно с неумолимой последовательностью влечет за собой кризис не только моральный, но и хозяйственный.

В. Тендряков в своих повестях о недавнем прошлом нашей колхозной деревни проводит эту идею исторического и нравственного «возмездия». Он любит наказывать моральное и экономическое «зло», выносить ему приговор, не подлежащий обжалованию. В острой борьбе побеждает повое, истинно коммунистическое, олицетворенное в характерах Игната Гмызина («Тугой узел»), Сергея Лыкова («Кончина»), Евгения Тулупова («Три мешка сорной пшеницы»). Но победа эта ставит перед героями новые проблемы, которые надобно решать в новых исторических условиях. Жизнь в книгах Тендрякова — вечное конфликтное движение.

III

Воспитание высокой души — другая область неустанных художественных забот писателя. Он нередко обращается к школе, пишет подростков, и здесь, в отличие от характеров взрослых, его очень интересуют психологические детали, нюансы, переливы неустоявшегося духовного мира. Таков, например, Дюшка Тягунов из самой светлой, поэтичной повести Тендрякова «Весенние перерывы» (1973).

Огромный, сложный мир открывается тринадцатилетнему мальчишке. Мир, где есть любовь, святое чувство товарищества и тут же рядом — злоба и жестокость, унижение человека и горе.

Душа подростка растет, впервые постигая противоречия жизни, постигая само время. Отлично пишет Тендряков это состояние — щедро, тонко, влюбленно в своего маленького героя:

«Время! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! (Это след пробежавшего времени!)

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдалеку рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безымяных далей к этой вот

минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!»

Дюшка Тягунов с честью выдерживает первые жизненные испытания. Он не испугался своего врага Саньки Ерахи и в борьбе с ним отстоял личную независимость. Он приобрел замечательного друга — Миньку, поначалу, казалось бы, мальчика робкого, слабого десятка, а на поверку — смелого и верного товарища. Дюшка учится защищать добро, для Тендрякова это главное в человеке.

Он убежден, что советская школа призвана не только давать детям знания, но и прививать маленьким гражданам добрые чувства, воспитывать активность в борьбе со злом, равнодушием, эгоизмом. Но всегда ли школа выполняет эту свою миссию? Уже первый роман Тендрякова «За бегущим днем» (1959), посвященный жизни сельского учителя, был открыто полемичен, задевал за живое, касался горячих общественных проблем. Писатель выступил против серьезных недостатков школьного преподавания, и хотя роман не проблемная статья, не очерк, он вызвал целую дискуссию в педагогических кругах страны.

Столь же, если не более дискуссионной оказалась повесть В. Тендрякова «Ночь после выпуска» (1974). Если в романе «За бегущим днем» писатель стремился убедить общество в необходимости перестройки всей системы школьного образования, дабы теснее связать его с производством, с трудовой деятельностью, а также попытаться лучше учесть индивидуальность каждого ученика, то повесть «Ночь после выпуска» прямо обращена к острейшим проблемам нравственности. Речь в ней идет о воспитании чувств и о той роли, которую играет школа в этом сложном процессе.

Учительство в самой натуре Владимира Тендрякова. Его нельзя назвать писателем, чьи образы увлекают нас непредумышленностью и свободой человеческого жеста и поступка. Внутренний мир героев Тендрякова чаще всего детерминирован их устоявшейся социально-нравственной сущью. Но зато интересно и поучительно бывает следить за художественной мыслью Тендрякова, который взламывает течение обыденности продуманным композиционно-сюжетным взрывом, будто ставит моральный эксперимент и устраивает своим героям проверку на их человеческую подлинность. Путь к истине и добру протекает у Тендрякова, как всегда, драматически, через нравственный кризис, который человеку надо пройти самому, до конца, без оглядки.

«Ночь после выпуска» — именно такая нравственная проверка шести юношам и девушкам, только что окончившим десятилетку.

Они собираются ночью на речном обрыве и решают впервые в жизни откровенно сказать друг другу в глаза, что каждый из них думает о присутствующих.

Поначалу все это воспринимается почти как веселая игра, шутка, но вскоре обретает нешуточное содержание. В хороших ребятах печально открывается жестокость, душевная недостаточность, способность больно ранить друг друга. Тендряков мало озабочен тем, чтобы создать иллюзию правдоподобности ситуации. Ему изначально важно поставить героев в исключительные условия, которые могли бы выявить их моральный потенциал, обнажить подсознательное, редко проявляющееся в обычных обстоятельствах. И выяснилось, что каждый из юных героев, в сущности, «думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого!». Это гнусно... вот и доигрались...».

Такой вывод, принадлежащий Юлечке Студенцовой, лучшей ученице школы, конечно же, не совсем справедлив, рожден предельным нравственным максимализмом. Но и сам писатель если и не солидарен до конца со своей героиней, то все же близок к ее оценке происходящего. Тендряков решился на жесткий эксперимент ради того, чтобы во весь голос сказать об опасности эгоизма, рационализации чувств у современных подростков.

По не только ради этого. В повести «Ночь после выпуска» просматривается и иной, более глубокий социальный срез. Писатель обнажает перед нами некую модель коллективной психологии, когда личность не всегда способна управлять собой и невольно следует «правилам», которые диктует мгновенное общественное мнение. Игра, затеваемая подростками, вынуждает их пренебречь моральными нормами, которые для каждого из них в отдельности были бы непреложными в иных, обычных обстоятельствах. Так в структуре маленького коллектива Тендряков обнаруживает свои законы, свои тайные противоречия, имеющие не частный, а общий смысл.

Композиция повести совмещает два параллельных плана: спор в учительской, своеобразный диспут педагогов о недостатках школьного образования, и разговор ребят у реки. Ночь после выпуска стала серьезным экзаменом и для учеников и для учителей, и многие не выдержали его.

Школа дала ребятам знания, но не воспитала чувства, не научила их любви и добру. На выпускном вечере Юля Студенцова неожиданно для всех бросает в зал взволнованные и искренние слова: «Школа заставляла меня знать все, кроме одного,— что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому не нравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Шко-

ла требовала пятерок, я слушалась п... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы п... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!»

Ночь после выпуска кончилась. Расходятся по домам учителя и ученики. Одни скоро опять войдут в классы. Другие отправятся в новую самостоятельную жизнь. Тяжело переживая нравственное потрясение, каждый из ребят, может быть, впервые глубоко задумался о сущности человеческой души, о себе самом и о коллективе, которых, оказывается, не знал. «Мы научимся жить», — говорит Игорь, и этими словами надежды писатель завершает свою повесть.

Столкновение добра и зла в творчестве Тендрякова нередко принимает характер притчи. Это помогает прозаику художественно выразить обобщенно-философский, нравственный смысл происходящего. «Натуральные» картины, события, случаи во многих его произведениях обязательно содержат и моральный вывод общего, универсального свойства.

Так, к примеру, построены известные повести Владимира Тендрякова «Ухабы» (1956), «Тройка, семерка, туз» (1960), «Суд» (1961), «Находка» (1965). Их герои, попадая в трудные, драматические обстоятельства, проходят испытания совестью.

Четыре повести — четыре человеческие смерти.

Гибнет молодой парень, понав в автомобильную аварию, и виновником его кончины становится директор МТС Княжев, отказавшийся, ссылаясь на инструкции, дать трактор, чтобы доставить пострадавшего в больницу («Ухабы»).

Умирает от нечаянного удара ножом бандит и карточный шулер Николай Бушуев, но этого проществия в таежной бригаде сплавщиков могло бы и не быть, если бы не трусость и малодушие юного Лешки Малинина, не побоявшегося с риском для жизни спасти тонущего человека, но предавшего законы совести в другую критическую минуту («Тройка, семерка, туз»).

Сложная психологическая драма разыгрывается в повести «Суд». Профессиональный охотник-медвежатник Семен Тетерин, человек цельный и мужественный, совершает нравственное предательство. Не выдержав напора следователя, он уничтожает единственную улику, которая свидетельствует, что случайное убийство на охоте совершено начальником крупного строительства Дудыревым, «выдающейся личностью» в районе, а не скромным, безответным фельдшером Митягиным. Суд оправдывает Митягина, но убил-то человека Дудырев, и единственно, кто мог это доказать, был он, Тетерин. Но не доказал, спасовал, дрогнул и при-

говорил себя к мукам собственной совести. А этот суд самый тяжкий.

И наконец, в «Находке» Теодриков показывает оживание добра и совести в душе угрюмого, сурового инспектора рыбнадзора Трофима Русанова, по прозвищу Карга. Его пробуждению к истинной духовной жизни, к человеческому милосердию и состраданию помогает «находка» — маленький живой комочек тепла, новорожденный ребенок, найденный им в глухой лесной избушке. Русанову не удалось спасти чужую жизнь, но случай, который на время всрыл ему ее, вернул к жизни его душу, она оттаяла, согрелась и повернулась действительным сочувствием к другим людям.

Борьба добра и зла неразрывно связана для Теодрикова с поисками смысла человеческого существования. Не случайно так настойчиво обращается он к анализу религиозного мировоззрения, ведет с ним непримиримый идейный спор, ищет глубокие причины его живучести не только в отсталом или еще не оформившемся сознании («Чудотворная», 1958), но и в среде интеллигенции. И здесь В. Теодриков оказался, по существу, первым советским писателем, который вывел на литературную сцену современного, молодого, образованного богоискателя Юрия Рыльникова, героя повести «Апостольская командировка» (1969).

Наверное, каждый из нас задавался проклятым, вечным вопросом, который мучит Рыльникова, не дает ему покоя и наконец приводит его к попыткам отыскать смысл личного существования в религиозном мирозерцании.

«Я появился — свершившийся факт.

А для чего?

Мое «Я», как и «Я» миллиардов других, закончится жалким холмиком земли.

И это так же неоспоримо, как и то, что в данный момент я существую.

Жалкий, бессмысленный холмик земли. Для него живу, к нему иду, не промахнусь — там исчезну.

Конечная цель — мифа!

В бескрайней бездепной нет ничего бессмысленней меня».

Герой «Апостольской командировки» проходит несколько кругов сомнений и самоопознания. Он пытается отыскать высший смысл, оправдание своей жизни и понять духовные основы бытия. Ему тридцать три года — возраст Христа — деталь весьма существенная, откровенно символическая. Очень важна также и профессия героя: физик-теоретик, однако по специальности не работает и занимается в столичном журнале поверхностной научной популяризацией. Рыльников остро чувствует неудовлетворенность собой, он тоскует по духовности, его непокой вызван внутренней

необходимостью отыскать точку опоры. Жажда цельности гонит героя прочь от любящей семьи, от столицы в глубинку, в глухую провинцию — к Богу.

Вновь Теодряков проводит нравственный эксперимент с определенной этической целью. Бог Рыльникова вымечтан, выдуман героем, став для него заменой духовности. В далекой Красноглинке, окупившись в реальную, рабочую жизнь, Рыльников не приблизился к ответам на мучившие его вопросы, а еще более отдалился от них. Теперь он стал чужой и верующим и атеистам. Его духовный поиск привел в пустоту.

Писатель глубоко озабочен «потеснением» идеальных, духовных моментов в нашей жизни и честно пишет об этом. Но для Теодрякова, для председателя колхоза коммуниста Густерина, который вступает с Рыльниковым в многодневный идейный спор, духовное неразрывно связано с социальным. Путь к себе — это прежде всего путь к людям, к их повседневным трудам и заботам, ибо истинная цель и назначение человека могут быть им постигнуты только в социальной практике.

Эгонизм Рыльникова уже заключен в тайном сознании своей исключительности. Жизнь безжалостно ломает эти притязания. Поиски абстрактного добра и смысла оборачиваются конкретным злом, наносимым самым близким людям — жене и дочери.

Моральное поражение Рыльникова обещает выздоровление его душе. Теодряков даже в самых трагических ситуациях не теряет надежды, верит в человека. Это писатель осознанного социально-нравственного оптимизма. Жизненные противоречия, питающие его творчество, неизбежно таят в финале возможность разрешения, «снятия». Не случайно многие финалы его произведений связаны с весной, временем обновления жизни.

Обновление человеку припосит и истинное искусство, взыскующее правды. Здесь Теодряков — рачительный наследник той ветви нашей отечественной эстетической мысли, которая вызвала к жизни известный рассказ Глеба Успенского «Выпрямила». Особенно хорошо Теодряков чувствует живопись, он сам готовился стать художником, но потом сменил кисть на перо. В романе «Свидание с Нефертити» (1964), в трактате «Плоть искусства» (1973) много глубоко выношенных размышлений о сущности прекрасного, которое для Теодрякова не есть имманентная цель, а одно из великих средств все того же воспитания высококой души, активно направленной к добру.

В мыслях Теодрякова об искусстве мы находим и те творческие принципы, которые он долгие годы исповедовал в своей писательской практике:

«Художник творит, исходя из требований только своего времени. Ничего не может быть глупее заведомого расчета

на признание потомков. Для этого нужно предугадать тех, кто еще не родился, то есть предугадать будущее той жизни, которая и сама-то пока является во многом неопределенным будущим. Это уже сродни пророчеству, ничего не имеет общего с предвидением.

И если художник не считается со своим временем, не улавливает и не отражает его интересов, то, скорее всего, он будет неинтересен и далеким потомкам, которые не смогут уже по его произведениям достоверно судить о миновавшем времени».

В семидесятые годы В. Ф. Тендряков работает особенно напряженно и продуктивно. Одно за другим выходят его новые произведения «Затмение» (1977), «Расплата» (1979), «Шестьдесят свечей» (1980). Посмертно опубликованная блестящая сатирическая повесть «Чистые воды Китежа» (1980) открыла читателю еще одну грань тендряковского таланта. Как он стремительно развивался всю жизнь, не затвердевая в найденном и освоенном слове!

Незадолго до внезапной своей смерти Тендряков пишет несколько рассказов о войне. Все случилось по слову поэта: «Как это было! Как совпало — война, беда, мечта и юность! И это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось!..» Рассказы эти («День, вытеснивший жизнь», «Седьмой день»), как точно заметил Даниил Грапин, «удивляют свежестью... безыскусностью... Как будто они написаны тогда, ну хотя бы в госпитале. В них нет знания того, что будет: Сталинграда, разгрома немцев, наступления... То, что всегда так опасно в книгах о войне... И это познание открывает великую нравственную силу героя — восемнадцатилетнего солдата».

Владимир Тендряков пишет свою войну от первого лица, почти не скрываясь за героем — рассказчиком. Первый бой, принятый им и его товарищами по оружию летом 1942 года, остался в авторской памяти как самый длинный день, вытеснивший прежнюю жизнь: Написан этот день с проникновенным и сдержанным психологизмом, без всякого нажима на трагические детали, без тени экзальтации и нервного подъема. И оттого еще сильнее действует на читателя обиденная противоестественность и жестокая необходимость военной работы, в которую с ходу впрягается мальчик-сержант, за один день познавший цену трусости и бесстрашия, жизни и смерти.

В романе «Покушение на миражи» сходятся воедино главные темы, волновавшие Тендрякова. Эта мощная книга подводит своеобразный итог и старому критическому спору по поводу его писательской манеры, в которой публицистический элемент то и дело властно побеждал чисто художественную пластину. Уникальность голоса Тендрякова явлена в его последнем романе столь отчетливо

и убедительно, что снимается сама антиномия «проблемы» и «прозы» в применении к данному литературному характеру. Если чего и не хватает нашей современной беллетристике, так это именно мысли, страстной и одновременно социально точной, бесстрашно правдивой, идущей в своих поисках до края, заглядывающей в самую глубину вещей и явлений. И это хорошо понимают сегодня наши лучшие писатели. Прямое публицистическое слово властно окрашивает книги Валентина Распутина («Пожар») и Чингиза Айтматова («Плаха»). А Тендряков задолго до них вступил на этот путь, упорно бил в свой колокол мысли, мучился и страдал в поисках ответа.

«Течет поток рода людского. Куда? Какие силы гонят его? Безвольные ли мы рабы этих фатальных сил, или у нас есть возможность как-то их обуздать? Мучительные вопросы бытия всегда вызывали страх перед будущим. Он прорывался в легендах о всемирном потопе, хоронящем под собой человечество, в кошмарах откровения от Иоанна, в жестоких расчетах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала и загадки бытия не становились менее мучительными».

В. Тендряков всегда мечтал объединить в своем сознании «физику» и «лирику», науку и нравственность, найти синтез свободы мысли и необходимости добра. Главный герой романа, физик-теоретик Гребин, проводит фантастически смелый эксперимент, пытаясь понять логику человеческой истории, мысленно и с помощью новейшей ЭВМ вновь пройти путь нравственных и социальных исканий человечества от Христа до наших дней.

Этот путь суждено пройти каждой мыслящей личности, озабоченной судьбами мира и человека в наше трагическое время. В романе вновь возникает Кампанелла, а вместе с ним грозный мотив гибельности социальных утопий без опоры на трезвое знание, на опыт, выстраданный историческим человеком. Маркс никогда не позволял себе прекраснодушных иллюзий, когда речь шла о будущем.

Все книги Владимира Федоровича Тендрякова вызваны к жизни нашим временем, его реальными конфликтами и страстями. Он относился к тому типу писателей, которые осуществляли в советской литературе социально-нравственную разведку и прорыв. За Тендряковым часто шли другие прозаики, иногда художественно углубляя внерые открытое им. Для меня, например, несомненно, что творчество Василия Белова и Федора Абрамова, Василия Шукшина и Бориса Можяева развивалось с учетом писательского опыта Владимира Тендрякова, который одним из первых вступил на дорогу художественного познания противоречий нашей послевоенной жизни ради их преодоления,

ради торжества идеалов, начертанных на знамени советского общества.

Он не дожил до тех дней, когда время в нашей стране резко повернулось в сторону социальной и экономической перестройки, бескомпромиссной борьбы с официальным двоедушием, с разрывом между словом и делом. Но каждой своей строкой приближал эти дни, предчувствовал, торопил их и потому надолго останется живым современником своих читателей.

Евгений Сидоров

Повести

Не ко двору

1

С неделю стояла оттепель. Но подул еле приметный ветерок — окаменели размякнувшие было сугробы, почти вызвездилась, снег под луной усеяли крупные искры, зеленые, как голодный блеск волчьих глаз.

В самую глухую пору, в два часа ночи, в селе ни души. Попрытались собаки, старик сторож занел домой почасовать и, верно, прикорнул, не раздеваясь, у печи. Сияют облитые луной снежные крыши, деревья стоят, как голубой дым, застывший на полпути к темному небу. Красиво, пусто, жутковато в селе.

Но в одном доме во всех окнах свет, качаются тени, приглушенные голоса доносятся сквозь двойные рамы.

Хлопнула дверь, по крыльцу, пеловко нащупывая погами ступеньки, спустился на утоптаный снег старик, качнувшись, схватился за столбик, постояв, занел скрипуче:

Когда б имел золотые горы...

Испугался тишины, замолчал и, покачиваясь, стал оглядываться на крыльцо. В сенцах со звоном упало порожнее ведро, распахнулась дверь, и на освещенный двор вывалились люди. Завизжал под валенками снег.

— Дед Игнат! Игнат! Эй!

— Не кричи, он тут. Воп стоит, пыряет.

— Тяжелу бражку Ивановна сварила.

— Ты и рад — набрался.

Хмельные голоса нарушили тишину, исчезла таинственность.

С крыльца, прижавшись друг к другу под одним полубюком, провожали гостей парень и девушка. Парень деловито наставлял:

— Старика-то домой доставьте. Как бы ненароком на улице спать не пристроился. Пусть бы у нас до утра оставался.

— Я... Ни в жизнь... Я сам-мос-тоятельный!..

— Ладно уж, ладно. Пошли, дед. Еще раз — ладу да миру вам в жизни!

— Дитя в люльку поскорее...

Звонкий скрип шагов смолк, где-то за домами вознесся снова было голос старика: «Когда б имел...» — и оборвался. Опять красиво, пусто, жутковато в селе.

— Все, Стеша... Значит, жить начинаем,— произнес парень.

Она плотнее прижалась под полушубком теплым, нетерпеливо и тревожно вздрагивающим телом.

Свадьба была немногочисленной и шумливой, гости не засиделись до утра.

2

Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков имел легкий характер — любил позубоскалить, любил сплясать, любил на досуге схватиться с кем-либо из ребят, дюжих трактористов, «за пояски». Высокий, гибкий, с курчавящимся белообрывым чубом, он был ловок и плясать, и бороться, и ухаживать за девушками.

В селе Хромцово, где работала его бригада, он в один вечер провожал учительницу Зою Александровну под сосновый бор к школе, в другой — сельсоветскую секретаршу Галину Злобину на край села, к дому, под крышу затянутаго хмелем. Но что бы сказали обе, если б узнали, что в МТС недавно прибывшая из института агрономша каждый раз, как приезжает бригадир Соловейков, надевает глухое, до подбородка, платье и, встречаясь, словно невзначай, роняет:

— Федор, у вас талант. Пойдемте сегодня в Дом культуры на репетицию.

И у Федора в эту минуту в самом деле появлялась любовь к своему таланту, он шел на репетицию, отплясывал там «цыганочку», а если репетиции не случалось, охотно соглашался сходить в кино.

Но вот, как выразился шофер хромцовского колхоза Вася Любимов, по прозвищу «Золота-дорога», Федор «сел всей рамой».

В Хромцове, в начале зимы, по первому снегу был свой праздник. Назывался он по старинке «домолотками», праздновался по-новому: говорились торжественные речи, выступала самодеятельность, тут же в колхозном клубе раздвигали стулья, выставляли столы, разумеется, выпивали, а потом ночь напролет молодежь танцевала.

На эти тапцы приходили парни и девушки километров за пятнадцать из сел и починок. Начиналось все тихо, кончалось шумно. Радиолу отодвигали, в угол садился Петя Рыжиков с баяном, и стекла звенели от местной «топотухи». Федор плясал немного и всегда после того, как его хорошенько попросят, но уж зато старался, долго потом ходили о его пляске разговоры.

Из села Сухоблиново, что стоит за рекой Чухной и отходит к соседнему Кайгородищенскому району, пришел на тапцы знакомый лишь одному шоферу Васе Золота-дорога тракторист Чижев. Пришел не один, привел девушку. В голубом шелковом платье, медлительная, белолицая, с высокой грудью, подбородок надменно вздернут — обидно было видеть ее рядом с большеголовым, скуластым и низкорослым Чижовым. Федор на этот раз долго не ломался, когда его просили выйти и сплясать. Где с присвистом, где с лихим перестуком, где вирсиадку оторвал он «русского» и ударил перед гостьей в голубое платье. Та ленивенькой, плавной походкой, так что лежавшая вдоль спины коса не шелохнулась, прошла по кругу и снова встала около Чижева.

Начались танцы, и Федор пошел к ней.

Глаза у нее были выпуклые голубые, ресницы длинные, щеки, еще на улице обожженные холодком, малиново горели румянцем. Федор все время отводил взгляд от белой нежной ямки под горлом в разрезе платья. Но пока он танцевал, как ни странно, все время где-то рядом держался легкий махорочный запах.

— У вас на Сухоблинове все кавалеры такие? — насмешливым шепотом спросил он, кивая на Чижева.

— Какие — такие?

— Да вроде бы неоткормленные. Может, промеж нас, хромцовских, кого повидней выберете?

Та в ответ улыбнулась одними глазами и сразу же спохватилась, строго смахнула улыбку ресницами.

— Разве вас, что ли?

— А разве не подхожу?

И все же после танца она не отошла к Чижеву, осталась с Федором, как бы невзначай. Стояла она рядом спо-

койная, невозмутимая, видно, не сомневалась нисколько, что Федору приятно быть с ней. А ему и в самом деле было приятно, весь вечер не отходил от гостыи.

Чижев, забившись в угол, смотрел исподлобья, Федор не обращал на него никакого внимания и не смущался. Пусть себе смотрит — ее воля, она решит, она выберет.

...Бесшумно падал крупный снег, ложился на пуховый платок, на плечи Стешиной шубки. Федор прижимал к себе ее локоть. Путь был не близкий, шли в погу торопливым широким шагом, молчали. Она с достоинством умела молчать, и обычные шутки как-то не клеились у Федора, легкая непривычная робость охватила его... В пяти метрах ничего нельзя было разглядеть, лишь в черном воздухе — сплошной лепивый поток белых хлопьев. Из-за пушистого снега на дороге не слышно было даже своих шагов. И баянист Петя Рыжиков, освещенный неярко зал, шум, крики, смех — казалось, все это спилось, нет ничего, только они вдвоем живут на тихой, засыпанной снегом земле. И им не страшно, а приятно — вдвоем, не в одиночку, что еще падо?..

Федор проводил Стешу до села. Прощаясь, притянул ее к себе и поцеловал наудачу, пощипав глаза в холодную щеку. В свежем, снежном воздухе снова на него пахнуло залежавшимся листом махорки, но и этот запах был приятен сейчас — обжитое, домашнее, крестьянское тепло напоминал он.

Галина Злобина и учительница Зоя Александровна помирились. Ссориться стало не из-за чего — как ту, так и другую перестал провожать по вечерам Федор. Он через день бегал теперь за двенадцать километров в Сухоблиново.

С Галиной, с Зоей, с агрономшей из МТС — все это шуточки, не настоящее. Хотелось сойтись с такой девчонкой, чтоб сердце болело, чтоб кровь сохла!

А Стеша всегда встречала ровно — в мягких, теплых ладонях задерживала его руку, из-под полуопущенных век глядела ласково, словно бы говорила спокойно: «Никуда ты, милый, от меня не уйдешь. Тебе хорошо со мной, я это знаю, ну и мне хорошо, скрывать незачем...»

Как-то даже пожаловался Федор дружку Васе Золотадорога: «Хороша девка, да пресновата чуток, молчит все». Пожаловался, опомнился и с неделю в душе горел от стыда, клял себя, боялся, как бы ненароком эти слова не долетели до Стешы. И сердце особо вроде бы не болело, и кровь не сохла, а и дня не прожить без Стешы — трудно!

Тянет к ней, к ее теплым рукам, к спокойным глазам. Через день бегал — двадцать четыре километра — туда и обратно.

Стеша жила на окраине села в пятистенке, раздавшемся в ширину, работала приемщицей на маслозаводе. Ее родители при первой встрече поправились Федору.

Отец, костлявый, крепкий старик со свислыми усами и большим хрящеватым носом, опустив заскорузлую от мозолей ладонь на стол, как-то раз заговорил:

— По старишке-то мне вроде бы не с лица начинать. Но пынче на то не смотрят. Слушай, парень... Ты частенько к нашей Степаниде заглядывал. Что ж, у нас со старухой возражений нету. Бога гневить печего, мы, сравнить с остальными, в достатке живем. Видишь, дом у нас какой? Пустует наполовину. Переезжай к нам. Одним-то двором способнее жить.

Стеша сидела тут же, стыдливо и горячо краснела, молчала. Мать ее, старушка с мягким, полным лицом, с добрыми морщинками вокруг голубых, как у дочери, глаз, покачала ласково головой.

— Перебирайся-ко, перебирайся, так-то ладнее будет. Сыновьями бог нас не наградил. Заместо сына нам будешь.

Федор на улице жаловался Стеше:

— Жалко мне колхоз и свою МТС бросать. Работал трактористом, теперь бригадиром, сжился я с ними.

— Мне-то с домом расставаться жалче, — ответила Стеша. — И здесь тебе работа найдется. Не хватает трактористов, тем же бригадиром тебя поставят.

Федор жил как и большинство ребят-трактористов его возраста. При ремонте снимал комнатку близ МТС, во время же полевых работ столовался и ночевал у дальнего родственника, хромцовского кузнеца Кузьмы Мохова.

Отец у Федора умер семь лет тому назад. Мать живет в глухой лесной деревушке Заосичье, километрах в сорока от Хромцова. Она хоть и стара, но ходит еще на колхозные работы: то расстилает лен, то в сенокосную горячку загребает сено на ближайших лугах. Работает не от нужды — хорошо помогает старший сын, горный инженер из Воркуты, — просто скучно сидеть сложа руки, велико ли старушечье хозяйство — коза да полоска картошки.

Каждый месяц Федор, купив баранок, сахару, чаю, навещал мать. Он привозил ей дров, разделявал их, обкладывал избу высокими поленищами, подкашивал сена козе.

— Договорись-ко, родной со своим начальством, — уговаривала его мать, — пусть в наш колхоз тебя переведут.

Но этого-то как раз и не хотелось самому Федору. Он тракторист, здесь поля лесные, тесные, машины обычно не столько работают, сколько простаивают, охота ли после хромцовских земель на таких задворках сидеть. Матери же отвечал просто: «Не отпускают». Объясни все — может и обидеться.

Теперь придется с насиженного места уходить. Не везти же Стешу в Заосичье к матери, если самому там жить не хочется. Не к Кузьме же Мохову?.. Можно бы и свой дом поставить, колхоз поможет, но это не сразу... Согласится ли Стеша год, а то и два по чужим углам скитаться?.. Федор решил переезжать.

Все знакомые ребята работали в мастерских на ремонте. Никто не приехал на приглашение Федора. Не приехала и мать. Хромцовский председатель обижался на Федора за то, что «ушел на чужую сторону», просить же в незнакомом колхозе лошадь Федору не хотелось, да и не дали бы — много лошадей работало на лесозаготовках, а ехать на попутных грузовиках по морозу шестидесятипятилетней старухе нечего было и думать. Через вторые руки получил от нее Федор банку меду, четверть браги да для невестки шелковую шаль, хранившуюся, верно, лет десять для подобного случая. По почте пришло письмо с родительской просьбой сразу же после свадьбы «сняться вместе с невестушкой на карточку и прислать домой»...

На свадьбе пили, ели, кричали «горько» несколько сухоблинецов, пожилых, степенных, сидевших с женами. Одиноким держался лишь старик Игнат. Его жена, председатель здешнего колхоза, не пришла, хотя и была приглашена.

И стол был богат, и выпивка хороша, а шуму мало. Приходил народ, толкался в дверях, но не много и не долго. Дольше всех виснули ребятки под окнами. Но и их позднее время да мороз заставили убраться домой.

Федор даже не сплясал на своей свадьбе.

3

Приято считать: семья начинается свадьбой и отметкой в загсе. Прописались, отпраздновали, поцеловались под крики «горько» — и вот вам наутро новая семья в два человека.

Федор никогда бы не мог подумать раньше, что по-настоящему-то семья начинается с такой простой вещи, как

уют. Ни о сундуках, ни о занавесках, ни о горшках для супа ни Федор, ни Стеша не только не говорили при встречах, а даже простое упоминание посчитали бы обидным для себя. Была она — будущая жена, был он — будущий муж, и больше ничего знать не хотели другого. Так чувствовали себя до свадьбы. Так чувствовали во время свадьбы. Утром, проснувшись после свадьбы, они еще продолжали жить этим чувством. Но надо было уstraиваться, и не на время, не на год, не на два — постоянно, навечно... Надо было начинать жить сообща! Молодым отвели половину избы.

В сеницах на то место, где когда-то, в незапамятные для Стеши и Федора доколхозные времена, висели хомуты, приспособили до лета на вбитых в стену колышках велосипед Федора. Его радиоприемник «Колхозник» поставили на стол. Целых полдня Федор уминал на крыше снег, поднимал антенну.

В собственности Стеши перешел огромный сундук, потемневший, весь оплетенный полосами железа, с широкой, жадной скважиной для ключа, воистину дедовское хранилище хозяйского добра, основа дома в былые годы. Со ржавым, недовольным скрипом он распахнул перед молодой хозяйкой свои сокровища и сразу же заполнил комнату тяжелым запахом табака, овчин, залежавшегося пыльного сукна.

В сундуке на самом верху лежали модные туфли на высоких каблуках и то голубое шелковое платье, в котором Федор впервые встретил Стешу на празднике в Хромцове. Тот махорочный запах, запах семейного сундука, принесла тогда Стеша на танцы вместе с нарядным платьем.

За модным платьем и модными туфлями были вышуты хромовые полусапожки, тоже модные, только мода на них отошла в деревне лет десять тому назад — каблучки невысокие, псок острый, голенища длинные на отворот. За сапожками появилась женская, весом в пуд, не меньше, шуба, крытая сукном, с полами колоколом, со складками без числа. В детстве Федор слышал — такие шубы прозывались «сорок мучеников». Платья с вышивками, платья без вышивок, сарафаны, полушубок дубленый, полушубок крытый — вместительны старинные деревенские сундуки! Из самого шизу были подняты домотканые, яркие, в красную, желтую, синюю полосу, папевы.

Все это добро было развешано во дворе, и Стеша, в стареньком платьице, из которого выширало ее молодое, упру-

гое тело, придерживая одной рукой полшалок на плечах, с палкой в другой, азартно выбивала залежавшуюся пыль и табачный дух. Алевтина Ивановна, теща Федора, помогала ей.

— Не шибко, голубица, легчей. Сукнцо кабы не лопуло,— наставляла она.

Старик тесть вышел на крыльцо, долго стоял, покусывая кончики усов. Под сумрачными бровями маленькие выцветшие глаза его теплились удовольствием. А Федор удивлялся и наконец не выдержал.

— На что они нам? — указал он на цветистые паневы, разбросанные по изгороди.— С такой радугой по подолу в село не выйдешь — собаки сбесятся... Вы бы все это себе лучше взяли, продали при случае.

— Чем богаты, тем и рады. Другого добра не имеем. Ваше дело, хоть выбросьте.— У старика сердитые пятна выступили на острых скулах.

— Зачем же бросать? Можно и в район, в Дом культуры сдать, все польза — купчих играть в таких сарафанах.

— Ты, ласковый, не наживал это, чтоб раздаривать,— обидчиво заметила теща.— Наневки-то бабки моей, мне от матери отошли. Нынче такого рукоделья не найдешь. Польза?.. А кому польза-то?.. Купчих играть отдай! Ой, гляди, Стешка, как бы твой муженек с отдаванием этим по миру тебя не пустил.

— Да полно тебе, шутит оп,— заступилась Стеша.— Места не пролежит, сгодится еще.

Деловитая заботливость слышалась в ее голосе.

— Золото тебе жена попалась, золото. Хозяй-ствен-енная! — пропела теща.

И в голосе тещи, и в морщинистом лице тестя Федор заметил легкую обиду. Маленькое недовольство, неприятное, через минуту забудется, по все ж, видать, неприятность, и, должно быть, уже семейная.

К вечеру все было на своих местах. Свежо пахло от чисто вымытых Стешей полов. На столе простенькая белая скатерка. Есть и другая скатерть, с бахромой и цветами, по та, знал Федор, спрятана до праздника. На скатерти поблескивает желтым лаком приемник, на окнах тюлевые занавесочки, на подоконнике — горшок с недоростком фикусом, принесенный из половины родителей. Угрюмый сундук покрыт веселым половичком. Лампа горит под самодельным бумажным колпаком — надо купить абажур, обязательно зеленый сверху, белый понизу...

Когда Федор разделся и пригляделся ко всему, его

охватила покойная радость. Вот она и началась — семейная жизнь! Приемник, лампа, белая скатерть — пустяки, а что ни говори, без этого нельзя жить по-семейному. Не холостяцкое страдание, семья — свое гнездышко!

На кровати, в одной ночной рубаше, распутив волнами по груди волосы, выставив полное белое плечо, сидела и, морщась, причесывалась Степа. Близкой, как и все кругом, какой-то уютной показалась она сейчас ему. Он подошел, обнял, по она, еще вчера вздрагивавшая от его прикосновения, сейчас спокойно отстранилась.

— Обожди... Уж не терпится. Гребень ломаешь.

И это Федора не обидело, не удивило: семья же, а в семье все привычно.

4

Молва о бригадире Соловейкове дошла до Кайгородищенской МТС. Сам директор решил свести Федора к тракторам. Ожидая у дверей, пока директор освободится, Федор слышал в кабинете разговор о себе.

— А как это он к нам надумал?

— Женился на сухоблиновской, к жене переехал.

— Ай, спасибо девке! Подарила нам работника.

Директор Анастас Павлович был осанистый, голос у него густой, начальственный, походка неторопливая, но держался он с Федором запросто. Сразу же стал звать ласково Федей, проходя по измятому гусеницами огромному эмтээсовскому двору, разоткровенничался:

— Помнится, Федя, жил у нас в деревне, когда я еще мальчонкой был, один мужичок. «Кукушонок» — прозвище. У этого Кукушонка, бывало, спрашивали: «Почему, друг, лошадь у тебя откормленная, а сбруя веревочная? Не из самых бедных, справь, поднатужься». У него один ответ: «Живет и так. От ременной справы лошадь не потянет шибче». Вот и наша МТС пока что на Кукушонково хозяйство смахивает. Гляди, какие лошадки, — директор провел рукой по выстроившимся в ряд гусеничным тракторам, — а справа к ним — Кукушонкова, тяп-ляп построено: живет, мол, и так. Навесов поставить не можем, мастерские на живую нитку сколочены. Ты — комсомолец, царь не из пугливых, потому и говорю... По глазам вижу тебя. Был бы только народ настоящий, поживем — оперимся...

Кирпичный домик, смахивающий на сельскую кузницу, в распахнутых дверях которого, в темноте, вспыхивал зеленый огонь сварки. Тут же два других дома, длинных, безликих — конюшни не конюшни, сараи не сараи, — должны быть, мастерские. За ними бок о бок шеренгой самоходные комбайны, красные и голубые горделивые машины, выше колес занесенные снегом.

«Кукушонокво хозяйство... Эх, так-то вот променял ты, Федор, сокола на кукушку. Не раз, видно, вспомнить придется свою МТС».

— Я, брат, сам новичок тут, — бодро продолжал директор. — Всего месяц назад принял... И вовсе никакой не было заботы о рабочих. А я так думаю: раз ты руководитель, то для специалистов хоть с себя рубашку последнюю не жалей!.. Выручат.

«Да ладно уж, не умамливай, не сбегу», — невесело думал Федор.

— Вот и тракторы твои. Вот и твой тракторист. Чижев, это бригадир новый, прошу любить и жаловать. Соловейков — слышал, верно, такую фамилию? Ну, знакомьтесь, знакомьтесь, не буду мешать.

Директор ушел, крепко пожав Федору руку. Чижев сразу же отвернулся, заелозил ветонью по капоту. Федор знал — Чижев, у которого он, считай, отбил Стешу, работает в этой МТС, но как-то и в голову не приходило раньше, что они могут встретиться, могут работать вместе. Просто перешагнул тогда через него и забыл.

— Эй, друг, знакомьтесь-то не задом...

— Чего тебе? — повернулся мрачно Чижев.

— Только и всего. Здравствуй, будем знакомы.

Чижев секунду-другую искоса глядел на протянутую руку, потом с неохотой, вяло пожал.

— Ну, здорово.

— Давай, друг, без «ну», я вежливость люблю.

— Так чего и разговариваешь с невежливым? — Чижев снова взялся за тряпку.

— Нужда заставляет. Работать-то вместе придется. Вот что, повернись-ка да доложи толком: как с ремонтом?

Чижев и повернулся и не повернулся, встал бочком, уставился в сторону, в крыши мастерских.

— Знаем мы таких командиров, которые на готовенькое-то любят.

— На готовенькое? Значит, кошеч ремонт? Выходит, ты у чужого трактора копаешься?

— Два трактора кончили. Вот этот остался. Всего и делов-то.

— Да, делов не много. Зима проходит, март на посу, два трактора отремонтировали, один не тронут. Могло быть и хуже.

— Знаем мы таких быстрых.

— Заправлен?

— Заправлен. В разборочную нужно.

— Так поехали, заводп.

Чижев промолчал.

— Иль завести не можешь? Дай-ка попробую.

Федор осторожно плечом отстранил Чижева, положил ладонь на отполированную ручку и привычно, всем телом налег. Мотор засопел, вразброд раз-другой фыркнул и смолк. Федор вопросительно уставился на Чижева.

— Понял? В чем загвоздка?

— Тебе видней, ты начальство.

— И это верно. Скинь капот.

Чижев, парочно как можно медленнее, повиновался. Федор заглянул в мотор и присвистнул.

— Нет, брат! Я тракторист, а не трубочист. Прежде чем в разборочную вестн, очисти, чтоб блестел мотор, как у старого деда лысина. Слышал?.. Я спрашиваю: слышал?

— Ну, слышал.

— Делай!

Федор сунул руки в карманы и, присвистывая небрежно «Во саду ли, в огороде...», не оглядываясь, пошел прочь.

В МТС у него других дел не было, но Федор минут сорок добросовестно прошатался, заглянул в мастерские, в контору, полюбезничал там с секретарем-машинисткой Машенькой, девушкой с розовым крупным лицом, бусами на белой шее, с льянышми кудряшками шестимесячной завивки.

Вернулся. Трактор стоял сиротливо, с задраным капотом. Мотор как был — грязный, ветошь брошена на за-кшевные ржавчиной гусеницы.

Он нашел Чижева в мастерской, в темном закутке, у точильного станка, около печки-временки. Тот встретил исподлобья, нелюдимым взглядом. Федор молча присел, закурил не торопясь, произнес негромко и серьезно:

— Что ж, будем волками жить?

— Чего ты ко мне пристал? Чего тебе надо? Посидеть нельзя спокойно, и сюда приперся!

— Не шуми. Не день нам с тобой работать вместе, не

педелею — все время. Хоть или нет, а старое забыть придется. Пячнуться я с тобой не буду, это ты запомни. Не хвалясь скажу: не таких, как ты, выхаживал.

Сидели они рядышком, говорили негромко, мимо ходили люди, никто не обращал внимания. Со стороны казалось — с воли дружки пришли отдохнуть, перекурить да погреться.

— Нет тебе расчета на меня косо смотреть. Нет расчета...

— Не пугай, не боюсь.

— Я и не пугаю. Дотолковаться по-человечески с тобой хочу.

Из аккумулятора, задевая нолами распахнутого пальто за станины, прошел директор, оглянувшись на присевших у огонька, улыбнулся, как старым знакомым.

— Греемся? Подружились уже?

— Водой не разольешь, — ответил Федор.

— Ну, ну, грейтесь, ребятки, да за дело...

Директор ушел. Федор бросил окурочек в печь и поднялся.

— Пошли.

Глядя в пол, Чиков встал.

5

На окраине села Кайгороднице, рядом с усадьбой МТС, стояло здание бывшей школы. Оно было построено еще в годы, когда начинался поход за ликвидацию неграмотности в деревне. Тот, кто строил эту школу, считал, верно, что детям нужно больше солнца, больше воздуха, дети должны жить среди зелени. Окна в школе были огромные, потолки очень высокие, а сама школа стояла далеко за селом, среди поля. Но этот строитель не учел такой житейской мелочи, как печи. В классах с огромными окнами и высокими потолками были поставлены маленькие круглые печки с дверками, как коначий лаз. Летом, при солнце, бьющем сквозь обширные окна, стояла жара, зимой — холод. Да и малышам было тяжело ходить за село по занесенному снегом полю. Учителя, работники роно кляли строителя до тех пор, пока в центре села не поставили двухэтажное здание десятилетки с обычными окнами, с обычными потолками, с хорошими печами. А старую школу передали МТС. Половину ее переоборудовали под квар-

тиры директора и старшего механика, в другой половинно устроили общежитие для трактористов.

С обеих сторон вдоль стен бывшего класса шли широкие, лоснящиеся от масла нары. На самой середине стояла бочка из-под горючего, превращенная в печку-временку. От нее вдоль потолка тянулась черная железная труба. На нарах лежали повесьные, всего несколько дней назад приобретенные матрасы. Для подушек пока по приказу директора закупили перо.

Весь день Федор ни разу не вспомнил ни о Стеше, ни о доме. Но когда он, примостив под голову свой полушубок, лег, уставился на железную трубу, бросающую при свете электрической лампочки лманую тень на стены и потолок, то с тоской подумал, что сегодня только понедельник. Пять дней до воскресенья, пять дней не бывать дома, не видеть Стешу!

За мокрыми стеклами широких окон стояла черная почь. В одном углу билкала гармоника. Гармонист разводит одно и то же: «Отвори да затвори...» У столика ужинают трактористы, разливая по кружкам кипяток из прокопченного чайника. А Степа, верно, сидит сейчас на койке, морщась расчесывает густые волосы — одна в комнате... И пестрый половичок на сундуке, и стол под белой скатерткой, и приемник — вспомнился недорогой уют, свое гнездышко, освещенное пятнадцатипиной лампой. «Абажур надо купить завтра, по магазинам поискать. Не покуситься, подорожке которой...»

Но на следующий день он так и не сбежал в магазин, не купил. Пришли из деревень еще трое трактористов его бригады. Разобрали мотор, Федор присматривался к ребятам. Забыть про абажур не забыл, а все было некогда, все откладывал.

Чижев молчал, не поднимал глаз, но не перечил, слушался.

Трактор КД, или, как звали в обиходе, «кадушечка», был хоть и подзапущен, но новый, не проходивший по полям и года. Ремонт пустяковый: подчистить, отрегулировать, сменить вкладыши...

Угрюмость Чижева, кругом еще плохо знакомые люди, все одно к одному — домой бы! Успокоиться, а там можно обратно, не сиднем же сидеть подле жены...

— Товарищ Соловейков!

Пряча в беличий воротник подбородок, стояла за спиной Машенька-секретарша.

— Идите в контору.

— За вами, Машенька, хоть на край света.

— Пожалуйста, без шуточек. Вас жена ждет.— Машенька дернула плечом и отвернулась.

В новых валенках, в новом, пеобмятом полушубке, в пуховом платке, из-под которого выглядывал матово-белый нос и краешки румянца на щеках, сидела в конторе Стеша.

При людях они поздоровались сдержанно.

— У нас с маслозавода машина пришла, так я с ней...— Стеша боялась оглянуться по сторонам.

— С чем машина-то? — серьезно, словно это ему было очень важно знать, спросил Федор.

— Да ни с чем, пустая, тару нам привозила...

Они вышли из конторы, и Стеша тяжело привалилась к его плечу.

— Федюшка, скучно мне одной-то... Только ведь поженились, а ты сбежал. Работа-то тебе, видать, дороже жены.

— Сам воскресенья не дождусь. Ты хоть дома, а я на стороне...

— Отпроситься нельзя ли на недельку? Сорвался, поторопился, пожить бы надо.

Добротная, широкая, теплая какая-то, она глядела на него снизу вверх, и не было в ее взгляде прежней девичьей уверешности: «Никуда не уйдешь, тебе хорошо со мной...» Вот ушел, тревожится, может,— даже думает: не загулял ли на стороне, характер соловейковский, ненадежный. Обнять бы, прижаться, в ресницы пугливые расцеловать — нельзя, день на дворе, народ кругом.

«Верно, Стешка, верно. Рано сорвался, пожить бы надо!»

Целый час они ходили по эмтээсовскому двору, говорили об абажуре на лампу, о том, что заболел подсвинок, плохо стал есть... Говорили о пустяках.

Вечером Федор сидел в кабинете директора и доказывал, что надо съездить на недельку домой.

— Молодая ждет? — понимающе подмигнул директор.

— Молодая не молодая, а ремонт-то кончаем, делать мне здесь вроде и нечего.

— Метил я тебя над шибановской бригадой шефом поставить. Ты ведь почти на готовенькое пришел. Тракторы в твоей бригаде новые.

— Анастас Павлович!..

— Да уж ладно, знаю. Поедешь домой, только не на отдых. Ты знаком с сухоблиновским председателем?

— С теткой Варварой? Слышал много раз про нее, но не встречался пока.

— Человек честный, по старому колхозного уклада. Ты думаешь, старое только то, что до коллективизации было? То уж быльем поросло. Есть колхозный старый уклад. Председатель, что без машин, без тракторов жизни себе не представляет, тот — нового уклада. А кто на своих лошадах больше надеется, нам кланяться не любит, натуроплаты больше сатаны боится: мы, мол, сами как-нибудь,— это, помни, корешок со старым запахом. Он еще живет где-то около тридцатых годов, когда в колхозах не густо машин было. Тетка Варвара из таких. Залежи навоза у нее, а поровит вывезти на лошадах. Поедешь к ней, вывезешь навоз... По куда свой ремонт не кончишь, не отпущу! Уж серчай не серчай, я, брат, тоже человек с характером.

Все спали в общежитии. За столом лишь сидел и ужинал Чижев, макал крутым яйцом в соль на бумажке.

Федор выложил привезенную женой снедь: ватрушки, пряженики в масле, пироги с яйцами.

— Кипяток-то остыл? — спросил он.

— Остыл.

— Плохо... А ты, друг, можешь к моим харчам пристроиться, лично я не возражаю. Может, только тебя от моих пирогов стошнит, тогда уж, конечно, поостерегись.

— Да нет, спасибо.

— Брось-ко дуться-то. Пробуй, пробуй, не заставляй кланяться. Где ж так долго загулял?

Чижев покраснел.

— Да в кино ходил, на «Подвиг разведчика».

— Один?

— Да и-пет... с ребятами...

Федор не стал его расспрашивать. А ходил тот в кино с секретаршей Машенькой, и та целый вечер толковала ему — какой пехороний его бригадир Федор Соловейков.

В этот вечер спать Федор с Чижевым устроились рядом.

Вместе с тестем они понарились в бане, после чего хлебнули бражки. Сейчас Федор лежит на кровати и читает.

Свежее белье обнимает остывшее тело. Едва-едва слышно шипит фитиль у изголовья. Наволочка на мягкой подушке холодит шею. Она настолько чиста, что кажется, даже понахивает снежком. Хорошо дома!

Федор читает, а сам, пастороженно отвернув от подушки ухо, прислушивается — не стукнет ли дверь, не войдет ли Стеша: «Ну-ка вставай, поужинаем. Ишь прилипи, не оторвешь...» Она вроде недовольна, голос ее чуточку ворчлив... А как же без этого — жена! Нет, не слышно, не идет. Он снова принимается за книгу.

Когда Федора спрашивали: «Что больше любишь читать?» — он отвечал: «Толстого Льва, Чехова...» Или завернет «Гюстава Флобера» — вот, мол, с каким знакомы, хватило нас голыми руками! Но кривил душой, больше любил читать Жюль Верн или Дюма.

Шипит фитиль лампы. Под стекло подплывают акулы, заглядывают внутрь лодки, медузы качаются в зеленоватой воде... Стеша сейчас на кухне, войдет — только что от печи, все лицо в румянце, если прижаться — кожа горячая... Что-то долго она там?

Хорошо дома! Хорошо даже то, что приходится уезжать, жить в МТС, почевать на нарах... Каждый день здесь — мягкие подушки, скатерки, теплая постель — пригляделось бы все, скучновато бы показалось, поди б, и жена не радовала. А как побегаешь по мастерским, с недельку поворочаешься на эмтээсовском тюфяке, повспоминаешь Стешу с румянцем после печного жара... тут уж простая наволочка на подушке, и от той счастливый озноб по всему телу, все радуется, в каждой складочке половика твоё счастье проглядывает. Хорошо дома!

Федор уронил на грудь книгу, улыбнулся в потолок...

Мягко ступая чесапочками, вошла Стеша.

— Ну-ка вставай, поужинаем...

Федор не ответил. Жестковатые кудри упали на лоб, на обмякшем лице задержалась легкая, неясная улыбка. Он спал.

Дорожка от казитки к крыльцу расчищена от снега, у колодца срублен лед. Тесть, Силантий Петрович, с топором в руках стоит посреди двора и внимательно из-под лохматой шапки разглядывает понеречину над воротами. У ног его лежит сосновое бревнышко.

Утро только началось, а уж он разбросал снег, подчистил у колодца, сейчас целится поставить вместо осевшей новую поперечину на ворота. Федору немного совестно — он-то спал, а старик работал — неумная душа, хозяин.

Приходилось уже замечать: идет тесть от соседей, несет спрятанную в рукав стертую подкову. Он ее нашел на дороге и не оставил, поднял, принес домой. В сепцах, в углу, стоит длинный, как ларь, дощатый ящик. Весь он разгорожен внутри перегородками на отделения — одни широкие, вместительные, другие узкие, глубокие, рукавицей можно заткнуть. В одно из этих отделений и попадет старая подкова. Она, может, и не пригодится при жизни старика, а может, кто знает, и в ней случится пуща. Пусть лежит, места не пролежит. Федор знал — стоит только попросить: «Отец, свинья переборку раскочала, скобу надо вбить...» или: «Гвоздочек бы, Стеша под зеркало карточки прибить хочет...» — и тяжелая скоба, и крохотные, еле пальцами удержишь, гвоздики сразу же появятся из ящика Силантия Петровича.

Старик легко поднял за один конец бревнышко и скуными, расчетливыми ударами начал отесывать его топором. Федор задержался на крыльце, невольно залюбовался: «На весу ведь. У меня силенки побольше, а не сумею...» С мягким, вкусным стуком врезался топор в дерево, за ним слышался легкий треск, и на белый снег падали желтые, как масло, щепки.

— Может, помочь, отец? — спросил Федор.

Силантий Петрович отбросил кряж, сдвинул с потного лба шапку.

— Нет, парень, справлюсь. На полчаса и работы-то. Иди по своим делам.

Высокий, плечистый, стать как у молодого, движения сдержанны и скуны. «Трудовой мужик, — уходя, думал про него Федор, — да и вся-то у них семья работающая. Смотри, Федор, не покажись среди них увальнем».

В конторе правления председателя не оказалось, Федор пошел искать по колхозу.

«Незавидно живут, далеко им до хромцовских». Около скотного, в каких-нибудь шагах двадцати от дверей, лежит, прикрытая снегом, гора навозу. «Неужели и летом сюда навоз скидывают? Смрад, вонючие лужи, тучи мух... Хозяева!»

Тут же рядом с навозным бунтом разгружали воз сена. Работали женщины. Одна, невысокая, без рукавиц, с красными на морозе руками, стояла на возу, деревянными вла-

ми охалку за охалкой пропихивала сено в чердачное окно.
— Вот так! Вот так-то, без лещи! — покрикивала она, а две другие топтались около воза.

— Труд на пользу! — весело поздоровался Федор. — Не видали Варвару Степановну?

Подавальщица на возу остановилась.

— А тебе на что ее? — сипловатым голосом спросила она.

— Дело есть.

— Ну-ка, Прасковья, возьми вилы.

Придерживая подол, она неуклюже сползла с воза. Стряхнула с плеч сенную труху, повернулась к Федору, с валенок до шапки оглядела его. При взгляде на нее вблизи против воли готово было сорваться одно слово: «Крупна!» Роста маленького, чуть ли не по плечо Федору, а лицо широкое, грубое, мужичье. Тяжеловатость и крупноту черт еще более выделяли мелкие серые глазки. Взгляд их тверд и насторожен. Крупны у нее и руки, размашиста и в плечах: пз тех — неладно скроена, да крепко сшита.

— Я — Варвара Степановна. Выкладывай дело. — И усмехнулась, заметив заминку Федора. — Аль не похожа?

В Хромцове председатель Пал Поликарпыч был сеньский, щуплый и очень вежливый. Даже самая походочка у него вежливая — аккуратно, цапелькой выступает высокими сапожками, голос тихий, ко всем одинаковое обращение: «Дитя ты мое милое...» Но уж коль скажет, то это «дитя», какой-нибудь дремучий бородач, годами, случается, и старше Пал Поликарпыча, сразу краснеет или от радости за похвалу, или от стыда за упрек. Где уж там похожа — этот лесовик в юбке! Но Федора было не учить за словом в карман лазить.

— На себя-то, что ли? — ответил он. — Я не гордый и на слово поверю — похожа.

— Э-э, да ты веселый! Откуда такой молодец? Молодые-то парни нашего колхозу сторонятся.

— Бригадир тракторной бригады Федор Соловейков.

— Зять Силана Ряшкина, что ли?

— Он самый.

Еще раз пристальнее, как будто недружелюбно оглядела Варвара Степановна Федора.

— Ловкий они народ, сумели такого молодца залучить! Да и то: Степка — девка видная, гладкая, на медовых пышках выкормленная. Чай, доволен женой-то?

— Да покуда нужды не имею на другую менять.

— Ну и добро. Выкладывай, что за дело.

— Навоз-то лежит,— кивнул Федор на навозную гору.
— Вывезем.
— Без нас! По договору-то мы вам обязаны сто тонн вывезти. Договор скромный, можем и перевыполнить.

— Ишь удалец! Нет, уж лучше не перевыполняйте. Сами как-нибудь. Вывезете кучку, а напишете воз. Кто будет навоз вывешивать да проверять! Потом за ваши тонна-километры расплачивайся из колхозного кармана.

— Варвара Степановна, есть председатели колхозов старого уклада, есть нового...— Федор отбросил шутливый топ, заговорил деловито, наставительно.

Председатель слушала его молча, глядела невесело в сторону.

— С вашей МТС постаресь. Радио, действуйте... Но смотри у меня! За каждым возом сама буду доглядывать. Чтоб накладывали как следует.

— Вот это разговор! На какие поля возить, я уже знаю от участкового агронома. Мне б сейчас лошадку какую-нибудь, проехать, дороги обсмотреть.

— Иди к конюшне, скажи, что я Василька нарядить разрешила.

В сторожке у конюшни чадила потрескавшаяся печка. Какой-то ездовой и Силантий Петрович, оба разомлевшие в своих бараньих полунубках, добавляли к печному чаду махорочный дым. Пахло распаренной хвоей. Дома суровый, внушительный, Силантий Петрович здесь скромненько пристроился на краешке скамейки, лицо скучноватое, неприметное.

— Как бы Василька получить? Варвара разрешила,— спросил Федор.

— Пойди да возьми. Седло-то, должно быть, здесь, под лавкой. Тут вся справа,— ответил тесть.

Федор нагнулся: оброти, чересседельники, веревочные вожжи — все, перепутанное, цепляющееся одно за другое, потянулось из-под лавки.

— Ну и базар! У нас в селе дед Гордей разным ржавым хламом торгует, у него и то порядка больше. Перекинули бы здесь вдоль стены жердь и развесили.

— Не наказано нам,— спокойно произнес Силантий Петрович.

— Уж так и не наказано... А чего наказов ждать! Жерди на дворе лежат. Стрижена девка косы заплести не успеет. Я вроде посторошний, да и то мигом сколочу.

— Ну, ну, засовестил! Выискался начальник,

Ездовой, с любопытством приглядывавшийся к Федору, поднялся.

— Верно, пока не ткнут да не поклонятся, зад не оторвем... Дай-ко, Силан, твой толор, пойду приспособлю, что ли...

— У меня свои руки есть. Без тебя обойдется.

Силантий Петрович сердито встал, а через минуту, впустив в раскрытую дверь морозный пар, внес холодную, скользкую от тонкого слоя льда жердь.

— Ты, Федька, не учи меня — молод! Ишь распорядитель какой! — говорил он, в сердцах остукивая пристывший к жерди снег.

Выезжая за село на низкорослом, лохматом, как осенний медвежонок, Васильке, Федор недоумевал про себя: «Ведь он куда как ретив на хозяйство, дома-то ни минуты не посидит... А тут раскуривает, спокойнешенек...»

Вернулся с полей затемно. Поставил лошадь, соломенным жгутом обтер спину и пахи, с пахнувшим конским по́том седлом на плече двинулся к выходу.

Голос тестя, доносившийся с воли через приоткрытые двери, заставил остановиться Федора:

— Нет, ты уж хоть десяток соток, да запиши. Что я, задарма вам старался? Бог знает что творилось в сторожке — вся спась под погами путалась. Теперь — как в магазине: приходи — выбирай.

Невеселый басовитый голос совестил Силантия Петровича:

— На два гвоздя жердь прибил и выпрашиваешь...

— Не выпрашиваю, ты мне отметь мою работу, положено! Никто рук не приложил, а тут вместо благодарности оговаривают.

— Уж лучше бы не делал.

Федору стало целовко: а вдруг тесть заметит, что он тут стоит, подслушивает. Осторожно вышел в другие двери, обогнул разговаривавших.

Но Силантий Петрович и не собирался скрывать свой разговор. Дома, вечером, сердито расстегивая крючки полушубка, он заговорил:

— Вот, Федька, больно старателеп-то, не жди, премлю не выцешут. Они глядят, чтоб на дармовщину кто сделал.

Алевтина Ивановна, выносившая поило корове, задержалась посреди избы с ведром.

— Чтой опятьстряслось? — спросила она.

— Да ничего. Старая песня. Снова охулки вместо бла-

годарности. Руки приложил, а записать на трудовень от-
казались.

— И не прикладывал бы.

— Все помочь хочется, совесть не терпит.

— Не терпит... Совестьлив больно. Варвара небось с со-
вестью-то не считается. Как она тебя поносила, вспомни-
ка, когда ты сани с подсапниками делать отказался?

— Всегда в нашем колхозе так: сделай — себя обвору-
ешь, не сделай — нехорош.

— Уж вестимо.

По угрюмому лицу тестя Федор чувствовал, что тот недоволен им. Было стыдно за этого серьезного, рассуди-
тельного человека: «Из-за грошового дела в обиду лезет!»
Федор тайком посматривал на Стену: должно, и ей стыд-
но за отца? Но та, словно и не слышала этого разговора,
как ни в чем не бывало застилала рыжей скатеркой стол,
собирала ужинать. Она, уже заметил Федор, никогда не
спорила с родителями — послушная дочь.

Он ушел на свою половину и до позднего вечера сидел
у приемника, слушал передачу из московского театра. Мяг-
кая поступь Стени за его спиной успокаивала: «С нею
жить... Пусть себе ворчат — старики, что и спрашивать...»

8

Все пригляделось, все стало привычным.

Своими стали тесные, неуютные мастерские Кайгороди-
щенской МТС. Своим — другом и приятелем — стал Чи-
жов.

Привык и к сухоблиновскому председателю, тетке Вар-
варе. Сперва удивлялся: строга, народ ее уважает и побаи-
вается, а в колхозе на каждом шагу непорядок. Если бы не
он, Федор, с его тракторами — лежать бы навозу кучами
около скотного и до сих пор. Сперва удивлялся, потом по-
нял: Степановна строга, ее побаиваются, а бригадиров не
слушают, нету у председателя хороших помощников, всю-
ду сама старается попеть, своим глазом доглядеть, все
своими руками готова сделать, да глаз всего пара и рук
не тысяча.

Привык Федор даже к тому, что дома постоянно прихо-
дилось слышать обиды: «Охулки вечные... С нашей-то со-
вестливостью...» Привык, старался не обращать внимания:
«Старики, что с них спрашивать...» Силантия Петровича
в деревне недолюбливали, звали за глаза Бородавкой.

Все пригляделось, ко всему привык и только к одному не мог привыкнуть.

Как в первые дни, так и теперь, возвращаясь из МТС домой, он по-прежнему радовался покойной тишине, чистым наволочкам после бани, румяным щекам оторвавшейся от печки Стеши.

А Стеша что ни день, то красивее — какое-то завидное дородство появилось в ее фигуре, в ее движениях (сразу видно: не девка — жена). Повернет Стеша голову, на крепкой шее выются темные кудряшки, через высокую грудь спадает коса. «Федя, дров принеси...» — «Ах ты лебедушка!» — даже не сразу сорвется Федор с места.

Разве можно привыкнуть к этому? Счастье не надоедает, к нему не привыкнешь. Потому-то, может, и прощал Федор старикам их воркотню. Со Стешей жить, не со стариками.

Сама Стеша никогда не ворчала, да и ворчать ей было не о чем. Как бы там ни было, а старики все же работали в колхозе. Стеше же он — сторона. За селом стоит старый дом с навесом и коповязью перед окнами. Это маслобойка; за неимением других на селе предприятий, ее зовут громко — маслозавод. Каждое утро позднее Федора Стеша уходила туда, не по разу на день забегала домой, а вечером уже она встречала Федора заботливыми хлопотами по хозяйству — бегала из погребка в сеницы, замешивала поило корове. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила, редко когда перед сном, пожевывая, вспоминала: «Сегодня из Лубков с молоком приезжали, воротить пришлось... Холода-то какие, а проквасили, летом-то что будет?» Федор временами забывал, что она работает.

Так дожили до полной весны.

Серьезный, не падкий до шуток и пустяковых дел, Силаптий Петрович в один солнечный день подставил к старой березе лестницу, кряхтя, взобрался по ней и снял скворечник; сосредоточенно покусывая кончик усов, по-хозяйски оглядел его. Скворечник — не детская забава, частица хозяйства. Двор без скворечника — все одно что колхозная контора без вывески: знать, некрасиво живут, коль вывеску огоревать не могут. Ежели и скворечник исправлен — считай, все, до последнего гвоздя, исправно в хозяйстве. Силаптий Петрович с самым серьезным видом стал ремонтировать покоровившийся от непогоды птичий домик.

А у колхоза с весной новая беда.

Тетка Варвара зашла в контору Федора, села напро-

тив, подперев щеку тяжелым кулаком, пригорюнилась по-бабын.

— Выручил ты нас, Феденька, однова, свозил навоз, честно работал, не придерешься, выручи и в другой раз. Прошлый-то год, сам знаешь, какова осень была, не за тридевять земель жил... При дожде убирались. Зерно сушили — вода ручьями текла. Такое и на семена засыпали. Всю-то зимушку нас этот госсорт, чтоб им лихо было, за нос водил, всю зимушку гадали над нашим зерном бумажные душопки — то ли можно сеять, то ли нет... Сказали б загодя — нет, а то теперь выезжать пора, а они — всхожесть низка, не разрешаем! Да провалиться им!.. Семена-то есть, выделали нам райисполком, хорошие семена, так их достать надобно со станции. Выручи, Феденька, оговори у начальства разрешение одни трактор послать на станцию. Два выезда сделаете и спасете колхоз.

Федор слушал и прикидывал про себя: до станции более сорока километров, дороги размыло, с порожними, из цельных бревен вырубленными санями и то трудно пробираться трактору, а тут с грузом... Да и горючего уйдет уйма.

— Нет, Степановна, не помогу,— сказал он.— Да ты подумай — сама не согласишься. На такие дороги мало-сильную «кадушечку» не пошлешь, не вытянет воз «кадушка» по таким дорогам.

— Ну, а этого, большого?.. Пятьдесят же сил в нем, звере, черта своротит.

— Дизелем рисковать не буду. Ни ты, ни я не поручимся, что в такое непроезжее время он где-нибудь посередь дороги не сломается. Он у нас один, ему не сегодня завтра на клеверища выходить. И семена будут, а все одно сорвем сев. Ненадежный выход, Степановна.

— Как же быть, ума не приложу?

— Всех лошадей бросай на вывозку! Всех до единой!

Тетка Варвара и с надеждой, и с недоверием долго разглядывала Федора.

— Всех лошадей... Выход-то немудреный. Я и сама о нем думала. Всех?.. То-то и оно, побаиваюсь всех-то... Замучаем их, а — по прошлому году сужу — на ваше тракторное племя с головой положиться нельзя. Не тебе в обиду будь сказано... День работали, два дня в борозде стояли трактора-то. Трактористы от села к эмтээс мыкались, запасные части искали. Лошадки-то меня всегда выручали. С открытым сердцем тебе говорю, Федор,— боязнь берет без лошадей в сев остаться.

— Тетка Варвара, плохо ты знаешь бригадира Соловейкова! Иль, может, клятву особую тебе дать? Будут работать тракторы, ручаюсь! Бросай лошадей на семена! Управимся без них на полях! Десять лет я при тракторах, без малого полжизни! Мне слово тракториста дорого.

— Ой ли?..

Но по тому, как это «ой ли» было сказано, Федор понял: согласилась Степановна, не то чтоб совсем поверила, — согласилась, другого не придумаешь.

9

Исчезла под стеной сарая лиловая туша ноздреватого сугроба. Потом под окнами, меж черных грядок, сник ручей, оставил после себя след — желтую дорожку намывтого песка. Скоро и сами грядки начали терять свою мокрую черноту, комья земли стали сереть, как остывающие уголья, подергивающиеся тонким слоем пепла. Подсыхала земля.

Федор послал дизель пахать клеверища и сам пропал около него с раннего утра и до позднего вечера.

Приходил домой грязный, уставший, веселый.

— Лебедушка моя, есть хочу, ноженьки не держат, — и, стараясь походя щипнуть Стешу, на весь дом довольно хохотал, когда в ответ получал тумака.

Однажды вечером, когда Федор навалился на полуостывшие щип, Стеша присела напротив, поставила на краешек стола белые локотки и, склонив голову, с довольной и в то же время осуждающей улыбкой — «Эк ведь торопится, словно кто нахлестывает» — разглядывала мужа.

— Да, совсем было запамятовала... Долго ль ждать будем? Пора усадьбу пахать. Колхозное-то небось начали, а свое лежит нетронуто. Отец просил: сходи к Варваре, попроси лошадь, тебе она не откажет, с тобой ей не с руки не ладить.

— Нельзя, Стеша. Правление постановило: пока семена все не вывезут, никому лошадей не давать. У Варвары-то, чай, своя усадьба, не берет же она себе лошадь. Нам тут, Стешенька, не след поперед других вылезать.

— Так что ж, не пахать?

— Надо что-то придумать, Стеша. Лопатами, что ли, пока взяться? Туго колхозу-то нынче, семена на станции, а весна не ждет.

— Никакой у тебя заботушки! Не холостяшка, кажись, в семье живешь, пора бы иметь заботу-то. Лопатами... Ты, что ль, лопатой эти двадцать пять соток поднимаешь? Ты-то утром добро ежели завтрака дождешься, а то кусок в карман, да и был таков... Может, мне? Может, мать заставить?.. Отцу-то шесть десятков, надорвется!

— Обожди, Стеша. Вот вывезут...

— Жди, когда они вывезут! Колхозное-то засеют, а от своего хоть отвернись!

— Стеша! Я лошадь просить не пойду. Обижайся не обижайся — не пойду! Совести не хватит!

И получилось резковато. Полные губы Стеши растянулись, задрожали в уголках, в тени под ресницами, почувствовал Федор, сталл накупать слезы. Она поднялась.

— Совесь свою бережешь? За стол-то лезешь! Тут-то хватает совести! — Ушла, хлопнув дверью.

Федор сидел, продолжал хлебать сразу показавшиеся пресными щи и успокаивал себя: «Бывает... Утрясется... Дело-то домашнее,— глядишь — через час вернется, поладим».

Сел, как бывало в неловкие минуты, к приемнику, поймав Москву. Там пели:

За твои за глазки голубые
Всю вселенную отдам...

Стало не по себе, выключил, походил около двери, но войти не решился. Там тесть сидит,— верно, подметку на старые сапоги набивает или к чайнику отвалившийся пос припавает, молчит угрюмо. Теща, поджав губы, вздыхает: «На премию целится молодец...» Туда сейчас нельзя, там как на врага взглянут. «Стеша, наверное, плачет... И чего сорвалась? Договорились бы... Беда какая! Да черт с ней, с усадьбой, и без нее голодными не остались бы!..»

Скинув сапоги, лег лицом в подушку, ждал, ждал Стешу. Но та не приходила, не шел и сон.

Встал. Походил по комнате нарочно нумно, чтоб слышали на той половине, двигая стульями. Вспомнил, что днем, помогая ребятам устанавливать плуг, как-то зацепил рукавом, порвал. Решил залатать. Пусть Стеша приходит. Он будет сидеть, шить и молчать: любуйся, мол, какой у тебя догляд за мужем, не совестно?..

Разыскивая в коробке из-под печенья нитки, он наткнулся на комсомольский билет.

На собраниях Стешу не встречал, знакомился — полной

анкеты не требовал. Потом как-то привык — она работает, на работу не жалуется, и в голову не приходило поинтересоваться, комсомолка или нет.

С виду новенькому, не мятому, не затертому билету было четыре года. На карточке Стеша почти девочка, лицо простоватое, брови напряженно подняты; теперь куда красивее она выглядит. Членские взносы заплачены только за три месяца. Давно выбыла, четыре года билет валяется.

Держа в руках этот билет, Федор задумался: «Жена, ближе-то и нету человека, три месяца с ней живу, а ведь не только это, многого еще, пожалуй, не знаю про нее... Верно говорят: «Чужая душа — потемки».

Стеша так и не пришла, почевала у родителей.

10

...Лошадь требует — подай и шабаш, знать не хочу колхоза!..

И работу-то она нашла тихую, не пыльную, лишь бы в колхозе не сидеть... И комсомольский билет забросила, сунула вместе с нитками, забыла, и горя мало...

Но ведь все ж она душевный человек, мало ль промежуток пережитого, плохим словом о прошлом не обмолвишься, просто крест на ней не поставишь...

Шесть лет работает Федор бригадиром трактористов, а трактористы в деревне — особая статья. Этот народ цену себе знает, любит независимость. Со всякими ребятами приходилось сталкиваться. Случалось, подносили под нос пронаханный керосином кулак: «Не командуй, Федька!.. Сами с усами». Но и таких Федор обламывал. По начальству не ходил, не плакал в жилетку: сил-де нет, управы не найду. Шелковыми становились ребята, умел договориться. Девчата под его началом работали... Ну, с девчатами — легче легкого. Слово за слово, коль смазлива, то, глядишь, и за подбородочек можно взять — сразу растает. Стеша тоже человек. Договориться нельзя, что ли? Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за лошади. Да Стеша и сама откажется, только подойти надо умеючи. «Ай, Федор! Что ж тут казнить-то? Со своей женой да не столкнуться — смех!»

Федор с трудом дождался обеденной поры.

Стешу он застал дома, и она встретила его на удивление мирно.

— Вернулся, поперечный? А я уж думала, и к ночи не придешь. Наказание ты мое! Ладно, садись обедать.

С самого утра Федор готовился к разговору, сам про себя спорил, придумывал ответы, упреки, шутки. И на вот — все ни к чему. Стеша не держит па сердце обиды. Федор даже немного растерялся.

— Так ведь, Стеша, сама посуди... Чего просила... Раз-ве можно... Не время теперь...

— Это ты о чем? О лошади?.. Так об этом и говорить нечего. Ты не захотел — отец достал. Он уже пашет. Мимо шел, не заглянул небось, не заинтересовался.

— Как достали? Откуда?

— Откуда, откуда... Да все оттуда же. Пошли к Варваре и попросили. Это ты гордец выискался — совести не хватит!.. Садись уж за стол. Сегодня сун с курятиной, солонина-то, чай, опостылела.

Она, как всегда, спокойна и деловита. Мягкой поступью ходит вокруг стола, осторожно, чтоб не испачкать белой кофточки, в которой она сидит на работе, подхватывает тряпками тяжелые чугуны, легко их переставляет. С ней да ругаться, про нее да плохо думать, кто же не без греха?

И все же во время обеда Федор молчал, не переставал думать: «Как это Варвара решилась? Нет же лишних лошадей. Ни Силантия Петровича, ни Алевтину Ивановну она вроде особо не жалует. Что-то не то...»

После обеда он нарочно завернул за угол, полюбовался: Стеша не пугила — по черной, взрыхленной земле прыгали галки, тесть, сутулясь, неровными оступающимися шажочками шел за плугом.

У Федора беспокойно стало на душе.

Тетка Варвара хмуро отвела от него взгляд.

— Ты лошадь просил, — сказала она, не обращая внимания на произнесенное Федором: «Здравствуй, Степановна». — Так я дала ее.

— Я?.. Лошадь?..

— Иль не просил, скажешь? Силан утром целый час подле меня сидел, попрекал, что откосимся к людям плохо, что ты, мол, ради колхоза покой потерял, а я уважить тебя не могу. Так и сказал: «Федор просит уважить...» Еще пристражал: кобыленку жалеешь — как бы дороже не обошлось. Я Настасье Пеступовой отказала, у нее пятеро — мал мала меньше, сама хворая, мужа нет... А тебя уважила. Приходится... Оно верно — план-то сева дороже заезженной кобыленки.

— Не просил я лошадь, тетка Варвара!

Но тетка Варвара всем телом повернулась к бухгалтеру:

— Так ты куда ж, красавец писанный, этот остаток заприходовал?

— Тетка Варвара! Слышь!.. Нечего мне затылок показывать, выслушать надо!

— А ты не кричи на меня. На свою родню идп крикни, ежели они тебя обидели.

Как ошпаренный выскочил Федор из конторы, широким шагом зашагал к дому.

Он подождал, пока большеголовая, клапавшаяся мордой на каждом шагу лошадь добралась до обочины, взял ее за поводок.

— Стой, батя.

— Чего тебе? — Выцветшая, с черным околышем военная фуражка была велика тестю, треснувший матовый козырек напоз на хрящеватый нос.

— Выпрягай.

И, не дожидаясь помощи, Федор сам отцепил гужи. Лошадь дернулась и остановилась, вожжи были привязаны к ручке плуга.

— Отвязывай!

— Так, сынок, так... Ой, спасибо... Забываешь, видно, под чьей крышей живешь, чьи идп хлебаешь... А вожжи ты оставь. Вожжи мои, не колхозные.

Федор отцепил вожжи, побросал концы на землю.

— Позорить себя не дам! — крикнул он, уводя лошадь. — И щами меня не попрекай! Себе и жене на идп заработаю.

Он отвел в конюшню лошадь и ушел в поле, к тракторам, до позднего вечера.

11

Стемшело.

Наигрывая только здесь, по деревням, еще не забытый «Синий платочек», уходила из села гармоника. За пять километров отсюда, в деревне Соболевка, сегодня свадьба. Какой-то незнакомый Федору Илья Зыбунов начнет с завтрашнего дня семейную жизнь. На крылечках то ленивенько разгораются, то притухают огоньки сигарок. Две соседки, каждая от своей калитки, через дорогу, через головы редких прохожих судачат о какой-то Секлетее — и такая она и сякая, и нос широк, и лицо в веснушках:

«Как только на нее, конопатую, мужики заглядываются, уму непостижимо...»

Живет село неторопливо, спокойно готовится к ночи. Через час уснет с миром.

А среди других, грузно осевший в кустах малины, стоит дом. Угрюмо глядят на неуверенно приближающегося Федора его темные окна. Тяжело Федору переступить порог этого дома. И не переступил бы, прошел мимо, да нельзя. Так-то просто не отвернешься, не пройдешь мимо.

Федор осторожно толкнул дверь, она не открылась — заложена изнутри.

Что делать? Повернуть обратно? Постучать? И то и другое — одинаково трудно.

«Здесь пока живу, не в другом месте...» — Федор громко стукнул.

Долго не было ответа. Наконец раздался шорох.

— Кто тут? — Федор вздохнул свободней: не тесть, не теща, а Стеша, это хорошо.

— Я... Открой.

Молчание. Сперва морозный озноб пробежал под рубашкой, потом стало жарко до пота.

Но вот стукнул засов, дверь отпила, за ней послышались удаляющиеся шаги, резкие, сердитые.

Федор вошел, запер за собой дверь.

— Пришел, вражина? А зачем? Чего тебе тут?.. Тебе весь свет милей, чем мы! Поворачивай обратно! Глаза терпеть не могут тебя, постылого! Связалась я!..

— Стеша!.. Да обожди... Да брось ты... Пойми, выслушай...

Посреди комнаты, в белой рубахе, волосы растрепанные, неясное в темноте лицо, голос клокочет от злости, чем дальше, тем громче ее выкрики, срываются на визг. В тихом, уснувшем доме, где Федор приготовился говорить вполголоса, это не только неприятно, это страшно.

— Объяснить хочу...

— Какой ты мне муж! И чего я на тебя дурака, позарилась!.. Пришел! На-ко, мол, полюбуйся!..

— Стеша!

— Не приютили тебя дружки-то, сюда приперся!..

— Брось, Стешка!

— Ай, мамоньки! Что же это такое! Напаскудил, отца оплевал, теперь на меня!.. Несчастье мое!.. В родном-то доме!..

— Брось плакать! Послушай!

Но Стеша не слушала; белая, высокая, сцепившая на груди руки, она визгливо, по-бабьи заливалась слезами.

— За что-о мне па-а-ка-азание та-акое!

Стукнула дверь, в полутьме на пороге показалась теща в накинутом поверх исподней рубахи старом ватнике, пахнущая щами.

— Господи боже, Иусе Христе!.. Стешенька, родимухка, да что же это такое? Касаточка моя... Силан! Силан!.. Ты чего там лежишь? Дочь твою убивают!.. Ведь вахлак-то пьянешенек приперся!

И Федора взорвало:

— Вон отсюда, старое корыто! Нечего тебе тут делать!

— Си-и-илан!

— Мамоньки! Отец! Отец!

В белом исподнем, длинный, нескладный, ввалился Силантий Петрович, схватил за руку дочь, толкнул в дверь жепу.

— Иди отседова, иди! Стешка, и ты иди! Оносля разберемся... Я на тебя, иуда, найду управу...

— Уйди от греха!

— Найду!

Как отзвук всего безобразного донесся из-за двери голос тещи:

— Ведь оп, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!

Стало тихо.

Федор долго стоял не шевелясь.

«Вот ведь еще какое бывает... Что теперь делать?.. Уйти надо сейчас же... Но куда?.. На квартиру к трактористам, к ребятам... Но ведь спросят — зачем, почему, как случилось?.. Рассказывать — себя травить, такое-то позорище напоказ вынести. Нет, уж лучше до утра здесь перемучиться!»

И чтобы только отогнать кошмар темной комнаты — смутные фигуры Стеши, ее матери с ватником на плечах, тощего, как пожницы, тестя в подштанниках, — Федор зажег лампу.

Разбросанная кровать, половички на полу, белая скатерка на столе, желтый лак приемника, лампа под бумажным колпаком... Всплыла ненужная мысль: «На лампу-то абажур купить собирался, сверху зеленый, белый понижу...» И не испуг, а какое-то недоумение охватило Федора: «Неужели конец?»

Пол под ногами вымыт Стешей, скатерка на столе ее руками постелена, а края этой скатерти, зная, подрубала

теща, половички, занавески, этот страшный сундук... вспомнился выкрик: «Он, матушки, разобьет все! Добро-то, родимые, переколотит!» Радовался — свое гнездышко! Сейчас, куда ни повернешь, скатерка, половичок — все, кажется, кричит Степиным голосом: «Вражина! Куда приперся?» — «Гнездышко, да не свое... Ночь бы здесь провести, утром что-то придумать надо...»

Хотя на половине родителей, в маленькой боковушке, стояла широкая кровать с никелированными шарами, с пуховым матрасом, с горкой подушек, устланная нарядным верблюжьим одеялом, но старики обычно спали то на печи, то на полатах, подбросив под себя старые полушубки. Остаток ночи Стеша провела на этой кровати.

Первые часы она плакала просто от злости: «Кто дороже ему, вражине, жена родная или тетка Варвара?» Но мало-помалу слезы растопили обиду, стало стыдно и страшно. «Как еще обернется-то? А вдруг да это конец!..» Стеша снова плакала, но уже не от злобы, а от обиды: не получилось счастья-то.

А счастье Стеша представляла по-своему...

Она родилась здесь, в этом доме, здесь прожила всю свою педолгую жизнь. Если б кто догадался ее спросить: «Случалось ли у тебя в жизни большое горе или большая радость?» — ответить, пожалуй бы, не смогла. Большое горе или большая радость? Не помнит. Когда ей исполнилось семнадцать лет, подарили голубое шелковое платье. Она и теперь его носит по праздникам... После этого отец с матерью каждый год справляют обновки. Каждая обновка — радость, но от голубого платья, помнится, радостнее всех было. А большей радости не случалось.

Училась в школе. В шестом классе уже выглядела пестрой — рослая не по годам, и лицо с румянцем, и стан пестрой. Училась бы неплохо, если б не математика, от задач тупела. Но все же шла не хуже других, так — в серединке. В самодеятельности выступала, со школьным хором частушки на сцене пела...

Молодежь в своем колхозе обычно старалась не задерживаться. Парни уходили в армию и не возвращались, девушки уезжали то по вербовке, то учиться в ремесленное, то шли поближе, в райцентр, куда-нибудь делопроизводителем бумаги подшивать. Стеша не кончила восьмой класс — на вечерках поплясывать стала, парни провожали, сидеть за партой, решать, чему равно «а» плюс «б» в

квадрате, казалось стыдновато, да и ни к чему, в ее жизни «иксы» да «игреки» не пригодятся.

От дома она не оторвалась, никуда не уехала, но и в колхозе работать — отец с матерью в один голос объявили — расчету нет. Поступила на маслозавод. Работа не трудная — проверить молоко, припять, выписать квитанцию. На маслозаводе, кроме нее, работало всего пять человек, все пожилые, семейные. Стене в товарищи не под пару.

Держалась сначала старых подруг, с ними она ходила на вечеринки, секретничала в укромных уголках, кружок самодеятельности посещала и даже в это время в комсомол вступила. Другие-то вступают, чем она хуже?..

Вступила, но собрания по вопросам сеноуборки или вывозки навоза — не вечеринки с пляской. Как-то само собой получилось — она отошла от старых подружек (немного их оставалось в колхозе), те забыли ее.

Началась жизнь: дом да маслозавод, маслозавод да дом, каждый день одна дорожка мимо дома Агнии Стригуновой, мимо ограды Петра Шибанова, мимо конторы правления... Скучно бы жить так, да надежда была — кому-кому, а ей не сидеть в вековушках. Найдется под стать ей парень, не далеко уж то время — найдется!

Как отец с матерью живут, она жить не собиралась. Целыми днями они хлопочут по хозяйству, садят, поливают, на базары возят, на медке, на мясе да на картошке копейку выбивают. Едят сытно и еще обновы покупают, а ходят не нарядно, даже спят не по-человечески — печь да полати. В избе неуютно, стены голые, две темные иконки на божнице да отрывной календарь — вот и все украшение. Они довольны, частенько приходится слышать: «Сравнить с другими, справно живем, грех жаловаться...»

И какой спрос с отца, с матери, — им век доживать и так хорошо.

Вот выйдет замуж — по-своему наладит. Муж будет обязательно или учитель, или агроном, культурный человек, чтоб книги читал, газеты выписывал. Займут они половину дома, комнату с печью-голландкой. Тюлевые занавески на окнах, на столе патефон вязаной скатеркой накрыт, стеклянная горка с посудой — свое-то хозяйство из всей силушки станет обиходить.

Представлялось: раным-ранешенько, вместе с солнышком, проснется она: муж спит, сын (сын — непременно) спит: тихонько выходит она в огород. Босые ноги ро-

сяным холодком жжет, по крепким капустным листьям вода блестящими катышками сбегает, помидорным листом пахнет — все кругом свое, во все ее душа вложена... А по вечерам гости приходят. Не своя деревенская родня, не Егоры да Игнаты, а мужнины гости. За столом сидят, чай пьют, о политике рассуждают. Она или в сторонке с выпивкой на коленях, или угощает: «Кушайте на здоровье, медку-то не жалейте... Свои пчелы, сбор нынче хорош».

Вот оно, ее счастье — мир, тишина да дом полная чаша.

Но не все как думалось, так и вышло. Муж хоть и собою парень видный, а не учитель, не агроном, почти свой брат колхозник. Правда, книжки читает, газеты иногда на дом приносит, но гостей его пригласить неинтересно, не чаек, не разговор о политике их интересует — пиво да водка, споры о горячем.

Не совсем тот муж.

Стеша про себя тайком считала — осчастливила она Федора, могла бы и другому достаться. Потому и обидело ее страшно: Федор-то больше, чем родителей ее, больше, чем дом свой, больше ее самой посторонних уважает, тетку Варвару слушается!

Утром она, как всегда, ушла на работу. Там она сидела за закапанным чернилами столом, вздрагивала от каждого стука дверей. Все казалось — вот-вот должен войти Федор, и обязательно с повинной головой.

В маленькой конторке маслозавода было душно от нагретой солнцем железной крыши, стоял крепкий запах прокисшей сыворотки. Из-за размытых дорог, из-за жаркого дня молоко колхозы не везли, работы не было...

Стеша сидела и ждала. Федор не появлялся.

Она вдруг почувствовала головокружение и тошноту...

12

Уснул с мыслью: утром что-то надо придумать, — а придумать ничего не мог.

Ходил по распаханым полям от трактора к трактору, потом выбрал сухое местечко, на припеке, лежал на земле, надвинув фуражку на глаза, дремотно глядел в весеннее густо-синее небо.

«К матери бы съездить. Давно уже не был. Холостым-то что ни месяц навещал...»

И вспомнилась Федору мать. Идет согнувшись, мелкой торопливой походочкой, голова в выгоревшем платке впе-

ред, руки назад отброшены. Встретит бригадира, начинает обязательно выговаривать: «Куда смотришь? Где глаза твои?.. За лопатинским двором в овсе козы гуляют. Огороду поправить досуга у вас нет! Старухе заботиться приходится. Лаз — что ворота. Я там прикрыла малость». И бригадир спокоен: раз Дарья Соловейкова «прикрыла малость», значит — порядок, там козы не пролезут. Он стоит, выслушивает, пока Дарья не устанет.

Любит мать поворчать. Отцу-покойнику доставалось на орехи. Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него что-нибудь новенькое приготовлено: на повети крыша прохудилась, поленицу не на место сложил, дрова сырые привез. Отец так и называл: «Обедать с музыкой». А сколько затрепещи Федьке перепадало!.. Ворчлива мать, неуживчива, а в деревне ее любят...

«К ней бы поехать, выложить все — поймет, пожалеет, поругает по-своему... Нет!»

У матери одна теперь радость — сыновья. Они счастливы — счастлива и она. Приехать, пожаловаться... Со стороны-то для нее его горе вдесятеро больше покажется. «Нет уж, сам решай, не порти жизни матери».

Федор поднялся, нехотя направился в село.

Тетка Варвара, видно, своим бабьим сердцем учуяла беду Федора.

— Чегой-то невесел, молодец? — но расспрашивать не стала. Она знала, что Федор привел обратно лошадь, знала и семью Рянкиных... Она просто предложила: — Пойдемка ко мне, гостем будешь. А то работаем, считай, вместе, а знакомство конторское. Негоже! И старик мой рад-радешенек будет: раз гость, значит, и косушка на стол. Любит.

Домик у председательши был всего в четыре окна — две крохотные горенки с чисто выскобленными стенами. Под полатями Федору пришлось согнуться.

— Чего так разглядываешь мое житье? — спросила тетка Варвара.

— Могла бы и пошире жить.

— Не положено. Многие не лучше меня живут. Коль мне ставить новую хоромину, так и другим надо... В лесу утонули, одни крыши на солнце проглядывают, а по всему селу постройки не только до колхозов, а еще до революции ставлены. Руки не доходят.

— Кто же виноват? Вон в Хромцове целая улица новая.

— Кто ж виноват? Может, и я... Опять, старый, пол не подмел?

— А то каждый день полагается? — весело и бойко отозвался старик.

Муж тетки Варвары был тщедушный, с прозрачной седенькой бородкой, морщинки у него по лицу беспечные, разбежались в улыбку. Федор знал — дед Игнат был дальний родственник Алевтине Ивановне, — значит, и его. Игнат был на их свадьбе, выпил не больше других, но всех скорей охмелел.

— Плохая ты у меня хозяйка, — покачала головой Варвара.

— Заведи другую... Вот, братец ты мой, уж куда как плохо, коль жена в руководящий состав попадет, — обратился дед Игнат к Федору. — Мне и пол мести, и печь топить, беда прямо...

— Сознавайся уж подчистую, чего там скрывать! Ты у меня и корову обходишь, и тесто ставишь... Паучился. Такие пряженки печет, что куда там мне! Только лепив: пока стопочку не посулишь, пальцем не шевельнет. Иной раз черствой корки в доме не сыщешь. И талант вроде к домовитости есть, да бабьей охотки недостает.

Грубая, резкая Варвара словно размякла дома, голос густоватый, ворчливый, добрый.

— Чего-сь, не сбежать ли мне, Варварушка? — напомнил старик.

— Рад, старый греховодник. Беги уж. Только быстро.

— Сама знаешь, сызмала прыток на ногу.

— Па что, на что — на это дело тебе прыти не занимать.

Дед Игнат порывлся за печью, достал пустую бутылку, сунул ее в карман, лукаво подмигнул Федору, скрылся.

«Сейчас, верно, расспрашивать начнет, что да как?.. Песпроста же позвала...» — подумал Федор, когда они остались наедине.

Но тетка Варвара и не думала расспрашивать, она сама стала рассказывать о себе.

— Вот, говорят, плохо руковожу... А что тут удивляться? Я ведь баба необразованная. Видишь, книжки в доме держу, тянусь за другими, а ухватка-то на науку не молодая...

Дед Игнат в самом деле оказался прыток на ногу.

— Вот как мы! — заявил он, появляясь в дверях, и засуетился, забежал от погребца к столу.

Сели за стол.

— Ох, зло наше! — пенскренне вздохнул дед Игнат перед налитой стоночкой.

— А себе-то что? — спросил Федор тетку Варвару.

— Уж не неволь.

— Мы сами, мы сами... Она и так посидит, за компанию. За твое здоровье, племянничек! Ведь ты вроде того мне, хоть и коленце наше далекое.

Пошел обычный застольный разговор обо всем: о семенах, о севе, о подвозе горючего, о нехватке рабочих рук.

— В сев-то еще ничего, обходимся. А вот сенокосы начнутся! Наши сенокосы в лесах, наполовину приходитея не косилками, а по старинке косой-матушкой орудовать. Вот когда запоем — нету народу, рук нехватка! Привычная для нас эта песня... Нам бы поднатужиться, трудодень поувесистей дать, глядишь, те, кто ушел, обратно повернули бы. Толкую, толкую об этом — паждем, постараемся, кто-то слушает, а кто-то и умом не ведет. Есть люди — дальше своего двора и знать не хотят. Мякина в чистом помоле.

— На моих, верно, намекаешь? — спросил Федор.

— К чему тут намекать? Ты и сам без меня видишь... Эх, Федюха, Федюха, молодецкая голова, да зеленая! Ошибся ты малость. Зачем тебе было к Ряпкиным лезть? Уж коль взяла тебя за душу статья Степанидина, так отрывай ее от родного пристанища. Одну-то ее, пожалуй бы, и настроил на свой лад. Ты — к ним залез, всех троих не ослепил. Тебя б самого не перекрасили...

Федор молчал.

— Силан-то не из богатеев. До богатства подняться смекалки не хватало, а может, и жадность мешала. Жадность при среднем умышке не всегда на богатство помощница. Чтоб богатство добыть, риск нужен, а жадность риск душит. А уж жаден Силан: под себя сходит да посмотрит, нельзя ли на квас переделать. Прости, я попросту... Вот так-то силаны, при организации колхозов, ой как тяжелы были!.. Средняк, с виду свой человек, а пустро-то кулацкое, вражье! Теперь-то вроде не враги, а мешают. Вот уж истинно — бородавки. Боли от них особой нет, а досаждают.

— Ты так говоришь, что мне одно осталось — пойти да поклониться: бывайте здоровы.

— Нет, на то не толкаю. Попробуй вырви зуб из гнилых десен. Только вначале надо было это сделать. Теперь-то скрывать нечего, трудненько. Ведь я знаю: получил нагоний от Стешки, что лошадь у отца отобрал. Веры-то у

нее к родителям больше, чем к тебе... Для того я все это говорю, парень, чтоб не обернулось как бы по присловию: «С волками жить — по-волчьи выть». Воюй!

— Боюсь, что отвоевался. Нехорошо у нас этой ночью получилось, вспоминать стыдно.

— Понятно, не без того... Особо-то не казнь, к сердцу лишка не бери. Хочешь счастья — ломай, упрямо ломай, а душу-то заморозь, зря ей гореть не давай.

Молчавший дед Игнат, хоть и с интересом вслушивавшийся в разговор, однако недовольный тем, что с разговором забыта и бутылка, произнес:

— Обомнется, дело семейное, не горюй!.. Ну-кось, высьем по маленькой.

— А ты, — повернулась к нему тетка Варвара, — хоть словечко по деревне пустишь, смотри у меня!.. У тебя ведь с бабьей работой и привычки бабьи объявились, есть грешок — посплетничать любишь. Сваха бородатая!

— Эх, Варька, Варька! Да разве я?.. Язык у тебя, ей-бо, пакостней не сыщешь.

— Ладно! У человека — горе.

— Я ему друг или нет? Ты мне скажи: кто я тебе? — У деда уже заговорил хмелек.

В синее вечернее окно осторожно стукнули с воли.

— Кто это там? Не твои ли, Федор? Мои-то гости по окнам не стучат, прямо в дверь ломятся. — Тетка Варвара поднялась, через минуту вернулась, кивнула коротко Федору: — За тобой, иди.

У окна, прислонившись головой к бревенчатой стене, стояла Стеша. И хотя вечер был теплый, она зябко куталась в свой белый шерстяной полушалок.

Ни слова не обронили они, торопливо пошли прочь от председательского дома. И только когда завернули за угол, скрылись от окон тетки Варвары, оба замедлили шаг. Федор понял — сейчас начнется разговор. Он поднял взгляд на жену. С лица у нее сбежал румянец, глаза красные, заплаканные, но в эту минуту блестят сухо.

— Водочку попиваешь? В гости ушел? А та и рада... Жаловался ей, поди? Знал, кому жаловаться. Варваре! Она, злыдня, нашу семью живьем съест готова.

Стеша, закусив зубами край шерстяного платка, беззвучно заплакала.

— Плачь не плачь, а тебе одно скажу, — сурово произнес Федор, — жить я в вашем доме не стану! Или идем вместе, или один уйду. Подальше от твоих. Вот мое слово, переначивать его не буду.

— Она! Она, подлая! У-у, горло бы перегрызла! Собачье отродье! Мало ей, что по селу нас позорит, жизнь мою разбить хочет! Из-за чего?.. Что злого мы ей сделали? Я-то ей чем не потрафила?

— Ее винить нечего. Она тут ни при чем. Ошибся я, что согласился к вам переехать. Стеша... уедем в село, при МТС жить будем.

— Никуда не поеду! Чем тебе здесь худо? Уж, кроме как своей работы, и заботы никакой нет. Плохо ли живешь? Хозяйство, усадьба... А там садись-ка на жалованье.

— Стеша, чего жалеешь? Нужно, и там все будет.

— Зна-аю... Да и что говорить! Нельзя мне ехать от дому. Ты б поинтересовался когда... Души в тебе столько же, сколько у злыдни Варьки совести!.. Ребенок же у меня!

— Ребенок!

— Сегодня на работе голова закружилась, рвать стало... Мать ощупывала... Куда я с ребенком-то от дому поеду? От матери к няньке чужой... От добра добра не ищут, Феденька-а...

Стеша плакала. Федор молчал.

Так — одна плачущая тихими слезами, другой молчаливый, замкнутый — вошли в дом. У крыльца их встретила Алевтина Ивановна, проводила косым взглядом.

Должен быть ребенок. Но его еще нет, он не появился в семье. Не появился, а уже участвует в жизни.

13

Федор и представить себе не мог, как после ночного скандала жить под одной крышей с тестем и тещей, варить обеды в одной печи, каждый день встречаться...

Ведь друг другу в глаза глядеть придется, о чем-то нужно разговаривать!

А не разговаривать, слушать со стороны тошно...

— Никакой заботушки в нашем колхозе о людях! Пету ее.

— Захотела, — бубнит в ответ теть.

— Скоро для коровы косить... Опять на Совинные или в Авдотыну яругу тащиться?

— А куда же? Может, ждешь, по речке на заливному отвалят?

— Мало ли местов-то.

— Ты к Варваре иди, поплачь, может, пожалеет... Вон собираются на Кузьминской пустоши пни корчевать — подходяще для нашего брата.

— Ломи на них, они это любят.

Этим кончаются все разговоры, изо дня в день одни и те же. Противно!

Противна бывает и ехидная радость Алевтины Ивановны: «В нашем-то кабанчике уже пудиков восемь будет, не колхозная худоба». Противна даже привычка тестя тащить с улицы оброненные подковы, ржавые гвозди, дверные петли, обрывки ременной сбруи... Все в них противно! Как жить с ними?..

Отказаться, не жить, разорвать — значит разорвать со Стешей. Да и только ли с ней? Ее белое лицо потеряло свежесть. Не выносила мясного, рыбного и запаха хлеба. Сомнений уже быть не могло.

Казалось бы, невозможно жить, но это только казалось. Федор продолжал оставаться в доме Ряшкиных.

В глаза друг другу почти не глядели, зато Федор часто промеж лопаток, в затылке ощущал зуд от взглядов, брошенных в спину. Разговаривали по крайней нужде. И всегда так: «Стена просит дров наколоть, мне бы топор...» Назвать тестя «отцом» не лежит душа, назвать по имени-отчеству — обидеть, прежде-то отцом звал.

Стеша же осунулась и подурнела, и не только от беременности. В глазах, постоянно опущенных к полу, носила скрытый страх, горе, тяжелую, глухую злобу не столько на Федора, сколько на «злыдню Варвару». День ото дня она больше и больше чуждалась мужа.

Иногда Федор исподтишка следил за ней: «Обнять бы, приласкать, поговорить по душам...» Да разве можно! Слезы, объяснения, а там, глядишь, и попреки, крики, прибегут опять отец с матерью.

По ночам, лежа рядом со Стешей, отвернувшейся лицом к стене, Федор кусал кулаки, чтоб не кричать от горя, от бессилия: «Тяжко! Невмоготу! Душит все!»

В полях, около тракторов, в МТС Федор мог и шутить, и смеяться, и заигрывать с секретаршей Машенькой, вызывая ревность у Чижова. На промасленных парах эмтэ-эсовского общежития теперь он был почти счастлив.

Вот уж воистину — не ко двору пришелся. Не ко двору...

Страшные это слова, на человеческих страданиях они выросли.

Все чаще и чаще приходила мысль: «Не может же так вечно тянуться. Кончится должно... Когда? Чем?..»

Шел день за днем, неделя за неделей, а конца не было. Как всегда, пряча глаза, Стеша заговорила:

— У тебя завтра день свободен?

— Свободен,— с готовностью ответил Федор, благодарный ей уж только за то, что она заговорила первой и заговорила мирно.

— Отец идет косить на Совиные вырубки. Может, сходишь, поможешь?.. Молоком-то пользуемся от коровы.

— Ладно,— произнес он без всякой радости.

Силантій Петрович и Федор вышли ночью.

До Совиных вырубок — пятнадцать километров, да и эти-то километры черт кочергой мерил.

Тропа, засыпанная пружинящим под ногами толстым слоем прелой хвои, протискивалась сквозь мрачную гущу ельника. Шли, словно добросовестно исполняли трудную работу, слышалось только сосредоточенное посапывание. Тут людям и в приятельских отношениях не до разговоров. Федор, наткнувшись щекой на острый сук да еще когда споткнулся о корневище, дважды выругался: «А чтоб тебя!» Тесть же, переходя по стежке, переброшенной через крутой овражек, за весь путь лишь один раз подал голос:

— Обожди, не сразу... Обоих не сдержит...

Больше до самых вырубок они не произнесли ни слова.

Года четыре назад здесь шли лесозаготовки, насадно визжали электропилы, с угрожающим, как ветер перед грозой по траве, шумом падали сосны, трелевочные тракторы через пни, валежник и кочки тащили гибкие хлысты.

Теперь тихо, пусто, диковато. Далеко друг от друга стоят одиночки деревьев. Это не случайно уцелевшие после вырубки, это семенники. Они должны заново засеять освожденную от леса землю. Когда-то стояли они в тесной толпе собратьев, боясь опоздать, остаться без солнца, торопливо тянулись вверх. Теперь вокруг никого не осталось, лишь им выпала участь жить. Стоят длинные, тонкие, словно общинанные, бережно хранят на верхушках жалкие клочки листвы или хвои. На земле же среди потемневших иней кустится молодая крупнолистная поросль берез, ольхи, осины, где помокрей да помягче — ивнячок да смородина. На этих-то мягких местах и косят обычно те рачительные хозяева, которые не особо надеются на укусы с колючих лугов. Тут растет больше трава, зовущаяся по деревням «дудовник» или «пучки». Рсбятнишки с аппетитом едят ее мясистые, пахнущие стебли, очистив их от жестковатой ворсистой кожицы. Косить ее падо до цвету, иначе вырастет, станет жесткой, как кустарник, отворачиваться будет от нее скот.

Верхушка ближайшей березы-семенника розово затеплилась. Где-то, пока еще невидимое с земли, поднялось солнце.

Встали на пологой долинке — Федор с одного конца, Силантий Петрович с другого. Старик, прежде чем начать, с сумрачной важностью (боялся, что зять в душе посмеется над ним) перекрестился на розовеющую верхушку березы. Он первый начал. Взмахи его косы были осторожны, расчетливы и в то же время резки, как удары.

В Заосичье, где родился Федор, говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Не было поблизости ни заливных лугов, ни ровных суходолов. Отец Федора считался одним из лучших косцов по деревне и гордился этим: «Не велика наука по ровному-то, а вот по нашим местам с косой пройдишь, тут без смекалки и разу не махнешь».

Позднее, когда Федор выучился ездить на велосипеде и умудрялся отмахивать за час от Хромцова до Большевской МТС двадцать километров по разбитому проселку, всегда вспоминал косьбу с отцом по окраинам буераков, на горях, по затянутым кустарником полянам.

На велосипеде все время напряженная борьба с дорогой. Каждая выбоина, песчаный, размятый копытами кусок, глубокая колесная колея — все надо обойти, изловчиться, победить. Так и при косьбе в лесу...

Маленький кустик утонул в густой траве. Боже упаси недоглядеть, всадить в него косу! Носком косы, стежок за стежком подрубается трава. Она ложится на землю. Кустик, освобожденный от травы, топорщится, кажется — сердится на человека, он оголен, он недоволен, но с ним покончено, остается перешагнуть и дальше... Свободное место, ровная трава — раз, два! — широкие взмахи. То-то наслаждение — не копать, а развернуться от плеча к плечу. Но не увлекайся — из травы выглядывает макушка полусгнившего пня, он сторожит косу...

Кустик, пенек, трухлявый ствол упавшей березки — все надо обойти, изловчиться, победить.

Федор забывал о тесте.

Солнце поднялось над лесом, стало припекать, прилипла к спине рубаха. Только когда от Силантия Петровича доносился визг бруска о косу, Федор тоже останавливался, пучком травы отирал лезвие, брался за свою лопатку. Им в одно время захотелось пить. Оба положили косы, с двух сторон пошли через кусты к бочажку ручья. Федор постоял в стороне, подождал, пока Силантий Петрович напьется. Тот, принав к воде, пил долго, отрывался, чтоб

перевести дух, с желтых усов падали капли. Напившись, осторожно, чтобы не намутить, сполоснул лицо и молча отошел. Его место занял Федор. Лежа грудью на влажной земле, тоже пил долго, тоже отрывался, чтобы перевести дух.

К полудню сошлись. Меж ними оставалось каких-нибудь двадцать шагов ровного, без пней, без кустов, без валежьи, места. Взмах за взмахом, шаг за шагом сближались они, красные, уставшие, увлеченные работой.

Быть может, они бы сошлись и взглянули бы в глаза. Что им делить в эту минуту? Оба работали, оба одинаково устали, один от одного не отставал, тайком довольны друг другом... Быть может, взглянули бы, но быть может, и нет.

Они сходились. «Вжи! Вжи!» — с одной стороны взмах, с другой стороны взмах, с сочным шумом валилась трава.

Федор вдруг почувствовал, что его коса словно бы срезала мягкую моховую шапку с кочки. Он сдержал взмах и сморщился, словно от острой боли. Лезвие косы было запачкано кровью. На срезанной траве в одном месте тоже следы крови, темной, не такой яркой и красной, как на блестящей стали. Бурый меховой бесформенный комочек лежал у ног Федора. Он перехватил косою крошечного зайчонка.

Силантий Петрович, отбросив косу, стал что-то ловить в траве, наконец поймал, осторожно разогнулся. Федор подошел.

— Задел ты его, парень. Концом видать... Ишь кровца на ноге.

В грубых широких ладонях тестя сидел второй зайчонок; к пушистой сгорбленной спинке крепко прижаты светлые бархатные ушки, без испуга, с какой-то болезненной тоской влажно поблескивает темный глазок.

— Выводок тут был. Где ж уследишь? — виновато пробормотал Федор.

— Божья тваринка неразумная. Нет чтоб бежать... доиделась.

И в голосе, и на дубленном лице тестя в глубоких морщинах затаилась искренняя жалость, настоящее, неподдельное человеческое сострадание.

— Не углядишь же...

— Углядеть трудно. Дай-кося тряпицу какую. Перетянем лапу, несем домой, может, и выходят бабы. Тварь ведь живая.

Домахнув остатки, они отравились обратно. Силантий

Петрович нес свою и Федора косу. Федор же осторожно прижимал к груди теплый, мягкий комочек.

В этот вечер ужин готовился не порознь. Уселись за стол на половине стариков. Ни браги, ни водки не стояло на столе, а в доме чувствовался праздник.

Силантий Петрович и Федор, оба в чистых рубашках, сидели рядом, разговаривали неторопливо о хозяйстве.

— Запозднись на недельку, — перестояла бы трава.

— Перестояла бы... А ты, парень, видать, ходил с кошой по лесным-то угодыям. Не хваля скажу — меня, старика, обставил.

— Как не ходить! Не из городских, чай.

— Оно и видно.

Алевтина Ивановна на лавке около печки прикладывала смоченные в воде листочки к раненой ноге зайчонка и ласково уговаривала:

— Дурашка моя, кровинушка, чего ж ты, родимый, пугаешься? Не бойся, касатик, раньше бы тебе бояться. Раньше... Угораздило, болезного, подвернуться.

А в стороне, так чтоб не слышать запах мясного борща со стола, сидела и пила топленое молоко Стеша. Светлыми, счастливыми глазами смотрела она на всех: мирно дома, забыто старое.

Опа-то промеж Федора да родителей стояла, ей-то больнее всех доставалось, зато уж теперь больше всех и радостно.

Мирно дома, забыто старое.

Пришел поутру бригадир Федот Носов, высокий, узкоплечий, с вечной густой щетиной на тяжелом подбородке. Он нередко заглядывал к Силантию Ряшкину, и Федор, приглядываясь к ним, никак не мог понять — друзья или враги промеж собой эти два человека. Если Федот, войдя, здоровался в угол, останавливался посреди избы, не присаживался, не снимал шапки, значит, не жди от него хорошего. Если же он сразу от порога проходил к лавке и присаживался, стараясь поглубже спрятать свои огромные пыльные сапожищи, значит, будет мирный, душа в душу, разговор, а может, даже и бутылочка на столе.

На этот раз бригадир остановился посреди избы, смотрел в сторону.

— Силан,— сказал он сурово,— завтра собирайся на покосы.

— Что ж,— мирно ответил насторожившийся Силантий Петрович,— как все, так и я.

— Варвара сказала, чтоб пыпе кашеваром я тебя не ставил. Клавдию на кашеварство. Болезни у нее, загрести ей трудно. Ты-то для себя косишь небось? Вот и для колхозу постарайся.

— Поимейте совесть вы оба с Варварой — ведь старик я. Для себя ежели и кошу, то через силушку. Не выдумывай, Федот, как ходил кашеваром, так и пойду.

— Ничего не знаю. Варвара наказала.

Федот повернулся и, согнувшись под полатями, глухо стуча тяжелыми саногамп, вышел.

— Ох, пакостница! Ох, змея лютая! Своего-то старика небось подле печки держит! А этот-то как вошел, как стал столбом, так и покатилося мое сердечко... Ломи-ко на них цело лето, а чего получишь? Жди, отвалят...

Силантий Петрович оборвал причитания жепы:

— Буде! Возьмись-ко за дело. Бражка-то есть ли к вечеру?

— Бражка да бражка, что у меня, завод казенный или фабрика?

Вечером бригадир снова пришел, но держал себя уже иначе. Прошел к лавке, уселся молчком, спял шапку, пригладил ладонью жесткие волосы, заговорил после этого хотя осуждающе, но мирно:

— Лукавый ты человек, Силан. За свою старость прячешься — нехорошо. Ты стар, да куда как здоров, крижи на добрая, а Клавдия и моложе тебя, да хворающая...

Федор знал, чем кончится этот разговор, и он ушел к себе, завалился на кровать. Пришла Стеша, напомнила ласково:

— Не след тебе, Феденька, чуждаться. Пошел бы, выпил за компанию.

Федор отвернулся к стене.

— Не хочу.

Стеша постояла над ним и молча вышла.

Назавтра стало известно — Силантия Петровича снова назначили кашеваром. Ничего вроде бы не случилось. Не было ни криков, ни ругани, ни ночных сцен, по в доме Ряшкиных все пошло по-старому.

Снова Стеша стала прятать глаза. Снова Федор и теща, сталкиваясь, отворачивались друг от друга. Снова теща ворчала вполголоса: «Наградил господь зятьком. Старик с

утра до вечера спину ломает, а этот ходит себе... У свиньи навозу по брюхо, пальцем не шевельнет, все на нас норовит свалить». Если такое ворчанье доходило до Федора, он на следующий день просил у тестя: «Мне бы вилы...» И опять не отец, не Силантій Петрович, просто: «Мне бы...» — пикто!

Федор старался как можно меньше бывать дома. Убегал на работу спозаранку, приходил к почи. Обедал на стороне — или в чайной, или с трактористами. А так как за обеда приходилось платить, он перестал, как прежде, отдавать Стеше все деньги и знал, что кто-кто, а теща уж мимо не пропустит, будет напевать дочери: «Привалил тебе муженек. Он, милушка, пропивает с компанией. Ох, несемейный, ох, горе наше!»

Особенно тяжело было вечерами возвращаться с работы. Днем не чувствовал усталости: хлопотал о горючем, ругался с бригадирами из-за прицепщиков, кричал по телефону о задержке запасных частей, бегал от кузницы до правления. К вечеру стал уставать от беготни.

Тяжелой походкой шел через село. Лечь бы, уснуть по-человечески, как все, не думая ни о чем, не казнясь душой. Но как не думать, когда знаешь, что, поднимаясь по крыльцу, обязательно вспомнишь — третьего дня тесть здесь новые ступеньки поставил, зайдешь в комнату — половички, на которые ступила твоя нога, постланы и выколочены Стешей, постель, куда нужно ложиться, застелена ее руками. Каждая мелочь говорит: помни, под чьей крышей живешь, знай, кому обязан! Даже иногда полной грудью вздохнуть боязно — и воздух-то здесь не свой, пх воздух.

Стеша, с похудевшим лицом, встречает его тяжелым молчанием, иногда заставлял плачущей. А это самое страшное. По-человечески, как муж жену, должен бы спросить, поинтересоваться: что за слезы, кто обидел? Да как тут поинтересоваться, если без слов все ясно — жизнь их несурьзная, оттого и слезы! Кто обидел? Да он, муж ее, — так считает, не иначе. Лучше не спрашивать, но и молчать не легче. Подняться бы, уйти, хоть среди луга под стогом перепочевать, по нельзя. Здесь твой дом, жить в нем обязан. Обязан в одну постель с женой ложиться.

И так из вечера в вечер.

Не может так долго тянуться. Кончиться должно. Уж скорей бы конец!

Пусть тяжелый, некрасивый, но конец — все лучше, чем постоянно мучиться.

Пельзя жить!

Нельзя, а все же каждый вечер Федор послушно шаггал через село к дому Ряшких.

15

У Федора была тетрадь. Он ее называл «канцеляршей». Туда заносил и выработку трактористов, и расход горючего за каждый день. Эту «канцелярию», промасленную и потертую, сложенную вдвое, он послал всегда во внутреннем кармане пиджака и однажды вместе с пиджаком забыл ее дома.

Прямо с поля он приехал за тетрадью, оставил велосипед у плетня, вошел во двор и сразу же услышал за домом истошное козье бляенье. Ряшкины своих коз не держали, — верно, чужая забралась. Крик был с надрывом, с болью. «Какая-то блудливая допрыгалась, повисла на огороде, а сейчас орет». Федор, прихватив у крыльца хворостину, направился за усадьбу и остановился за углом.

Коза не висела на огороде. Она стояла на земле, сзади на нее навалилась Стеша, спереди, у головы, с обрывком веревки в руках орудовала Алевтина Ивановна. Поразило Федора лицо тещи — обычно мягкое, рыхловатое, оно сейчас было искажено злобой.

— Паскуда! Сатанинское семя! Стеша! Милушка! Да держи ты, Христа ради, крепче!.. Так се!

Коза рвалась, взახлеб кричала.

«Рога стягивают», — понял Федор.

Козы — вредное, пронырливое, надоедливое племя. От них трудно спасти огороды. Их гоняют, бьют, привязывают неуклюжие рогатины и тяжелые волокуши на шею, все это в порядке вещей, но редко кто решается на такую жестокость — стянуть рога. Оба рога, расходящиеся в стороны, сводятся как можно ближе друг к другу, стягиваются крепко-накрепко веревкой, и коза отпускается на свободу. От стянутых рогов животное чувствует ужасную боль в черепе, мечется, не находя себе места. Если сразу не освободит ее хозяйка от веревки, коза может лишиться и без того небольшого козьего разума. Будет ходить ношатываться, постоянно с тихой жалобой плакать, плохо есть, перестает доняться — словом, как называют в деревне, станет «порченной».

— Все, Стешенька, пускай... В огурчики, ведьма, залезла! Огурчиков захотелось!

В две палки ударили по козе, та рванулась, все так же блажно крича, пронеслась мимо Федора.

В первую минуту Федору было только стыдно как человеку, который, сам того не желая, оказался свидетелем нехорошего дела. И Стеша, заметив его, должно быть, почувствовала это. Отвернулась, нагнулась к огуречным грядкам.

Теща, все еще с красным, озлобленным лицом, прошла, не обратив на Федора внимания.

— Огурчики пощипала! Вдургорядь не придет!

За тетрадкой Федор так и не зашел. Он сел на велосипед и поехал в поле.

Смутная тяжесть легла на душу. Такой еще не испытывал. Не жестокость удивила и испугала его и уж, во всяком случае, не жалость. Попадись эта блудливая коза под его руку, тоже бы отходил — помнила. Люди непонятные, вот что страшно. Как же так — один человек может обхаживать раненого зайчонка, обмывать, перевязывать, ворковать над ним: «Кровинушка, болезный...» — и тут же мучить другую животину? А лицо-то какое было! Перевертило от злости — зверь! «Огурчики пощипала!» Ну, теща — еще понятно, она за свои огурчики живьем, не с козы, с человека кожу содрать готова, но Стеша!.. Тоже, знать, осатанела за огурчики. «Девка гладкая, на медовых нышках выкормленная!» И только-то? Мало этого для жизни, оказывается.

Пустой случай. Подумаешь — поглядел, как козу наказывают! Кому рассказать, что расстроился, — засмеют. Не обращать бы внимания, забыть, не вспоминать, но и подумать сейчас не мог Федор о вечере... Опять вернуться, через стенку ворчанье тещи слушать, щи хлебать, в их печи сваренные, с тестем при встрече отворачиваться, с женой в одну постель ложиться! Докуда терпеть это наказание? Хватит! Пора кончать, рвать надо!

Но ребенок ведь скоро будет. Его не ветром надуло. Отец-то ты, Федор!

Что же делать?.. Может, ради ребенка подлаться? Может, как теща, сатанеть над огурчиками? Может, плюнуть на все, подневать вместе с тестем: «Люми на них, они это любят»? Душу себе покалечить из-за ребенка?

Нельзя! Пора кончать! Рвать надо!

Вдоль лесной опушки, по полю, оставляя за собой темную полосу пахоты, полз трактор.

Положив у заросшей ромашками бровки велосипед, Фе-

дор прямо по отвалам направился к трактору. Трактор вел Чижев. Он остановился, слез не торопясь, кивнул головой прицепщику, веснушчатому пареньку в выцветшей рубашке:

— Разомнись пока. Как, Федор, уладил с горючим?

Федор прилег на траву.

— Нет. Тетрадь дома забыл.

— Ты ж за ней поехал...

Федор промолчал.

— Слушай,— обратился он через минуту,— там у меня велосипед, съезди ко мне домой, возьми тетрадь.

— А сам-то?

— Да что сам, сам... Тяжело съездить?

— Уж и на голос сразу. Съезжу, коль поработаешь.

Чижев повернулся, пошел было, но Федор вскочил, догнал его, схватил за рукав, повел в сторону.

— Обожди, разговор есть...

Они уселись в тени, под покачнувшейся вперед маленькой березой. И хотя давно уже меж ними была забыта старая обида, но Федор о семейных делах никогда не говорил с Чижевым. Считал — не с руки выносить сор из избы. А тем более перед Чижевым плакаться на судьбу стыдно. Теперь же Федору было все равно — не сейчас, так завтра узнают все, узнает и Чижев, и еще с добавлениями. Добавлений не миновать, такое дело...

Но Федор молчал, долго курил. Чижев с легким удивлением приглядывался к нему. Березка шелестела листьями над их головами.

— Ну, чего ты хотел? — не вытерпел Чижев.

— Слушай, скажи моим,— начал Федор и залпнул.— Скажи,— продолжал он решительнее,— не вернусь я к ним больше... Пусть соберут мои вещи... Сапоги там остались новые, в сундуке лежат... Полушубок, рубахи, приемики... Я к вам на квартиру жить перееду.

— Ты в уме ли? Дурная муха тебя укусила?

— Скажи, что вечером вы приедете за вещами.

— Федька! Ну, хоть убей, не пойму.

— Да что понимать? Не ко двору пришелся. Нет моченьки жить в ихнем доме.

— Это почему?

— Объяснять долго... Да и не рассказать всего-то. Народ они нехороший, тяжелый народ. Ты, Чижек, лучше не спрашивай. Ты иди, делай, не трави меня. Мне, брат, без твоих распрэсов тошно...

Чижев посидел, подождал, не скажет ли еще что Фе-

дор, но тот молчал. Чижев осторожно поднялся. Сбитая на затылок истасканная кепка, приподнятые плечи, боязливо шевелящиеся острые локти прижатых к телу рук — все выражало в удаляющемся Чижеве недоумение.

Федор, отбросив окурок, поднялся, направился к трактору.

Он осторожно тронул и сразу же через машину ощутил за своей спиной тяжесть плуга, выворачивающего пятью лемехами слежавшуюся землю. Это пришедшее чувство уверенной силы тянущего плуг трактора немного успокоило Федора.

Ему показалось, что Чижев вернулся слишком быстро.

— Сказал? Все?

— Все, как наказывал.

— А они что?

— Степанида-то заплакала, потом ругаться стала, кричать на тебя, па меня... Я думал, в лицо вцепится... А какая красивая она была...

При последних словах Федор представил себе Стешу, лицо осунувшееся, с несвежей от беременности кожей, искаженное злостью и обидой, растрепанные волосы... «Была красивой». Чижев выдал себя. Он, верно, все ж таки завидовал немного Федору — хват парень, девки виснут на шею, — а теперь куда уж завидовать, просто откровенно жалеет.

Полуденная тишина жаркого дня стояла над полем.

Пахло бензином от трактора, теплой, насквозь прогретой солнцем землей, клевером. Федору хотелось лечь на землю лицом вниз и от жалости к себе тихо поплакать о своей неудачной жизни.

Но маленький стыд бывает сильнее большого горя.

Стоял рядом Чижев, топтался в стороне босоногий прицепщик, и Федор не лег на землю, не заплакал, постеснялся.

Обычный дом — изба, сложенная из добротного сосняка, тесовая крыша с примелькавшимся коньком, маленькие окна. Под окнами кусты малины, посреди двора береза-вековуша. На топком шесте она выкинула в небо скворечник. В глубине — стая и поветь. Въезд на поветь порос травкой. Все это огорожено плетнем.

Дом обычный, ничем не приметный, много таких на

селе. И плетень тоже обычный. В нем не три сажени, не частокол бревенчатый, из тонкого хвороста поставлен, хотя и прочно — чужой кошке лапу не просунуть. И все же этот плетень имеет скрытую силу — он неприступен.

Через неделю после ухода Федора Стеше исполнилось двадцать лет. Как всегда, в день ее рождения купили обнову — отрез на платье. В прошлом году был крейдешин — розовые цветочки по голубому полю, нынче — шелк, сиреневый, в мелкую точку. Купили и сирятали в сундук. Были испечены пироги: с луком и яйцами, с капустой и яйцами, просто с яйцами, палим в пироге. Отец, как всегда, принес бутылочку, налил рюмку матери. Как всегда, мать поклонилась в пояс: «За тебя, солнышко, за тебя, доченька. Ты у нас не из последних, есть на что поглядеть». Выпив, долго кашляла и проклинала водку: «Ох, батюшки! Ох, моченьки нет! Ох, зелье антихристово!» Отец, как всегда, проговорил: «Ну, Стешка, будь здорова», — опрокинул, степенно огладил усы. Все шло, как всегда, одного только не было — радости. Той тихой, уютной, домашней радости, которую с детства помнит Стеша в праздники. Все шло, как всегда. О Федоре не вспоминали. Но под конец мать не выдержала; скрестив на груди руки, она долго смотрела на дочь, вздыхала и все же обмолвилась:

— Не кручинься, соколанушка. Бог с ним, непутовый был, незавидный.

И Стеша расплакалась, убежала на свою половину.

В последнее время частенько ей приходилось плакать в подушку.

«Плохо ли жить ему было? Чего бы волком смотреть на родителей? Доля моя нескладная!.. Парнем-то был и веселый и ласковый. Кто знал, что у него такой характер... Ну, в прошлый раз к Варваре пошел — понятно. Обругала, накричала я на него, мать его обидела. Теперь-то слова против не сказала. На что мать и та, чтоб поворчать, пряталась, в глаза обмолвиться боялась. Может, ждет, чтоб я к нему пришла, поклонилась? Так нет, не дождется!»

Она плакала, а внутри под сердцем сердито толкался ребенок.

И все ж таки не выдержала Стеша.

Возвращаясь с работы, она издалека увидела его. У конторы правления стоял трактор. Варвара и трактористы о чем-то громко разговаривали. До Стеши донесся их смех. Рядом с Варварой стоял Федор и тоже смеялся. Каким был в парнях, таким и остался — высокий, стат-

ный, выгоревшие волосы упали на лоб. А она — живот выпирает караваем, лицо такое, что утром взглянуть в зеркало страшно. «Стой в стороне, смотри из-за угла, кусай губы, слезы лей, ругайся, кляни его про себя... Смеется! Подойти бы сейчас к нему, плюнуть в бесстыжие глаза: что, мол, подлая твоя душа, наградил подарочком, теперь назад подаешься?.. При людях бы так и плюнуть!.. Да что люди?.. Варвара, трактористы, все село радо только будет, что Степанида Ряшкина себя на позорище выставила. Федор-то им ближе. И так уж шепчутся, что он обид не выдержал, извели, мол, парня. Кто его изводил? Сам он всю жизнь в семье нарушил...»

Дома Стеша не бросилась, по обыкновению, на подушку лицом. Она, чувствуя слабость в ногах, села на стул и, прислушиваясь к шевелившемуся внутри ребенку, мучилась от ненависти к Федору: «Бросил!.. Забыл!.. Смеется!.. Да как он смеет, бесстыжий!»

Сидела долго. Начало вечереть. Наконец стало невмogu, казалось, можно сойти с ума от черных однообразных мыслей. Она вскочила, бросилась к двери. Уже во дворе почувствовала, что вечер свеж, ей холодно в легоньком ситцевом платице, но не остановилась, не вернулась за платком — побоялась, что вскипевшая злоба может остыть, она не донесет до него.

Трактористы квартировали в большом доме, у одинокой старухи Еремеевны. Из распахнутых окон доносился шум голосов и стук ложек об алюминиевые миски. Трактористы ужинали. Стеша громко, с вызовом постучала в стекло. Дожевывая кусок, выглянул Чижев, увидел Стешу, торопливо кивнул, скрылся.

Стеша прислонилась плечом к стене, почувствовала все ту же слабость в ногах.

Федор вышел по-домашнему, в одной рубашке, с расстегнутым на все пуговицы воротом. Лицо у него было бледно и растерянно, чуб свисал на нахмуренные брови. Ведь муж, ведь знаком, дорог ей! И чуб этот белобрысый знаком, и руки, тяжелые, в царапинах, — все знакомо... Но смеялся недавно, живет легко, о ребенке забыл!..

Стеша шагнула навстречу.

— Не в землю смотри, на меня! — вполголоса горячо заговорила она. — Видишь, какая я? Правлюсь? Что глазами-то мигаешь? Ребенка испугался?

— Звать обратно пришла? — хриловато и угрюмо спросил он. — Обратно не пойду.

— Может, ждешь, когда в ножки упаду?

— Стеша!

— Что — Стеша? Была Стеша, да вот что осталось. Любуешься?.. Полюбуйся, полюбуйся, наглядись! Запомни, какая у тебя жена, потом хоть в компании с Варварой обсмеешь!

— Стешка! Послушай!..

— Ты послушай! Мне-то больше твоего теперь!..

— Иди из дому. Иди ко мне, Стеша! Забудем все старое!

— Иди! Из дому!.. Что тебе отец с матерью сделали? Что ты на них так лютуешь?.. Все совесть свою берег! Да где она у тебя, твоя совесть-то? Нету! Нету ее!.. — Стеша кричала уже во весь голос, не обращая внимания на то, что на крыльцо начали выходить трактористы. — Изверг ты! Жизнь мою нарушил!..

— Опомнись, не стыдно тебе?

— Мне стыдно! Мне? Еще и глаза не прячешь! Эх ты! Да вот тебе, бессовестному. Тьфу! Получай! — Стеша плюнула в лицо и бросилась на Федора, вцепилась в его рубашку.

Федор схватил ее за руки.

— Что ты!.. Что ты!.. Приди в себя!.. Люди же кругом, люди!

Она рвалась из его рук, изгибалась, упала коленями на землю, пробовала укусить.

— Что-о мне лю-уди?.. Пу-усть смотрят!..

Народ обступил их. Федор, держа за руки рвущуюся Стешу, старался спрятать свое багровое от стыда лицо.

Она враз обессилела, тяжело осела у ног Федора. Он выпустил ее руки. Уткнувшись головой в припюханную травку, Стеша заплакала про себя, без голоса, видно было, как дергаются ее плечи. Федор, подавленный, растерянный, с горящим лицом, неподвижно стоял над ней.

— Поднимите! Домой сведите. Эх, поглазеть сбежались! — раздвигая плечом народ, подошла тетка Варвара.

Один из трактористов, дюжий парень Лешка Субботин, и бородатый кузнец Иван Пронин осторожно стали поднимать Стешу.

— Ну-ка, девонька, не расстраивайся. Пошли домой помаленьку, пошли... Мы сведем тебя аккуратно.

Поднятая на ноги Стеша столкнулась взглядом с теткой Варварой и снова дернулась в крепких руках парней.

— Это все ты! Ты, змея подколотная! Ты наговорила! Сжить нас со свету хочешь! Что мы тебе сделали? Что?

Тетка Варвара тяжело глядела в лоб Стени и молчала. Кузнец Пронин уговаривал:

— Ты это брось, девонька. Некрасивое, ей-ей, неладное говоришь. Идем-ка лучше, идем.

— Все вы хороши! Все!.. За что невзлюбили? Никому мы не мешаем. Чужой кусок не заедали!..

Ее осторожно уводили, рыдающий голос еще долго раздавался из проулка.

Поздно вечером Федор пришел к тетке Варваре на дом, привел с собой Чижова.

— Буду проситься, чтоб на другой колхоз меня перекинули. После такого позорища я здесь жить не буду. Сейчас в МТС еду. За меня тут пока оп останется.— Федор показал на Чижова.

Тот смущенно мялся.

— Уговори его, Степановна.

Тетка Варвара до их прихода читала книгу. Она не торопясь пошарила на столе — чем бы заложить? — подвернула ключ от замка, положила в книгу, захлопнула, отодвинула в сторону и сказала:

— Не пушу.

— Не ты, а МТС меня пускать будет. А я не останусь! С работы вовсе уйду. Глаза на селе людям показать совесть. Где уж там оставаться...

— Знаю, но не пушу. Только-только из убожества нашего вылезать начинаем. Твоя бригада — основная подмога. К новому бригадиру привыкай. Это перед уборкой-то... Какой еще попадет?.. Нет уж! Поезжай, хлопочи — держать трудно, но знай — я следом выйду запрягать лошадь. И в райком, и в райисполком, в вашей МТС все пороги обобью, а добыюсь: заставят тебя у меня остаться. Лучше забудь эту мечту. А о стыде говорить... Пораздумайся, отойди от горячки, тогда поймешь: стоит ли бежать от стыда?

— Нет уж, думать нечего. Прощай. Я с Чижовым говорил, ты сама ему наказы сделай...

Федор ушел.

— Вот ведь, милушко, жизнь-то семейная! В саногач с разных колодок далеко не ушагаешь. А по-разному скроены Стешка да Федор. Далек путь, через всю жизнь бы идти вместе... Учти, молодец, повнимательней приглядывайся к людям.— Тетка Варвара спокойно устала на Чижова.

Тот нерешительно проговорил:

— А все ж бы уговорить его надо вернуться.

— Куда, в колхоз?

— В колхоз само собой. К жене вернуться. Ребенок же скоро у них будет.

— В дом Ряшкиных вернуться?.. Нет, не решусь уговаривать. Видел, картину разыграли? А что, ежели в том доме такие картины будут показываться каждый день, только без людей, наедине, за стенами?.. Смысла нету уговаривать, все одно не выдержит, сбежит. Стешку бы от дома оторвать — другое дело. Но присохла, не оторвешь. Знаю я их гнездо, крепко за свой порог держатся.

— Ребенок же, Степановна!

— Вот на него-то и одна надежда. Может, он Стешку образумит... Ну, иди.

— А наказы?

— Какие тебе наказы? Завтра доделывайте, что начали, а послезавтра Федор вернется.

— Уж так и вернется. Упрям он.

— Ну, кто кого переупрямит! Пойдешь сейчас, заверни к Арсентию, скажи — я зову. За меня останется. Мне завтра целый день по организациям бегать. Задал хлопот твой Федор.

Она взялась за книгу.

17

Тетка Варвара «переупрямила». Федор остался на прежнем месте. Конечно, не без того, шли по селу суды и пересуды, но Федор о них не слышал. К нему относились по-прежнему.

Стеша никогда не могла себе представить, что привычный путь через село от дому до маслозавода может быть таким мучительным. Из окон, с крылечек домов, отовсюду ей мерещились взгляды — чужие, любопытствующие. Она стала всего бояться. Она боялась, как бы встретившийся ей на пути человек, проходя, не оглянулся в спину; она боялась, когда ездовые, приехавшие из соседней деревни с бидонами молока, переглядывались при виде ее. Всюду чудился ей один короткий и страшный вопрос: «Эта?..»

Часто думала: люди-то, по всему судя, должны не ее, а Федора осудить. Он ушел из дому, он бросил ее, с ребенком бросил! Не Федора, ее осуждают, где же справедливость? Нет ее на свете!

Теперь Стеша уже не ждала — Федор не придет к ней с повинной головой, — по она еще надеялась встретиться с ним.

Один раз столкнулись. Ио Федор шел в компании. Он вспыхнул и глухо, с трудом выдавил: «Здравствуй». Стеша не ответила, прошла мимо. Всю дорогу она злобно сжимала кулаки под платком. На этот раз лютовала в душе не на мужа, а на всех, на колхоз, на людей: «Их стыдит-ся. Ведь из-за них вся и беда-то. Люди чужие ему дороже родни. Они видят это, потому и нянчатся. Нет чтобы отвернулись все. Где же справедливость?»

Прошла осень, вынал первый снег, и Федор надолго уехал из Сухоблинова в МТС. Ждать уж нечего. Скоро появится ребенок.

Что ж, так, видно, и оставаться — ни девкой, ни вдовой, просто — брошенная жена.

Отец ее, Силантий Петрович, угрюмо молчал. Обычно суровый, он стал мягче; когда Стеша плакала, успокаивал по-своему:

— Ничего, поплачь, не вредно, легче будет... Жизнь-то у тебя не сегодня кончается, будет и на твоей улице праздник. За нас держись, мы не чужие. Переживем как-нибудь.

Мать плакала вместе со Стешей и твердила по-разному. Иногда она заявляла: «В суд надо подать. Через суд могут заставить вернуться. Мало ли что платить, мол, будет. Деньгами-то стыдобушку не окупишь. Да и деньги-то — тьфу! Велики ли они у него!» В другой раз уговаривала: «Брось ты, лапушка, брось убиваться. Обожди, красота вернется, расцветешь, как маков цветочек, другого найдешь, получше, не чета такому вахлаку. А уж его-то не оставим в покое, он за ребенка отдаст свое».

Сама же Стеша решила на такое, что никак не могло прийти в голову ни отцу, ни матери. Раньше не было нужды, и она совсем забыла о комсомоле, теперь она о нем вспомнила.

По санному первопутку, провожаемая наставлениями матери: «Ты про Варвару-то не забудь, обскажи про нее, она его подбивает» — и коротким замечанием отца: «Что ж, попробуй», — Стеша отправилась на попутной подводе в райком комсомола.

Кабинет комсомольского секретаря был не только чист и уютен, в нем чувствовалась женская рука хозяйки. Цветы на подоконниках были не официальные кабинетные цветы, чахлые и поломанные, удобренные торчащими окурками, а пышные, высокие, вываливающие буйную зелень за край горшков. Под томками сочинений Сталина подстелена белая салфеточка, рядом с казенным черниль-

ным прибором — фарфоровая безделушка: заяц с черными бусинками глаз.

Сама хозяйка, секретарь райкома Нина Глазычева, пышноволосая, с длинными тонкими пальцами белых рук, на молодом лице меж бровей какая-то решительная, начальственная складочка, предложила Стеше стул негромко и вежливо:

— Садитесь. Я вас слушаю.

Стеша начала рассказывать, крепилась, крепилась и не выдержала участливых глаз секретаря, расплакалась, Нина торопливо налила в стакан воды, но тоном мягкого приказа произнесла:

— Продолжайте.

— Родители мои ему не нравятся почему-то. «Уходи, говорит, из дому, забудь родителей, буду с тобой жить».

— Родителей забыть?.. Так, так, слушаю.

— А ведь ребенок будет. Считанные дни донашиваю. Сами несудите — из дому-то родного на казенную квартиру, у обоих ни кола ни двора... Да и няньку нужно нанять... Председатель нашего колхоза настраивает его: «Брось жену...» Зачем это ей понадобилось, ума не приложу. Завидует чему-то... — Стеша сквозь слезы горестно смотрела на фарфорового зайчика.

— Бе-зо-бразие! — Толстый карандаш в тонких прозрачных пальцах комсомольского секретаря сделал решительный росчерк на бумаге.

Да и как не возмущаться? Пришел человек за помощью, не может сдерживать слез от горя, лицо худое, пятнистое, платье обтягивает огромный живот... Ведь мать будущая! Бросить в таком положении! Ужасно!

— Очень хорошо, что вы пришли. Не плачьте, не волнуйтесь, все уладим. Соловейков Федор! Лучший бригадир в МТС! Непостижимо!

Как больную, осторожно под локоть проводила секретарь райкома Стешу. Та плакала и от горя, и от того, что на нее глядят так жалостливо, и, быть может, от благодарности.

— Спасибо вам. Человеческое слово только от вас услышала. Заплеванная кожу по селу.

— Бе-зо-бразие! В наше время и такая дикость! Все сделаем, все, что можем. Прошу вас, успокойтесь, товарищ Соловейкова.

Оставшись одна, Нина Глазычева сразу же подошла к телефону.

— МТС дайте!.. Секретаря комсомольской организа-

ции... Журавлев, ты?.. Сейчас вместе с Соловейковым — ко мне!.. Все бросайте, слышать ничего не хочу! Жду! — Она резко опустила на телефон трубку.— Безобразие!

Нина Глазычева считала Федора Соловейкова виноватым уже только за то, что тот втоптал в грязь самые чистые из человеческих отношений — любовь, за одно это можно считать преступником перед комсомольской совестью! А он еще бросил жену беременной!..

Сама Нина вот уже два года переписывалась с одним лейтенантом, служащим на Курильских островах, посылала ему вместо подарков книги. На каждой книге по титульному листу четким почерком делала надпись вроде: «Жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее надо так...» Надписи были красивые и гордые по смыслу, но широко известные. В подходящих случаях молодежные газеты их печатают особняком или цитируют в передовых статьях. От себя же Нина добавляла к ним всегда одно и то же: «Помни эти слова, Витя». Беда только — в последнее время Витя стал отвечать на письма далеко не так часто, как прежде.

18

Казалось бы, все просто: раз решил и решил окончательно — порвать с домом Ряшкиных, раз понял, что жить под одной крышей с Силантием Петровичем и Алевтиной Ивановной нельзя, раз убедился, что Стеша не та жена, обманулся в ней, так что ж мучиться? Порвал, кончил и забыл!

Но забыть не мог Федор.

По ночам, когда он ворочался с боку на бок, не мог заснуть, отчетливо вспоминалась Стеша — вздернутая вверх юбка на животе, красное, перекошенное лицо, темные от ненависти глаза; вспоминал, как она, упав коленями на землю, выламывала из его рук свои руки, лезла к лицу. Она плюнула, кричала, обзывала, и все это при людях, а он не чувствовал к ней обиды. Да и как тут обижаться? Она живой человек, мечтала, счастья ждала, и вот тебе счастье — оставайся без мужа да с брюхом.

И жалко, и жалеть нельзя. Идти обратно, молчать, отворачиваться, бояться вздохнуть полной грудью?.. Нет! Кончил! Порвал! Это твердо.

Что же делать?

Хотел Федор уехать подальше, в незнакомые края, к

повым людям. Жил бы на стороне, посылал деньги... Но тетка Варвара всюду поспела. Сам председатель райисполкома вызывал, спрашивал:

— Уходишь с работы? А что за причина?

«Что за причина!» Этот вопрос задавали все, а Федор на него не мог и не хотел отвечать. Пришлось бы объяснять, почему бросил жену, пришлось бы выносить сор из избы... Волей-неволей остался на прежнем месте, в мастерских.

Чижев, тетка Варвара, другие знакомые Федора старались не заговаривать с ним о жене. Они понимали — больно! Незачем тревожить.

Чувствуя недоброе, вместе с механиком Аркадием Журавлевым, комсомольским секретарем МТС, Федор пришел в райком. Нина Глазычева сумрачным кивком головы указала на стулья, разговор начала не сразу, долго ли стала какие-то бумаги — давала время приглядеться, понять ее настроение. Наконец она подняла взгляд на Федора.

— Товарищ Соловейков!.. — сделала паузу. — Всего каких-нибудь полчаса тому назад на том стуле, который вы занимаете, сидела ваша жена.

Недобрый взгляд, молчание. Федор не пошевелился, лишь потемнел лицом.

— Покинутая жена! Беременная! Вся в слезах! Не помнящая себя от горя!.. Что ж вы молчите? Что же вы боитесь поднять глаза?

Федор продолжал молчать, глаз не поднял, не шевельнулся.

— Вам стыдно? Но я, как комсомольца, вас спрашиваю: что за причины заставили пойти па такой низкий поступок?.. Не считайте это личным делом. Вопросы быта — вопросы общественные! Я вас слушаю... Я слушаю вас!

— Это долго рассказывать.

— Я готова слушать хоть до утра, лишь бы помочь вашей жене и вам освободиться от пережитков.

Легкая испарина выступила на лбу Федора. Надо бы рассказать все, как встретились, как понравилась Стеша — голубое платье, нежная ямка под горлом, рассказать, как хорошо и покойно начинали жить, когда Стеша подходила к нему с раздумленным от печного жара лицом, рассказать про отца ее, про незаконно взятую лошадь, про зайчонка, про козу, «пощипавшую огурчики»... Но разве все расскажешь? Где тут самое важное?

— Семья у них нехорошая,— произнес он.

— Чем же нехороши?

— Живут в колхозе, а колхоз не любят. Тяжело жить с такими, когда только и слышишь: «Отношения к людям нету, благодарности никакой», а сами в стороне живут. Бородавкой отца-то Стеши зовут по селу, меня — бородавкин зять. Обидно.

— Из-за этого-то надо бросать жену с ребенком? Вы должны перевоспитать и жену, и отца ее, и мать — всех! Они сразу обязаны были почувствовать, что в их семью вошел комсомолец!

— Это сказать просто. Да разве перевоспитаешь...— возразил было Федор и тут же пожалел, что возразил.

Секретарь райкома развела руками.

— Ну уж... самое позорное, что можно представить,— это расписаться в собственном бессилии. Вы пробовали их перевоспитывать? Наверняка нет!

Что тут говорить, что тут спорить? Тетка Варвара хорошо знает Силана Ряшкина, так она и без объяснений понимает Федора. Эту бы голосистую сунуть в ряшкинский дом! Пусть бы попробовала перевоспитать Силана Бородавку.

— Молчите? Сказать нечего? Ваша жена не комсомолка. Одно это говорит о вашем безразличии к жене. Я пригляделась сейчас — простая девушка, чистосердечная, наверно, не глупая, из такой можно сделать комсомолку.

— Она была комсомолкой. Четыре года назад, да механически выбыла. Что ж райком тогда из нее настоящую комсомолку не сделал?

— Вот как!.. Не знала... Но не вам упрекать райком. В районе около тысячи комсомольцев, работники райкома не могут заниматься воспитанием каждого в отдельности. Такие, как вы, должны помогать нам воспитывать. Вы помогаете?.. Бросили беременную! Преступление вместо помощи! Помните, что говорил товарищ Ленин о коммунистической морали?..

Федору уже больше не пришлось возражать он только слушал. Нипа Глазычева упомянула и о Ленине, и о словах Горького, что человек — звучит гордо, и о том, как умел любить Николай Островский, и даже о декабристах, чьи жены добровольно уехали в ссылку за мужьями. У Нины выходило так, что и декабристы умели воспитывать жен.

Выговорив все, что могла, Федору, Нина повернулась в сторону притихшего в уголке Аркадия Журавлева.

— Ты секретарь комсомольской организации, ты куда глядел? Ты должен или не должен знать о быте своих комсомольцев? Почему ты не сигналил в райком?..

Аркадий Журавлев, рослый парень, добряк в душе, много слышавший от трактористов о семейных делах Федора, сейчас молчал. Он сильно робел перед речистой Ниной, особенно когда та расходилась и начинала вспоминать классиков марксизма, знаменитых писателей.

Где уж тут возражать, переждать бы только...

— Так вот! — Нина в знак окончания разговора энергично положила на стекло стола узкую ладонь. — Вскрылось дело, недостойное звания комсомольца! Мы вынуждены будем рассматривать его на бюро. Даю перед бюро десять дней срока. Советую, товарищ Соловейков, подумать за это время о своем поступке!

...Недалеко от МТС Федор снимал холостяцкую комнатушку. Он шел один. Журавлев с ним расстался у дверей райкома; прощаясь, глядел в сторону, сказал только одно:

— Оно, видишь, как обернулось. Нехорошо.

Нехорошо обернулось. Федор был старым комсомольцем — двадцать пять лет, пора бы и в партию. Взысканий не было, на работе хвалили, поручения выполнял, а на поверку оказался плохим комсомольцем. Может, и верно, но как быть тут хорошим? Воспитывать, говорит... Много она тут наговорила, даже декабристов вспомянула, а как воспитывать, не сказала. Воспитывай — и точка!

Бюро будет, вслух заговорят, пойдет слава по району, думал: пережил, перетерпел, кончилось страшное-то, а оно, самое страшное, еще впереди. Нехорошо обернулось, хуже и не придумаешь.

Ранние зимние сумерки поднимались над домами и садиками. Падал редкий снежок. Тихо и пусто. Огни зажигались в окнах, что ни огонек, то семья. Потому и тихо, потому и пусто на улице — все разошлись по этим огонькам. У всех семьи, у каждого свое гнездышко. Иди, Федор, к себе. Там голый стол, на столе приемник, койка в углу. Случается, и в двадцать пять лет человек чувствует себя сиротой.

За последний месяц Стеша почти не выходила из дому. Раньше хоть бегала па маслозавод, а тут — декретный отпуск... Четыре стены, даже кусок двора не всегда увидишь

в окно, заросли стекла зимними узорами. Вчера с утра до вечера перебирала в уме тяжелые мысли. Все, казалось, передумала, больше некуда — растравила душу. Но наступал новый день — и снова те же мысли... День за днем — нет конца, нет от них покоя...

И вот крелящиеся на раскатах сани, суховатый запах сена на морозном воздухе, заметенные по грудки снегом еловые перелесочки да радостное воспоминание о встрече в райкоме комсомола, добрые глаза, участливый голос — словно умытая, освеженная, приехала Стеша домой.

На полу валялись щепы и стружки. Посреди пзбы стояли громоздкие, недоделанные сани. От них шел горьковатый запах черемухи.

Отец, держа топор за обух, старательно отесывал паклески. Он делал сани и занимался этим не часто. С заказчиками, приезжавшими из дальних колхозов, договаривался заранее — не болтать лишка. Засадит еще Варвара на постоянную работу. Он будет делать, колхоз перепродавать на сторону, а платить трудоднями — велика ли выгода?

Силантій Петрович только поглядел на вошедшую дочь, ничего не спросил, продолжал отбрасывать из-под остро отточенного топора тонкие стружки.

Зато мать сразу набросилась:

— Как, милая? Чего сказали?

Стеша, не снимая шубы, распустив платок, уселась на лавку и окрепшим от надежды голосом стала рассказывать все по порядку: как встретили, как ласково разговаривали, как проводили чуть ли не под ручку.

Алевтина Ивановна с радостным торжеством перебивала:

— Вот прижгут его, молодчика! Прижгут! Поделом!

Силантій Петрович бросил скупое:

— Пустое. Особо-то не надейся. Все они одним миром мазаны.

Может быть, первый раз в жизни Стеше не понравились слова отца, даже сам он в эту минуту показался ей неприятен: сутуловатый, со слежавшимися седыми волосами, угрюмо нависшим носом над узловатыми руками, зажавшими обух топора. «И чего это он?.. Все на свете для него плохо. Есть же и хорошие люди. Есть!»

— Может, и не пустое. Может, и прижгут,— неуверенно возразила мать.

— Ну и прижгут, ну посовесят, может, наказание какое придумают, а Стешке-то от этого какая выгода?

И Алевтина Ивановна замолчала. Молчала и Стеша. Маленькая, теплая радость, которую она привезла с собой, потухла.

«Десять дней сроку. Советую подумать о своем поступке». Не стоило советовать... Только в редкие минуты на работе забывался, а так с утра до вечера все думал, думал и думал. А придумать ничего не мог.

Сначала обсуждали план культурно-массовой работы на квартал, потом утверждали списки агитбригад, рассылаемых по колхозам. Федор сидел в стороне, ждал и мучился: «Скорей бы, чего уж жилы тянуть...»

Наконец Нина Глазычева, сменив деловито-озабоченное выражение на строго отчужденное, громко произнесла:

— Переходим к разбору персонального дела комсомольца Федора Соловейкова.

И все лица присутствовавших вслед за Ниной выразили тоже строгость и отчуждение. Только Степа Рукавков, секретарь комсомольской организации колхоза «Верный путь», одной из самых больших в районе, взглянул на Федора с лукавым укором: «Эх, друг, до бюро дотянул...» Да еще учитель физики в средней школе Лев Захарович, свесив по щекам прямые длинные волосы, сидел, уставившись очками в стол.

— Ко мне недавно пришла жена Соловейкова...— начала докладывать Нина размеренным голосом, один тон которого говорил: «Я ни на чьей стороне, по послушайте факты...»

От этого голоса лица сидевших сделались еще строже. Ирочка Москвина, зоотехник из райсельхозотдела, член бюро, не вытерпела, обронила:

— Возмутительно!

Нина деловито рассказала, какой вид имела Стеша, описала заплаканные глаза, дрожащий голос, сообщила, на каком месяце беременности оставил ее Федор...

— Вот коротко суть дела,— окончила Нина и повернулась к Федору.— Товарищ Соловейков, что вы скажете членам бюро? Мы вас слушаем.

Федор поднялся.

«Суть дела!» Но ведь в этом деле сути-то две: одна его, Федора, другая — Стеши, тестя да тещи. Не его, а их суть сказала сейчас Нина.

Разглядывая носки валенок, Федор долго молчал: «Нет,

всего не расскажешь... У Стеши-то вся беда как на ладони, ее проще заметить...»

— Вот вы мне подумать наказывали,— глуховато обратился он к Нине.— Я думал... Назад не вернусь. Как воспитывать, не знаю. Пусть Степа переедет жить ко мне, тогда, может, буду ее воспитывать. Другого не придумаю... С открытой душой говорю...— Он помолчал, вздохнул и, не взглянув ни на кого, сел.— Все...— снова сгорбился на стуле.

— Разрешите мне,— вкрадчиво попросил слова Степа Рукавков и тут же с грозным видом повернулся к Федору.— Перед тобой была трудность. Как ты с ней боролся? Хлопнул дверью — и до свидания! По-комсомольски ты поступил? Нет, не по-комсомольски! Позорный факт!.. Но, товарищи...

Нина Глазычева сразу же насторожилась. Она хорошо знала Степу Рукавкова. Ежели он начинает свою речь за здоровье, хвалит, перечисляет достоинства, жди — кончит непременно за упокой, и наоборот — грозный разнос вначале обещает полнейшее оправдание в конце. Как в том, так и в другом случае переход совершается с помощью одних и тех же слов: «Но, товарищи...»

Сейчас Степа начал с разноса, и Нина насторожилась.

— Но, товарищи! Жена Соловейкова, как сообщили, была комсомолкой. Она бросила комсомол! Кто в этом виноват? А виноват и райком, и мы, старые комсомольцы, и она сама в первую очередь!..

Степа Рукавков был мал ростом, рыжеват, по лицу веспушки, но в колхозе многие девчата заглядывались на своего секретаря. Степа умел держаться, умел говорить веско, уверенно, слова свои подчеркивал размашистыми жестами.

— Нельзя валить все на Соловейкова. А тут — все, кучей!.. Виноват он, верно! Но не так уж велика вина его. Я предлагаю оградиться вынесением на вид Федору Соловейкову.

— Не велика вина? Жену бросил! На вид! Простить, значит! Как это понимать? — Нина Глазычева от возмущения даже поднялась со стула.

— Исключить мало,— встала Ирочка Москвина и покраснела смущенно. Она была самой молодой из членов бюро и всегда боялась, как бы не сказать не то, что думает Нина.

Поднялся спор: дать ли строгий, просто выговор или

обойтись вынесением на вид? Федор сутулился на стуле и безучастно слушал.

— Не в том дело! — Учитель физики Лев Захарович давно уже поглядывал на спорящих сердито из-под очков. — Дадим выговор, строгий или простой, запишем... Это легко... У жены его — горе, у него — поглядите — тоже горе! А мы директивой надеемся вылечить.

Закидывая назад рукой волосы, Лев Захарович говорил негромким, спокойным голосом. Паренек он был тихий, выступал не часто, но если уж начинал говорить, все прислушивались — обязательно скажет новое. Да и знал он больше других; читал лекции в Доме культуры о радиолокации, мог рассказать и об атомном распаде, и об экранные стереоскопического кино. За эти знания его и уважали.

— Для чего мы собрались здесь? Только для того чтобы выговор вынести?.. Помочь собрались человеку.

— Правильно! Помочь! — бодро поддержала Нина.

— Только как? Вот вопрос, — спросил Лев Захарович. — Я, например, откровенно признаюсь, — не знаю.

— Товарищ Соловейков, — обратилась Нина к Федору, — вы должны сказать: какую помощь вам нужно? Поможем!

— Помочь?.. — Федор растерянно оглянулся. Действительно, какую помощь? Стешу бы вытащить из отцовского дома. Но ведь райком комсомола ей не прикажет: брось родителей, переезжай к мужу, — а если и прикажет, Стеша не послушает. — Не знаю, — подавленно развел руками Федор.

Все молчали. Нина недовольно отвела взгляд от Федора: «Даже тут потребовать не может».

— Не знаем, как помочь, — продолжал Лев Захарович. — А раз не знаем, то и спор — дать выговор или поставить на вид — ни к чему.

— Выходит, оставить поступок Соловейкова без последствий?

Лев Захарович ножал плечами.

— А дадим выговор — разве от этого последствия будут? Как было, так все и останется.

И тут Нина горячо заговорила. Она заговорила о том, что Лев Захарович неправильно понимает задачи бюро райкома, что выговор, вынесенный Соловейкову, будет предостережением для других... Говорила она долго, упоминала, как всегда, примеры из литературы, из жизни великих людей. После ее выступления снова разгорелся спор —

вынести выговор или поставить на вид? Лев Захарович сердито молчал.

Вынесли выговор.

На улице Федора догнал Степа Рукавков. В аккуратном, с выпушками полушубке, в мерлушковой шапке — щеголь парень, не зря считается у себя в колхозе первым ухажером.

— Если б физик не вмешался, отстояли бы, — дружески заговорил он. — Поставили б на вид — и точка! И голова у человека умная, и сердце доброе, но не политик...

По снисходительному выражению лица Степы нетрудно было догадаться, что он считает, если и есть при райкоме комсомола политик, то это не кто иной, как он, Степа.

Федор махнул рукой.

— Выговор, на вид — все одно не легче. Вы-то поговорили сейчас, а завтра забудете. Чужую-то беду, говорят, руками разведу.

— О-о! — протянул удивленно Степа. — Да ты еще обижаешься. Тогда верно тебе дали выговор. Верно!..

20

Однажды он долго задержался в МТС, задержался не потому, что было много работы, просто оставаться одному с невеселыми мыслями в четырех стенах тяжело.

Подходил к дому поздно. У ограды стояла лошадь, запряженная в сани-розвальни. В комнате Федора, подле кочки, дотлевающей багрянистыми углами, сидел с хозяином дед Игнат, муж тетки Варвары.

— Долгонько кумовал где-то, долгонько, — встретил Игнат Федора. — Ночью мне придется до родного угла-то добираться.

— Нужда во мне какая-нибудь?

— Мое-то домашнее начальство одно дело поручило... — Игнат повернулся к хозяину и по-своейски (видать, ожидая, успел сойтись душа в душу) попросил: — Трофимушка, ты иди к себе, нам промез собой посекретничать охота.

— Что ж, секретничайте, секретничайте, только печку не прозевайте, закрывать скоро.

Хозяин вышел. Дед Игнат повернулся к Федору.

— Сегодня мы вместе с Силаном жинку твою в больницу сдали. Вот какое дело.

— Что?

— Что, что! Ничего, видать, кроме дитя, не будет. Не

ждал разве?.. Моя-то известить тебя велела. «Силан-то, говорит, и один бы справился, да к тебе он не зайдет».

— Когда привезли?

— Еще деньком, после обеда.

— Может, уже родила?

— Не знаю. Дело такое, для нас с тобой непостижимое.

Федор надвинул мокрую от растаявшего снега шапку.

— Я пойду, Игнат, я пойду... Что ж ты на работу-то ко мне?..

Последние слова он проговорил за дверью.

Игнат, покачивая головой, стал одеваться. Одевшись, вспомнил про печь, подставил стул, кряхтя, влез, задвинул заслонку и позвал:

— Трофим, эй, Трофим! Сегодняшнюю ночь ты не держи дверь па запоре. Чусшь?.. Парень греться домой набегать будет.

Сначала Федор шел размашистым шагом, потом быстрее, быстрее, почти побежал.

Что заставляло его бежать? Что заставляло его тревожиться? Вроде забыта уже любовь к Стеше. Сколько в последнее время несчастий, сколько больших и маленьких переживаний свалилось на него! То, что прежде было, должно было похорсниться, заглохнуть, как вересковый куст под осынью. Может, любовь к ребенку заставляет его тревожиться? Но он пока не знает ребенка, совсем даже не представляет его. Нельзя любить то, что не можешь себе представить... Неужели не все заглохло, кое-что приблизилось — живет?

Больничный городок находился в стороне от села, среди большой липовой рощи. Федор уже добежал до широких ворот, ведущих к корпусам, и остановился.

Несется сломя голову, а зачем?.. Поздравить? Больно нужны Стеше его поздравления. Порадоваться?.. Еще кто знает, как все это обернется — радостью или горшим горем? Но повернуться, идти домой, лечь там, спокойно заснуть си не может. Жена рожает! Тут вспомнилось, что в таких случаях обычно приносят цветы и подарки. Он-то с пустыми руками явится: пате — я сам тут. Купить что-то надо.

Федор повернул обратно.

Магазин, прозванный в обиходе «дежуркой», где с шести часов вечера до полуночи стояла за прилавком известная всем в районе Павла Павловна, суровая тетушка с двойным подбородком, в поздние часы служил одновре-

менно и промежуточной станцией для проезжих шоферов, где можно выпить и закусить, побеседовать и прихватить случайного пассажира.

— Федька! — От прилавка шагнул к Федору человек — из-под шапки в тугих бараньих колечках чуб, красное, огрубевшее на морозах и ветрах лицо, веселые глаза.

Знакомый Федору шофер из хромцовского колхоза, Вася золота-дорога, схватил руку и стал трясти.

— Матушка, Пал Пална, сними с полочки еще мерзавчик, друга встретил!

— Вася!.. Рад бы!.. Рад! Некогда!

— Федор! От кого слышу? Год же не видались, золота-дорога!

— Жена рожает в больнице. Купить заскочил гостинцев.

— Во-о-он что-о!.. Как раз бы пужно отметить... Ну, ну, молчу. Поздравляю, брат! Дай лапу!.. Тут и друга, и самого себя забыть можно... Сына, Федор, сына!.. Может, все ж за сына-то на ходу... А? Ну, ну, понимаю... Эх, как ты нат обескакал! А я вот целюсь только еще жепиться.

Вася шумно радовался, все остальные, пока Федор покупал конфеты и покоробленные от долгого лежания плитки шоколада, относились к нему с молчаливым уважением.

— Уехал и пропал! Ни слуху о тебе, ни духу! Сгинул... Эх, задержаться бы да отпраздновать! Чтоб стон стоял, золота-дорога! Съест меня живьем наш Поликарпыч, коль с концентратами застряну. Но я ребятам свезу весточку — у Федьки Соловейкова наследник! Спешись, вижу... Спешь, спешь, не держу. Дай еще лапу пожму!

Прежде было только тревожно и смутно на душе. Сейчас после шумной Васиной встречи тревога осталась, но появились радость и надежда. Как он был глуп! Что-то мудрил, над чем-то ломал голову, мучился, а все просто: рождается ребенок, он — отец, он имеет право требовать от Стеши переехать к нему! Добьется!.. Страшного нет!..

Федор бежал по пустынным улицам к больничному городку.

В приемной родильного отделения сидел только один, уже немолодой мужчина, из служащих, в добротном пальто, в высокой под мерлушку шапке. У Федора от быстрой ходьбы, от напряженного ожидания чего-то большого тяжело стучало сердце. Почему-то представлялось, что едва только он войдет, все засуетится, забегают вокруг него. А этот единственный человек в пустой, чистой, ярко освещенной

щепной комнате взглянул на него с самым спокойным добродушием.

— Первый раз? — спросил он.

— Что? — не сразу понял Федор.

— Я спрашиваю: первый раз жена рождает?

— Первый, — ответил со вздохом Федор. Он сразу же подчизился настроению этого человека.

— Видно. А я каждый год сюда заглядываю. Четвертый у меня.

Дежурная сестра вынесла вещи — пальто, шаль, фетровые ботинки.

— Получите.

Незнакомец принял все это, не торопясь уложил, связал аккуратно.

— Привел жену — узелок взамен дали. До свидания... Не волнуйтесь. Обычное дело. Вам бы кого хотелось — сына или дочь?

— Сына, конечно.

— Значит, дочь появится.

— Почему?

— По опыту знаю. Девочек больше люблю, а каждый год — промах, мальчики появляются. Но и это неплохо. Народ горластый, не заскучаешь.

Еще раз ласково кивнув, он ушел. Сестра, закрыв за ним плотнее дверь, деловито спросила:

— Как фамилия?

— Соловейков... Федор Соловейков.

— Федоры у нас не рожают. Муж Степаниды Соловейковой, что ли? Эту сегодня положили... Передачу прислали, давайте мне... В целости получит.

— Не родила еще?

— Больно скоро. Идите, идите домой. Спите спокойно. Сообщим.

— Я подожду.

— Нет уж, идите. Может, трое суток ждать придется. Дело такое — ни поторопишь, ни придержишь.

Федор долго топтался под освещенными окнами родильной, прислушивался, не донесется ли сквозь двойные рамы крик Стешы. Но лишь робко скрипел снег под его валенками.

За ночь он несколько раз прибегал под эти окна, ходил вдоль стены. Было морозно, временами начинал сыпаться мелкий, сухой снежок, а Федору в мыслях представлялось солнечное летнее утро, луг, матовый от росы, цепочкой два темных следа — один от ног Федора, другой

от ног сына... Они идут на рыбалку с удочками... И росяной луг, и следы на мокрой траве, и берег реки с клочьями запутавшегося в кустах тумана — все отчетливо представлял Федор. Не мог представить только самое главное — сына. Белоголовый, длинное удилище на плече, и все... Мало...

Он промерзал до костей, бежал домой, там, не зажигая огня, не раздеваясь, сидел, грелся, думал о сыне, о росяном луге, о следах, временами удивлялся, что хозяин крепко спит, а двери не запирают. Забыли, видать, это на руку — не будить, не беспокоить...

Ночь не спал, но на работе усталости не чувствовал, через час бегал к телефону, с тревожным лицом справлялся и отходил разочарованный.

Стеша родила под вечер.

Погода разгулялась. Вокруг полной луны стлы мутноватые круги. Федор шел, топча на укатанной дороге свою тень. Шел нараспашку, мороза не чувствовал.

Лицом к лицу он неожиданно столкнулся с человеком в серой мерлушковой шапке и, как старому другу, раскрыл объятия.

— А ведь правду говорили... Не сын, нет... Дочка!.. Уж я там поругался, до начальства дошел, уж настоял... Пустили, показали.

Он нагнулся к улыбающемуся доброй улыбкой лицу незнакомца и, как великое открытие, сообщил:

— Гляжу, а волосики-то рыженькие! Рыженькие волосики-то! И глаза!.. Глаза — не понять, должно быть, мои тоже. Наша порода!.. Соловейковская!

Во время приступов Стеша металась по койке и кричала: «Не хочу! Не хочу!» Врачи и сестры, привычные к воплям, не обращали внимания. Они по-своему понимали выкрики Стеши: «Больно, не хочу мучиться!» Но Стеша кричала не только от боли. «Не хочу! Не хочу!» — относилось к ребенку. Зачем он ей, брошенной мужем?

Но принесли тугой сверточек. Из белоснежной простыни выглядывало воспаленное личико. Положили на кровать Стеше. При этом врачи, сестры, даже соседка по койке — все улыбались, все поздравляли, у всех были добрые лица. На свет появился новый человек, трудно оставаться равнодушным.

Горячий маленький рот припал к соску, до болп странное и приятное ощущение двинувшегося в груди молока,— Стеша пододвинулась поближе, осторожно обняла ребенка, и крупные слезы снова потекли по лицу. Это были и слезы облегчения, и слезы стыда за свои прежние нехорошие мысли: «Не хочу ребенка»; это были и слезы счастья, слезы жалости к себе, к новому человеку, теплому, живому комочку, доверчиво припавшему к ее груди... И все перевернулось с горя на радость.

Во время второго кормления, когда Стеша, затаив дышание, разглядывала сморщенную щечку, красное крошечное ухо, редкий пушок на затылке дочери, она почувствовала, что кто-то стоит рядом и пристально ее разглядывает. Она подняла голову. Перед ней замер с выраженным изумлением и страхом Федор.

Они не поздоровались, просто Федор присел рядом, с минуту томительно и тревожно молчал, потом спросил:

— Может, нужно чего?.. Я вот яблок достал...— И, видя, что Стеша не сердится, широко и облегченно улыбнулся.— Вот она какая... Дочь, значит. Хорошо.

И Стеша не возразила,— конечно, хорошо.

— Спит все время. Сосет, сосет, глядишь — уже спит.

Федор сидел недолго. Весь разговор вертелся вокруг дочери: сколько весит, что надо купить ей — пеленки, распашоночки, обязательно ватное одеяльце.

Им мешали, напоминали Федору, что он обещал на одну минуточку, сидит уже четверть часа. Федор поднялся и тут только ласково и твердо сказал:

— Никуда я тебя, Стеша, не пущу. Ко мне жить переедешь.

И почему-то в эту минуту Стеше показалось, что он даже парнем ей не правился так — в белом, не по его плечам халате, длинные руки вылезают из рукавов, лицо озабоченное... Стеша осмелилась робко возразить:

— С ребенком-то дома бы лучше, Феденька.

Но голос Стеши был неуверенный, просящий.

На следующий день приехала мать. Стеша, похудевшая, большеглазая, с растрепанными волосами, стыдливо запахиваясь в халат, тайком выскочила к ней в приемную.

— Вот она, наша долюшка... Прогневили мы богато...— завела было Алевтина Ивановна, но тут же перебила себя, сразу же заговорила деловито.— Все, что надобно, приготовила: пеленочек семь штук пошила, исподнички разные, отец люльку уже пристроил...

— Мама,— робко перебила Стеша,— я все ж к нему перейду... Зовет.

— Совесть, видать, тревожит его, а на то не хватает, чтоб повинился да пристраивался сызнова к нам.

— К нам не вернется...— И вдруг Стеша упала на плечо матери, зарыдала.— Да как же мне жить-то с ребенком без мужа? Все пальцами тыкать будут!..

— Это что такое? Кто разрешил? Что сестры смотрят? Лежать! Лежать! Не подниматься!.. Кому говорят! Идите в палату! — В дверях стояла пожилая женщина, дежурный врач родильного отделения.

Мать гладила Стешу по спутанным волосам.

— Не расстраивайся, дитяtko, не тревожь себя... Иди-ка, иди. Вон начальница недовольна...

...Утро было с легким морозцем. Ночью выпал снежок, и село казалось умытым. Мягкий свет исходил от всего — от крыш, дороги, сугробов, тяжело навалившихся на жилые оградки. И воздух тоже казался умытым, до того он свеж и легок. Во всех домах топились печи. Но белым улочкам в свежем воздухе разносился вкусный запах печеного хлеба. Мир и благополучие окружали маленькую семью, неторопливо двигавшуюся от больницы к дому.

Кроватки Федор не успел купить, постель дочери устроили пока на составленных стульях. И Федор чувствовал себя виноватым, оправдывался перед Стешей.

— Ведь жить-то только начинаем, не мы одни, все так сначала-то... Все будет — и квартира, и, может, домик свой, хозяйством еще обзаведемся. Как хорошо-то заживем!

Стеша со всем соглашалась, ни на что не жаловалась.

В тот же день они назвали дочь Ольгой.

А поутру пришел первый гость. Гость не к Федору и не к Стеше. Раздался стук в дверь, через порог перешагнула девушка, стряхнула перчаткой снег с воротника.

— Здравствуйте. Здесь живет Ольга Соловейкова?

Федор и Стеша даже растерялись, не сразу ответили. Да, здесь живет... Всего десять дней, как она появилась на свет и имя свое, Ольга, получила только вчера, вчера только принесли ее в эту комнату.

— Здесь живет, проходите, пожалуйста.

Девушка сняла пальто, достала из чемоданчика белый халат, попросила теплой воды, вымыла руки.

— А кроватку надо приобрести обязательно.

Детский врач долго сидела со Стешей, еще раз напомнила ей, как надо и в какой воде купать, в какие часы кор-

мить, как пеленать, как присыпать, с какого времени можно вынести на улицу. От приглашения попить чайку отказалась:

— У меня не один ваш пациент.

Это был первый гость. За ней стали приходиться гости не по одному на день.

Одной из самых первых приехала тетка Варвара. Она внесла в маленькую комнатку какие-то пахнущие морозом узлы, скинула свой полушубок и долго стояла у порога, потирая руки, говорила баском:

— Обождите, обождите, вот холодок с себя спущу... Уж взглянем, взглянем, что за наследница. Успеется.

Первым делом она принялась развязывать свои узлы.

— Принимай-ко, хозяйюшка,— обращалась она к Стеше, нисколько не смущаясь тем, что та сдержанно молчит.— Это вам подарочек от колхоза: мука белая, масло, мед, мясо. Ты, Федор, жену теперь корми лучше, через нее ребенка кормишь, помни! Степанида, поди сюда... Да брось в молчанки играть. Вот уж теперь-то нам с тобой делить нечего. Уж теперь-то мы должны душа в душу сойтись. Поди сюда. Это от меня. Ситец белый, пять метров. Ты его па пеленки, гляди, не пускай. На пеленки-то старые мужнины рубахи разорви, стирай их, прокипяти... Ей, несмышлешке, все одно что пачкать. Это на распашонки раскрой да на наволочки. С умом берись за хозяйство-то.

Стеша, не привыкшая «ждать добра» от чужих, тем более от тетки Варвары, растерялась сначала, но когда гостя обратила внимание на составленные стулья и заявила, что сегодня же накажет плотнику Егору делать кроватку, размякла.

Варвара, подойдя к постельке, толстым коротким пальцем повертела перед лицом девочки, та громко расплакалась.

— Уа, уа,— передразнила Варвара, морщась от удовольствия.— Голосистая. Кровь-то, сразу видать, соловейковская. Ряшкины не крикливы — и сердятся и радуются про себя только.

Даже это почему-то не обидело Стешу.

Пришел в гости и Чижов, с тщательно вымытыми руками, побритый, пахнущий тройным одеколоном. Он попросил поддержать завернутую в одеяло Олю. Держал немелю, на вытянутых руках, с улыбкой до ушей, разглядывал, приговаривал:

— Уже человек. Уже человек. А?

Когда Стеша наконец отобрала дочь, он удивился:

— Не тяжела, а руки устали. Почему бы это?

Потом сидели они втроем за семейным столом, пили чай, и Чижев настойчиво отказывался от печенья.

Наконец прибыли Силантий Петрович и Алевтина Ивановна. Федор старался принять их как можно лучше. Сбежал за поллитровкой для тестя, сначала величал их отцом да матерью, но скоро стал неразговорчив. Дед и бабушка оказались гостями невеселыми. Силантий Петрович отказался выпить:

— И так запоздались. Варвара три шкуры сдерет, коль лошадь ко времени не доставим.

Теща и вовсе не прошла к столу, сидела у порога, чинно поджав губы, смотрела и на дочь и на внучку жалостливо, всем своим видом словно бы говорила: «Не притворяйтесь счастливыми-то, сиротинушки вы...» Она несколько раз пристально оглядела тесную комнатку с развешанными около печи пеленками. На Федора же старалась не смотреть.

То, что было сказано, можно было сказать в пять минут. Но старики честно отсидели полчаса, ровно столько, чтоб хозяева не подумали — рапо ушли родители-то.

Федору казалось, что эти полчаса он сидел не в своей комнате, а под крышей Ряшкиных. Стеша, как бывало, не поднимала глаз, боялась взглянуть на мужа.

«Запахло опять ряшкинским духом. Сломают нам жизнь, сволочи. Стеша-то и не глядит...» — думал он, скупно отвечая на вялые вопросы тестя о жалованье, о казенной квартире, о том, дадут или нет усадьбу весной.

Но после ухода стариков Стеша оставалась по-прежнему ласковой. Она, кажется, сама рада была, что родители долго не засиделись. И уж совсем неожиданным гостем как для Стеши, так и для Федора была Нина Глазычева, секретарь райкома комсомола.

Она не раздевалась.

— Некогда, некогда, на одну минуточку к вам. Вот видите, как хорошо! Очень хорошо!.. Прекрасная дочь, прекрасная! Вы понимаете только — она человек будущего! Она будет жить при коммунизме!

Стеша, помня ласковый прием в райкоме, после похвал дочери смотрела на Нину благодарными глазами и краснела. Федор тоже краснел и виновато улыбался. Он уже не обижался на Нину.

Нина ушла, довольная Федором, Стешей, дочкой и больше всего собой. Теперь можно заявить: «Нам приходится сталкиваться с бытовыми вопросами, но со всей

ответственностью можем сказать — эти вопросы с честью решались нами!»

Первые, самые первые дни в тесной, холостяцкой комнатухе Федора они были счастливы.

Стеша не переставала про себя удивляться: чужие люди приходят, радуются за них, добра желают... Ей в отцовском доме никогда не приходилось видеть такого.

22

Скоро все знакомые привыкли к тому, что у Федора Соловейкова есть дочь.

Гости, поздравления, маленькие подарки (даже Чижев принес погремушку) — все это чем-то смахивало на праздник. И все это скоро кончилось.

Началась будничная жизнь, для Стеши новая — впервые вне дома.

Их хозяин Трофим Никитич жил бобылем. Его жена была постоянно в разъездах, гостила то у одного сына, то у другого, а их у Трофима шестеро — все живут в разных концах страны.

Трофим работал столяром в промкомбинате и по своему бобыльскому положению каждую субботу приходил вышивши. При этом он обязательно заглядывал к жильцам. Балансируя на цыпочках, делая страшные глаза в сторону снящей девочки, предупредительно трясая поднятыми руками, он объявлял шепотом:

— Ш-ш... Я тихо, я тихо...

И обязательно цеплялся за что-нибудь — за стул с тазом, за пустое ведро, — будил дочь.

Усаживаясь, он начинал разговор об одном и том же: — Я вас не гоною. Живите. Разве я совести не имею?

Но по тому, что Трофим говорил «не гоною», по тому, что он разрешал — «живите», Федор и Стеша понимали: жильцы не очень нравятся хозяину. Одно дело — холостой, одинокий парень, другое — семья с ребенком. Пеленки, детский крик, печь топится с утра до вечера, давно уже отвык старый Трофим от всех этих неудобств. И то, что хозяин не упрекал, не ругался, еще больше заставляло чувствовать Стешу связанной по рукам и ногам.

Однажды Федор пришел очень поздно. Стеша не спала, она перед этим всплакнула по дому, видела, как муж собирал себе поужинать. Не понравился он ей в эту мину-

ту. Ест, уши вверх-вниз ходят, п лицо такое, словно счастлив, что дорвался до каши.

— Стеша,— негромко окликнул он.— Слышь, Стеша, что я тебе скажу.

— Ну?

— Деньги пашей МТС большие ассигновали.

— Что за радость, не тебе деньги, а МТС.

— Стронься будем. Целый поселок вокруг МТС планируют. Дома финские привезут. Рассчитывали сейчас: трактористам квартиры, а бригадирам по отдельному домику. Вот как!.. Большие дела! В своем домике будем жить, сад разведем, цветы под окнами...

— А скоро ли это?

— Не сразу Москва строилась. Эх, Стешка! Обожди, встанем на ноги. Дочь подрастет, учиться оба начнем. Я ведь тоже, вроде тебя, среднюю школу не кончил. На курсах да на переподготовках доходил.

— Ладно уж, институтчик, ложись спать,— приказала Стеша ласково.

Прежде чем уснуть, в эту ночь она помечтала немного. Всплыло забытое. Свой дом, свое хозяйство. Не отцовский дом с полатами да лавками, отрывным календарем на стенке. Крашенные полы, коврики по стенам. Встанет утром и, как есть, босая, на огородец. Цветы, говорит, под окном... Ну, это, может, и ни к чему. От цветов сыт не будешь. Огород большой, пасеку обязательно. Утром листья у капусты матовые, тронешь — холодные. Муж, может, на директора МТС выучится, культурный человек! Ее хочет заставить учиться... Зачем? Для дому, для хозяйства, для детей ума хватит. Ой, беспокойная головушка! Ой, трудно с тобой, непутевый мой... Вот ведь забыла, смирилась — не бывать тому, что думалось, ан нет, не узнаешь, где счастье откроется...

Пришла мать. Напомнила дом. Как бы ни расписывал муж цветы под окнами, а родной дом не забудешь — берега старая, въезд на повесть с весны травкой зарастает: не раз вспомнишь, быть может, и при хорошей жизни слезу прольешь. Как бы ни дичился Федор ее родителей, а мать останется матерью. Голос ее по утрам: «Син, касаточка, спи, ласковая», — всегда сердце греть будет.

Стеша не знала, куда усадить мать, чем угостить ее.

— Как муженек-то себя ведет? — прихлебывая чай с блюдечка, поинтересовалась Алевтина Ивановна.

— Хорошо, маменька. Он добрый, старательный.

— Добрый? То-то вижу, от доброты его ты с лица снала.

— Трудно пока на первых-то порах. Но проживем — выправимся. Федор-то обещает: дом дадут в МТС.

— Уж дом. Палат каменных не обещал тебе?

— Запланировано, говорит. Деньги больше им разрешены на стройку... — Стеша принялась рассказывать.

— А ты верь, верь больше. На доверчивых-то воду берут. Не знаешь, что ли? Варвара который год в колхозе масляные да хлебные горы сулит. Не видно их что-то. Обещать-то обещаю, да и заботушку проявляю о жене. От нас оторвал, к себе перетянул, а нет того, чтоб, пока там строят да налаживают, у нас до поры пожить. Пусть строят, построят — переедете. В родном доме или на стороне жить, где лучше-то? Мы не враги дитю своему, держать на хорошую жизнь не будем. Веришь — он добрый, а ты на себя погляди. Какая ты белая да румяная была, глядеть не наглядеться, а теперь... Горюшко ты мое, кровипушка ты моя родная, на кого ты похожа?.. — Алевтина Ивановна начала сморкаться в конец платка.

Стеша держалась, держалась и тоже заплакала.

— Скворечник на березе нашей мне прошлой ночью снился, мамушка.

— Горькая ты моя! И за что нас господь бог через тебя покарал? За какие грехи тяжкие?..

Обе плакали, чай стыл в чашках.

Едва только Федор переступил через порог, Стеша встретила его словами:

— Нет моей силы жить здесь. Домой поеду... погостить... Может, на месяц, может, и больше, сколько проживется.

Не слова, а самый голос, глухой, срывающийся, недобрый, глаза, спрятанные под ресницами, испугали Федора.

— Не могу, Стеша... Обожди, квартиру новую подыщем, няньку найдем. Не пущу тебя домой. Все поломается опять промеж нами. В вашем доме даже воздух заразный. Надышишься ты его — чужой мне будешь.

— Сам ты заразный, сам ты чужой.

Стеша хотела крикнуть, что дома с цветами под окнами, что жизнь легкая — все выдумки, не будет легче. Уж коли хочет добра ей, то пусть не держит — с отцом да с

матерью ей удобнее, от добра добра не ищут!.. Не успела крикнуть, проснулась дочь от громкого разговора, заплакала. Стеша бросилась к пей, схватила, прижала, в голос запримчала:

— Как были мы с тобой, Оленька, сиротинушки, так и остались. Отец твой о своей МТС больше думает!

Так воздух дома Ряшкиных, о котором говорил Федор, казалось, появился и здесь. Трудно молчать, но и говорить нельзя. Заговоришь, будет скандал.

...Дома раньше всех, под петушинный перекрик, выходил во двор отец. Стеша в детстве любила выскакивать за ним в одной рубашонке на крыльцо, поеживаясь от утреннего холодка, поглядывать. У отца в те часы было важное и спокойное лицо. Ходил не торопясь по двору, не торопясь ко всему приглядывался. Вобьет гвоздь в косяк, рукой пощупает — для себя вбит, крепко. Поправит, подопрет колом пошатнувшуюся связь у изгороди, дернет — для себя подпер, на совесть. Плетень, калитка, береза со скворечником, высокое крыльцо — тут деда, прадеды жили, свое место, кровное. Хоть щепку с дороги отбросишь — для себя, не для чужих постарался. Здесь же сенцы грязью заросли, пылица, паутина по стенам... Прибрать бы, но ведь не свое. Чего ради руки ломать, за спасибо от пьяного Трофима? Да и того, поди, не услышишь. Что там сенцы? Комнату прибрать, пол вымыть душа не лежит. Чужое все кругом, не свое, куда попала?..

А свое-то, и дом с коньком, и береза старая, не за морями, не за горами родное гнездо, не по железной дороге ехать — рукой подать. Так что же она тут сидит, мучается? Из-за кого? Из-за мужа, из-за Федора? Да пропади он пропадом, вытащил на убожество, обещает: «Крепись, Стешка, крепись, построятся, выучимся, заживем...» Жди, построятся, строить-то в МТС мастерские пачали, а не дома с цветами под окнами...

...Федор, забежав после работы в магазин, купил то, что давно собирался купить: абажур на настольную лампу, стеклянный, снизу белый, как молоко, сверху темпо-зеленый, как осенняя ознь.

Надо думать, что Стеша сейчас не обрадуется покупке. Ей нынче не до абажуров. К дому своему, к родной крыше тянется. Молчит, насупилась, комнату запустила, сама ходит растрепой. Ничего, крепись, Федор, в МТС большие дела начинаются. У тихого сельца Кайгородище рабочий поселок вырастет. Пусть Стеша теперь неласкова, пусть недовольна мужем, пусть! Он перетерпит. Придет время,

спасибо ему скажет, что в родной дом не пустил. Будет и ласкова, и разговорчива, и опрятна, и красива, лучше не надо жены.

Придет время: возвратится Федор с работы, а в комнате, что в лунную ночь, сумрак от абажура, на столе круг яркий, так и тянет сесть, книгу под свет положить. Сам будет учиться, Стешу заставит. Спасибо скажет.

С покупкой, обернутой в серую бумагу, Федор поднялся по крыльцу, сбил снег с валенок, вошел.

Никого. Кроватка-качалка, присланная Варварой, пуста. Стешин чемодан, большой, черный, фанерный, с висюльчым замком, стоял раньше в углу. Исчез он. Нет и лоскутного одеяла на большой кровати, оно тоже Стешино. На полу, посреди комнаты, валяется погрешка, подаренная Чижовым.

Федор поставил на стол абажур, сел не раздеваясь.

«Вот тебе и зеленый свет по комнате, вот тебе и учиться заставляю... Уехала... Интересно: свои нарочно приезжали или машина подвернулась?.. Да не все ли равно! Уехала... Теперь уж все. Кланяться к Ряшкиным, просить, чтоб вернулась, не пойду. Пусть попрекают в райкоме комсомола: не умеешь воспитывать. Видать, не умею, что поделаешь...»

И вдруг Федор опомнился и застонал.

— Ведь Ольгу с собой взяла! Нет дочерн-то!..

Осень. Под мелким дождем плачут мутные окна.

Лето было дождливое, серенькое. Только в августе выдалось безоблачные деньки — небо предосеннее, лиловое, солнце пылающее, косматое, но не жгучее, так себе припекает. В эти-то дни и успели сухоблиновцы — убрали все с полей. Подсчитали: год не из счастливых, а урожаем выдался неплохой.

Осень. Плачут окна. В небе темно и тихо. Кошка, прыгнувшая с печи, заставляет вздрагивать: «Чтоб тебя разорвало!»

Спит дочь. Отец с матерью притихли. Тоже снят. Да и что делать в такой вечер. Осень на дворе, глухая осень. Мелко, скучно моросит. Плачут окна.

Стеша устала на слезящееся стекло, думает и не думает. Скучно! До боли скучно, хоть плачь. Да и плакала, не помогло — все равно скучно.

А сейчас в селе в стареньком клубе около правления горит электричество, собирается народ. Сегодня праздник в колхозе. Урожай нынешний отмечают и пуск тепловой

станции. Приглашен известный гармонист Аникушкин из Дарьевского починка. Придет молодежь из всех соседних деревень. Придет и Федор. Он плясун не из последних, ему там почет. Деньги высылают. Дочь, может, и гомнит, а жепу забыл. Плясать будет, веселиться будет, что ему — дитя не висит на шее, вольный казак... Да и народ его любит, Федором Гавриловичем величает.

И уже тысячный раз Стеша пачинает спрашивать себя: чем они не нравятся людям? Не воры, не хануги, живут как все, никого не обижают, па чужой кусок не зарятся. В чем же виноваты они перед селом? Не любят их...

— Эх-хе-хе, доченька! Сумерничаетшь?

Последовал сладкий зевок. Мать слезла с печи, зашаркала валенками по половицам.

— Дай-кошь огонь вздую.

При тусклом свете лампы Стеша видит лицо матери. Оно опухшее от сна, зеленое от несвежего воздуха.

— Электричества напроводили. Кому так провели, а кому так нет. Кто шибче у правления трется, тому хоть в сенцы не по одной лампочке вешай...

Чувствуется, что ворчанье матери скучно даже ей самой.

— Мам? — нехорошим, треснувшим голосом перебивает Стеша.

— Что-сь? — откликается испуганно Алевтина Ивановна.

В последнее время характер что-то у дочки совсем испортился, плачет, на мать кричит. Прежде-то такого не случалось.

— Мам... скажи: за что нас на селе не любят?

— Завидуют, девонька, завидуют. От зависти вся злоба-то, от зависти...

— А чего нам завидовать? Живем стороной, невесело, от людей прячемся за стены.

— Не пойму что-то нынче тебя, Стешенька. Ой! Неладное у тебя на уме!

— Не понимаешь? Где уж понять! Мужа привела, извели вы мужа, ушел из дому. Мне жить хочется, как все живут. Не даете. Пробовала к мужу уйти, ты меня отравила, наговорила на Федю. «Не верь да не верь». Вот тебе и не верь. А что теперь понастроили с МТС-то рядом! Жить вы мне не даете! Сами ничего не понимаете, меня непонятливой сделали!

— Святые угодники! Да что с тобой, с чего опять лаешься? Стешенька, на мать же кричишь, опомнись!

- Опомнись! Опомнилась я, да поздно!
— Господи, от родной-то дочери на старости лет!
Вышел отец, бросил угрюмый взгляд на дочь.
— Опять взбесилась? Стешка! Прочучу!
— Прочучил, хватит! Твоя-то учеба жизнь мне заела!
Силаитий Петрович зло махнул рукой.
— Выродок ты у нас какой-то. Всегда промеж себя дружно жили. Тут на тебе — что ни день, то визг да слезы...
— Это он все! Все он! Муженек стравил, залез к нам змеюкой, намутил, ребенка оставил и до свидания не сказал. Он все! Он!
— Жизнь заели! За-е-ели!
От криков проснулась дочь.

В жарко натопленном клубе играла гармошка. Федора шумно вызывали. Он упрямо отказывался. Наконец ребята-трактористы вытеснили его на середину круга, кто-то услужливо подхватил упавший с плеч пиджак.

Чуть вздрагивающей рукой Федор провел по волосам, стараясь не глядеть в глаза людям, напиравшим со всех сторон, прошел вяло, враскачку, быстрее, быстрее и сделал жест гармонисту: «Давай!» Гармошка рванула и посыпала переборы, один нагоняющий другой. Зазвенели стекла, заголосили сухие половицы под каблуками, гул голосов перешел в восторженный стон, волосы Федора растрепались, лицо покраснело. «Эх! Потеснись, народ! Душа на простор вырвалась!»

Хлопали в ладоши, кричали, не слыша друг друга, теснились плечами... И вдруг, ударив в пол, Федор остановился, вытянувшись, уставился вверх голов, потное лицо медленно стала заливать бледность. Жалобно всхлипнув, осеклась гармошка. Голоса смешались, унали — и наступила тишина, в которой лишь было слышно напряженное дыхание людей. Невольно глаза всех повернулись в ту сторону, куда смотрел Федор.

Снаружи, за темным, мокрым окном, прижалось к стеклу мутное лицо Стешки...

Ухабы

1

Сонные тучи придавили маленький городок Густой Бор. Шумит ветер мокрой листвой деревьев, мокро блестят старые железные крыши домов, мокрые бревенчатые стены черны, — и сам город, и земля, на которой он стоит, и воздух — все, все обильно пропитано влагой.

Такому городку, отброшенному на пятьдесят километров в сторону от железной дороги, затяжные дожди причиняют великие неудобства: в магазинах исчезает соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать новые кинокартины, письма и газеты приходят с запозданием, так как почту доставляют с оказией, на лошадях.

Густой Бор в эти дни наполовину отрезан от остального мира.

В райпотребсоюз пришла телеграмма: на железнодорожную станцию прибыла партия копченой сельди. В другое время на нее не обратили бы особого внимания — вывезти, распределить по магазинам, продать. Но теперь председатель райпотребсоюза Лармон Афанасьевич Сямжин, человек с большим сердцем, не любящий волноваться по пустякам, засуетился:

— Как же быть? На станции-то нет холодильников. Попортится! Ох, не ко времени! Ох, наказание!.. Васю ко мне. Быстро! Чтоб одна нога здесь, другая — там!

Шофер Вася Дергачев собирался в село Заустьянское, где вот уже без малого месяц обивал порог у библиотekarши Груни Быстряк. Явился он к Сямжину в синем плаще, коверкотовая фуражка заломлена на затылок, — по одежде праздничный, а лицо тоскливое.

— Опять в рейс? — спросил он, сумрачно разглядывая свои хромовые, с голенищами в гармошку сапоги, втиснутые в новенькие, чуть тронутые грязью калоши.

— На тебя надежда, Василий, только на тебя. Развезло. Другому по улице не проехать, в первой же луже сядет. А ты ведь не просто шофер, ты, без прикрас скажу, божьей милостью водитель. Талант!

— Эх, жизнь собачья! Есть путь, нет пути — все одно гонят.

— Да никто тебя не гонит. Тебя просят, братец.

— А откажусь — небось против воли пошлете?

— Пошлю, голубчик, пошлю, но быю на сознательность. Хочу, чтоб прочувствовал.

— Уж ладно... Выписывайте накладные.

Через двадцать минут он, в старой кепчонке, в кожаной куртке, донельзя вытертой, хлябая ногами в непомерно широких голенищах кирзовых сапог, с какой-то шоферской вдумчивой раскачкой ходил вокруг своей полуторки.

Возраст автомашины измеряют не годами, а километрами. Тридцать тысяч на спидометре — считай, юность, начало жизни. А полуторка Васи Дергачева выглядела старухой: помятые крылья, расхлябанные, обшарпанные борта, погнут буфер, на выхлопе вылетает дымок со зловещей синевой: верный признак — страдает машина обычной автомобильной одышкой, сносились кольца. Укатали сивку крутые горки густоборовских дорог. Сейчас стоит она, постукивает мотором и мелко трясется всем своим многотерпеливым корпусом, словно страшится нового тяжкого испытания.

Вася закрутил проволокой запор у левого борта, — на всякий случай, вдруг да на толчке отвалится, не оберешься греха, сел в кабину.

Он не сразу взял курс через плотину районной ГЭС на станцию, а повернул к чайной. Какой шофер упустит случай, чтоб не «наловить лещей».

2

«Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. Для шофера, ведущего машину, есть только один грозный судья — представитель автоинспекции. Но такие представители редко заглядывали на здешние глухие дороги. Поэтому густоборовский шофер, выехав из гаража, оторвавшись от организации, в которой он работает, сразу же оказывается в стороне от всяких законов. Он становится единственным владыкой, царьком крошечного государ-

ства — кузова автомашины. И каждый, кто попал туда, обязан платить дань.

Правда, три года назад председатель райисполкома Зупдышев попробовал было начать войну против шоферского племени, безнаказанно собирающего дань на дорогах. Для этого между городом Густой Бор и станцией поставили шлагбаумы в трех местах, где никак нельзя свернуть в объезд. План был таков: шофер сажает пассажиров, но миновать шлагбаума не может, у шлагбаума же стоит контролер и продает пассажирам самые законные билеты. Все деньги идут не в шоферский засаленный карман, а на ремонт дорог. Так должна была благоустраиваться жизнь Густоборовского района, таков был план. Но получилось иначе...

Шоферы, как обычно, «ловили лещей». Каждый из них, не доезжая до шлагбаума, останавливал машину и держал короткую речь:

— Вылезайте, граждане, идите пешком. Я вперед поеду, за шлагбаумом буду ждать. Там снова сядете. Тяжелые вещи — чемоданы там, мешки — оставляйте в кузове. Кто не согласен, того не держу. Пусть ищет другую машину, а еще лучше — идет пешком.

К шлагбауму подходила пустая машина. Недоверчивый контролер заглядывал в кузов, спрашивал:

— Пассажиров куда, молодец, спрятал?

— В карман положил, да повытрусились.

— Шуточки все, а чемоданы тут, мешки, ась?

— Теща в гости приехала. Багаж вот на станции оставила. Везу...

— Теща? Гм... Богата она, видать, у тебя. Ишь сколько чемоданов.

И рад бы контролер уличить, но как?.. Шофер спокоен: курит, независимо сплевывает, он знает — комар носу не подточит.

Лещи-пассажиры дружной кучкой, обсуждая шоферские доходы, идут пешком километра два-три, находят ожидающуюся за поворотом машину, влезают в кузов, едут до следующего шлагбаума.

Контролерам скоро была дана отставка. А шлагбаумы, задранные вверх, долго еще торчали у дороги, вызывая к шоферской совести, пока их не растащили на дрова.

Вася Дергачев, как и все шоферы, считал, что брать дань с пассажиров — это его прямое право, это законная награда за тяжелую дружбу с густоборовскими дорогами.

Самое удобное место, где хорошо «клюют лещи», была

чайная. К чайной сходятся из деревень желающие попасть к поезду, в чайной дежурят приезжие из соседнего района, к чайной бегают справляться местные жители: «Не пойдет ли машина?» Чайная — это станция, где можно ждать, убивая время за кружкой пива, за стаканом чаю.

Из-за дождей машины теперь почти не ходят, и наверняка от «лещей» не будет отбоя.

Вася остановил полторку под окнами чайной, не успев выйти из кабины, как с высокого крыльца его окликнули:

— Эй, Дергачев!

Вперевалочку, не спеша, припечатывая к мокрым ступенькам каблук сапог, спустился знакомый Васе директор Утряховской МТС Княжев. Подошел, протянул руку.

— Сямжин пообещал, что ты меня подкинешь до дому.

Из-под распахнутого плаща выпирает широкая пухлая грудь, лицо Княжева полное, мягкое, бабье, губы в оборочку, говорит сипловатой фистулой:

— Свою машину угробил, как сюда ехал. Придется весь задний мост перебирать. Вот подсохнет — перетащу в Утряхово.

К его голосу не подходит по-мужски осанистая фигура и твердый крючковатый нос на рыхловатом лице.

— В кабине-то место свободно? — кивает он.

— Свободно. Один еду.

Словно из-под колес, вынырнула маленькая старушка с огромной корзиной, завязанной вылинявшим платком. Она цепко схватила Васю за рукав кожаной куртки, запела с причитанием:

— Выручи, кормилец. Третий день ловлю машину. Третий день никак не уеду. Не бросай ты меня, старую, непутевую. Приткни, Христа ради, в уголок куда. Век буду бога молить.

С плаксиво сморщенного лица хитро, молодо и настойчиво щупали Василия маленькие, бойкие глазки.

— Сидела бы дома, бабка!

— Уж рада бы сидеть, сокол. Ра-ада. Не такие мои годы, чтоб в ящичке-то трястись. Да сына, вишь ли, поглядеть охота. Старшой мой на железной дороге начальством служит. Внуцатам яичек вот сотенку везу.

— Расколоти тебя вместе с твоими яичками. Ладно, лезь в кузов, садись ближе к кабине.

— Ой, спасибо, родной! Ой, выручил старую! Подсадите, люди добрые, толкните кто...

За борт сначала спускается корзина, за ней, кряхтя, охая, благодаря господу богу и осторожно подталкивающего под зад Василия, перевалилась старуха.

С другой стороны в кузов падают два новеньких, сверкающих никелированными замками чемодана. Их хозяин, на вид такой же новенький, так же сверкающий погонами и начищенными пуговицами младший лейтенант, сдвинув твердую фуражку на одно ухо, подходит к Васе, щелкает портсигаром:

— Закуривай, друг. Занимаю два места — я и жена.

Он не высок, все в нем — от пуговиц, от мягких сапожек до маленьких белых рук и мальчишеского лица с точеным носком, — все аккуратно, все подогнано.

— Наташа, иди сюда. Вот наш шофер. Теперь-то наконец поедем. Никак не вырвешься, черт возьми, из этой дыры! Я, брат, родом из Большезерска, в сорока километрах отсюда. В отпуск приезжал и вот женился. Наташа! Что ты там машину сторожишь? Без нас не уйдет. Иди сюда... Пока до этого городишка добирались — душу вытрясло. А мне еще ехать и ехать. В Прибалтике служу. В самом центре Европы. Наташа, иди сюда!

Оттого, что он в военной форме с блестящими погонами, что со стороны за ним следит молодая жена, лейтенант расправлял плечи, поигрывая портсигаром, небрежно перекидывал из одного угла рта в другой папиросу. Но Вася отвернулся. Пусть он сейчас в замасленной, затертой куртке, в покоробившихся от грязи огромных сапогах, пусть он неказист с виду — нос пуговицей, на лоб спадает челка, черная, словно напмаженная мазутом, — но он сейчас здесь первое лицо. Даже директор МТС Княжев, тот, кто распоряжается сотнями машин, смотрит на него, шофера Василия Дергачева, с уважением. Не всякий-то решится ехать в такую погоду по размытой дороге. Поэтому пусть этот лейтенантик особо не фасонит, стоит только захотеть, и он останется мокнуть под дождем здесь, у чайной, вместе со своими чемоданами и красивой женой.

...В кузове устраивались. Рядом со старушкой сел какой-то тщедушный, неприметный человек, то ли заготовитель из конторы «Живсырье», то ли агент по страховке. В грубом брезентовом плаще, в котором утонул он, можно бы упрятать троих таких заготовителей. Из-под капюшона выглядывали лишь острый нос и сонные глазки. Бабка пристраивала у себя на коленях корзину с яйцами, бесцеремонно толкала соседа:

— Эко растопоршился! Сам тощей, а места занял, как баба откормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушка.

Заготовитель покорно шевелился в своем просторном плаще.

Четыре девушки, едущие поступать в ремесленное училище, расположились среди узелков и авосек, сосали леденцы. Лейтенант топтался посреди кузова, ворочал свои новенькие чемоданы, старался удобнее устроить жену.

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, нет, давай сядем так... Чемоданы поставим на попа.

А Наташа, с добрым, простеньким и усталым лицом, послушно поднималась с места, следила из-под ресниц внимательно и терпеливо за мужем.

Влезли три колхозницы с мальчуганом, у которого просторная кепка держалась на торчащих ушах, постоянно сваливалась козырьком на нос, и тоже с шумом начали пристраивать свои узлы и корзины.

К машине подбежала женщина с младенцем на руках, затопталась у борта, присматриваясь, как бы влезть в кузов. Но Вася остановил ее:

— Эй, мать, не вертись. Все равно не возьму.

— Миленький! Да тут еще есть местечко.

— Не возьму с ребенком.

— Ведь я не так, я заплачу. Я же не задаром...

Она, потерев зубами узелок платка, вытатила скомканную бумажку, начала совать Василию.

— Возьми-ко, возьми. Не отворачивайся. Мне к вечеру на станции быть нужно.

— Не возьму с ребенком. Да ты, тетка, с ума спятила! В такую дорогу и с младенцем. А вдруг да тряхнет, стукнешь ребенка — кто ответит?

— Ты не бойся, с рук не спущу.

— Не возьму — и шабаш! В другой раз уедешь.

— Никак нельзя в другой-то раз. Разве без нужды я б поехала. Да провались езда эта... Ты возьми-ко, возьми, я прибавлю еще. Тут четвертной.

Она снова попыталась всунуть потную бумажку.

— Отстань! — сердито крикнул Василий.

В это время парень с белесым чубом из-под фуражки, в сапогах с отворотами размашистым шагом подошел к машине, не спрашивая разрешения, перемахнул через борт, втиснулся между сидевшими, с трудом повернув в тесном вороте рубахи крепкую шею, раздвинул в улыбке крупные белые зубы:

— Не спеши, дождик пройдет, пообветреет, тогда и покатаешься.

— У-у, осканился! Этому жеребцу, только бы и бегать пешком. Глаза твои бесстыжие! — набросилась па парня женщина. — А ты не думай, — обернулась она к Василию, — не больно-то он раскошелится. Такие-то на дармовщину ездят.

Василий покосился на парня: что верно, то верно — «лещ» не из надежных, на каком-нибудь отвороте к деревне Копцово или Комаринный Плѣс выскочит на ходу, только его и видели. Дело не новое. Но, измерив взглядом широкие плечи своего пассажира, решил: «Черт с ним. Сила, должно быть, медвежья, машина застрянет — поможет вытаскивать».

Суровым взглядом окинул тесно набитый кузов:

— Все уместились? Едем! Коль застрянем где — помогать.

Он сел в кабину рядом с изнывающим от ожидания директором Княжевым, нажал на стартер. Разбрызгивая лужи, перетряхивая на колдобинах пассажиров, полуторка, оставив чайную, стала выбираться на прямой путь к станции.

3

Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колеи, ни дать ни взять ущелья среди грязи, лужи-озерца с коварными ловушками под мутной водой, — километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами, — наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густоборовского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи.

Есть в Густом Бору специальная организация — дорожный отдел. Есть в нем заведующий — Гаврила Апуфриевич Пыпин. Он немного стыдится своей должности и, знакомясь с приезжими, прячет смущение под горькой шуточкой. «Зав. бездорожьем», — рекомендуется он, протягивая лодочкой руку.

Но что может сделать Гаврила Пыпин, когда в прошлом году на ремонт дорог отпустили всего пять тысяч. Пять тысяч на эту пятидесятикилометровую стихию!

Единственное, что мог сделать Пыпин, — вымостить булыжником улицу перед райисполкомом и заменить упавшие верстовые столбы новыми — километровыми.

Сейчас от города Густой Бор до самой станции стоят они, эти столбы, в черную полосу по свежееоструганному дереву, точно отмечая километр за километром куски шоферской муки.

Ох, дорога! — каждый метр с боя.

Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, безобидную, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее нужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая, выбрасывая из-под колес ошметки грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на дифер.

Перед деревней Низовка разлилась широченная лужа. Страшен ее вид — там и сям из воды вздыбились сляги, торчат пучками облепленный грязью хворост. Шоферы прозвали эту лужу «Чертов пруд». Через нее надо ехать только по правой стороне, да и то не слишком-то надейся на удачу.

После Низовки, не доезжая соснового бора, дорога так избита, что лучше свернуть в сторону, проехать по кромке поля вновь пробитой колеей. Зато дальше, пока не кончится сосновый бор, — песок. Дожди не размывают его, прибивают, делают плотным. Можно включить третью скорость, облегченно откинуться на сиденье, дать газ... Какое наслаждение следить, как надвигаются и проносятся мимо сосны! Но только три километра душевного облегчения, несколько минут отдыха — и снова колдобины, до краев заполненные водой, снова врытые глубоко в землю колеи, снова коварные лужи.

На ветровом стекле брызги жидкой грязи. Сквозь стекло видно, как навстречу, словно медлительная, ленивая река, течет дорога. Вася Дергачев, вытянув шею, в кепке, съехавшей на затылок, настороженно впился в дорогу глазами. Она враг — хитрый, неожиданный, беснощадный. От нее каждую секунду можно ждать пакости. Вася с ожесточением воюет, от напряжения ему жарко, волосы прилипли ко лбу.

Рулевая баранка, рычаг скоростей, педали — вот оно,

оружие, с помощью которого вырывается у дороги метр за метром...

Впереди залитый, осклизлый склон. В другое время не стоило бы на него обращать внимания. Тяжелый сапог давит на газ. Взыл мотор. Сотрясая кабину, машина набирает скорость: давай, давай, старушка! Начало склона близко. Начало склона перед самыми колесами. Газ! Тяжелый сапог давит до отказа: газ! газ! Радиатор поднимается в небо. А в пеще, затянутом ровными серыми облаками, равнодушно машет крыльями ворона...

С разгона машина проскочила до середины скользкого склона, и вот — секунда, частичка секунды, когда чувствуется, что она должна остановиться... Если это случится, не помогут и тормоза, — как неуклюжие салазки, сползет грузовик вниз, а уж во второй раз так просто не выползешь.

Секунда, частичка секунды — педаль сцепления, рычаг скоростей на себя и газ, газ, газ! Машина остервенело воеет, дребезжат стекла кабины, медленно, медленно, с патугой, по вершку, по сантиметру вперед, вперед, вперед! Выкатилась... Уф!.. Василий расслабил сведенные на руле руки.

Качается кабина, директор МТС Княжев сонно кивает на каждом толчке головой. Окруженные придорожным мокрым кустарником, время от времени выдвигаются, проползают мимо километровые столбы, повенские, не успевшие еще по-настоящему обветриться.

Первый раз застряли на десятом километре. Объезжая разбитый путь, Вася никак не мог выбраться на дорогу, задние колеса буксовали и затянутом травой кювете. Из кабины вылез Княжев, из кузова выскочили парень в сапогах с отворотами и путающийся в широком плаще заготовитель. Лейтенант, жалея свои хромовые сапожки, командовал сверху, перегнувшись через борт:

— Лопату возьмите! Где лопата?.. Подрыть надо. Эй, кто там! Под колесами подройте!

Подрыли, подложили пару камней, покрикнув для бодрости, вытолкнули на дорогу.

Второй раз прочно сели в «Чертовом пруду» — место законное для задержки. Парень в сапогах с отворотами оказался находкой для Васи. Откуда-то притащил сосновый кряж, бесстрашно шагая по луже, пристроил его под колеса, подровнял лопатой грунт. Веселый, с облепленными грязью ручищами и грязью крапленным потным лицом, он шумливо отвечал всем.

— Ладно, ладно! Командуй! — кричал на лейтенанта. — Как бы самому кителек запачкать не пришлось. Эй, шофер! Лезь в кабину, трогай не ходко! Я подтолкну... А вы, товарищ начальник, не мутите зазря воду у кабины, садитесь на свое место. Как-нибудь управимся...

Директор Княжев послушно усаживался рядом с Васей, смущенно улыбаясь, качал головой:

— Шустрый малый. Силенка так и прет, хоть запрюгай в машину вместо тягача.

Проехали Низовку, прокатили по сосновому бору...

У километрового столба с цифрой 20 Василий остановил машину, вылез, своей шоферской вдумчивой походкой враскачку обошел кругом, озабоченно попинал скаты, поднял взгляд на сидящих в кузове:

— Ну, братцы, сейчас Тыркина гора. Коль на нее выползем, считайте — приехали на станцию. Дальше-то как-нибудь промучаемся. — И, влезая в кабину, вздохнул: — Эх, место, богом проклятое!

Машина тронулась, огибая тесно сбившийся в кучу придорожный ельник.

Впереди показался кособокый холм. Правая его сторона, кудрявясь мелким березнячком, круто сбегала вниз. К вершине, по самому краю склона, к выщипанному кустарнику, маячившему на фоне серого неба, ползла вверх жирной виляющей лентой черная дорога.

Машина приближалась к Тыркиной горе.

4

Откинувшись на спинку сиденья, с бесстрастно суровым лицом, Василий наметанным взглядом выбирал более удобный путь на расхлюстанной дороге. Его руки скупно, расчетливо, лишь более порывисто, чем всегда, крутили баранку.

Княжев, до сих пор равнодушно клевавший носом, встряхивавшийся только на сильных толчках, теперь подался вперед, наморщил страдальчески лоб, собрал в тугую узелок губы, всем своим видом выражал такое напряжение, словно сам помогал машине взбираться на тяжелый подъем, вчуже изнемогая от усилий.

Машина, басовито, на одной ноте завывая мотором, с боязливой осторожностью ползла вверх.

С краю у дороги торчат невысокие темные столбики. Они поставлены оберегать машины от несчастья. Впро-

чем, пролеты между этими спасительными столбиками достаточно широки, чтоб пропустить, не задев, любой грузовик, да и стоят они давно, изрядно подгнили, многие сбиты неосторожными водителями, торчат скорей для очистки совести, па всякий случай.

Василий изредка бросал взгляды в сторону и видел, как внизу ширится простор. Мелкий, мокрый березнячок оседает, своими верхушками уже не закрывает тускло поблескивающую воду узенькой речки, бегущей внизу, под склоном. Сразу за речкой — ядовито-зеленое поле льна, еще дальше — матовые овсы, среди них деревенька — горсточка серых избушек, а совсем далеко, в сырой мгле, мутным темным разливом раскинулся большой хвойный лес.

Как всегда в такие минуты особо трудного пути, Василий чувствовал спиной спящих в кузове пассажиров. Чувствовал, как они все до единого тянутся со своих мест вперед, каждый душевным усилием, помимо желания, пытается помочь машине; также с необъяснимым беспокойством следят они, как открывается внизу простор: тусклая речка в зеленых берегах, поля, деревенька, мутный лес.

У всякой дороги, поднимающейся в гору, есть хорошо знакомая шоферам критическая полоса. Обычно она расположена недалеко от вершины, там, где основная крутизна кончается и подъем становится положе. На подходе к этой полосе машина должна выжать из себя все, на что способна, здесь она сдает трудный экзамен на силу.

Выщипанные кустики, которые были видны на вершине при подъезде к Тыркиной горе, теперь, вблизи, оказались средней высоты ольховыми деревьями. Среди них белел километровый столб — двадцать первый километр, проклятый шоферами.

До него оставалось метров сто семьдесят. Из них добрая половина была исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь иссечена рваными колеями, как поле битвы костями, усеяна жердями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно срубленных березок. Это и есть критическая полоса Тыркиной горы, тяжелый перевал. Редкая машина не сидела здесь по целым суткам, во всей округе нет такого шофера, который бы не обложил это место крепкими словами, вкладывая в них всю свою душевную ярость и отчаяние.

Меньше всего был разбит кусок дороги, тянувшийся

возле самого ската. Есть слабая надежда, что только здесь, и нигде больше, можно проползти, не застряв.

Василий стал прижимать машину к самому краю, повел, едва не задевая колесами темные столбики на обочине.

Сверху от ольховых деревьев, почтительно обступивших километровый столб, прямо на радиатор медленно, с натугой надвигалась дорога — широкая река густо замешанной, скользкой глины. Княжев также тянулся с сиденья вперед, еще туже сводил свои оборчатые губы в узелок. Василий по-прежнему, откинувшись на спинку сиденья, вытянув шею, с окаменевшим лицом уставился вперед немигающими глазами.

Кто б мог подумать, что он в эту минуту мечтал? Да, мечтал! Он представлял себе, как его полуторка мало-помалу приблизится вон к тому камню, замшелой тушей вросшему в обочину, как там он повернет налево, постепенно набавляя газ, пересечет дорогу, как на правой стороне вывернет... А там в кювете растет крошечный, жалкий, всегда густо заляпанный грязью можжевельный кустик. Он дорог Васе. Около этого кустика кончатся мучения, мотор застучит ровнее, без надсадного завывания, машина, словно стряхнув груз, покатится легче. Не доезжая километровой столба, можно уже включить вторую скорость... Он мечтал, как ощутит привычную усталость во всем теле и вместе с этим какую-то радостную, горделивую легкость в душе: знай наших, черт ногу сломит, а мы проехали. Чтоб чем-то отметить эту победу, он обязательно остановит машину, выскочит из кабинки и зайвит весело:

— Что ж, братцы, сотворим перекур.

А из кузова благодарно и радостно будут ему улыбаться пассажиры.

...Камень, старый, туно лобастый, весь в лишаях зеленого мха, скрылся за радиатором. Сейчас он должен находиться как раз напротив переднего колеса. Вася резко крутанул баранку и вдруг почувствовал что-то неладное. Что? Он не сразу понял. Медленное, натужное движение машины не приостановилось, но она не послушалась руля... продолжала двигаться как-то косо.

«Задние колеса сползают!» — догадался Василий и похолодел. Бессознательно нажал газ. Взвыл мотор, машина остановилась, подалась чуть-чуть назад, начала оседать. Вцепившись потными руками в рулевую баранку, с потным, окаменевшим лицом Василий давил на газ. Машина

оседала, задирая вверх радиатор. Из кузова резанул истошный женский визг.

— Ну, что сидишь? Смерти хочешь?! Прыгай! — остервенело крикнул Василий съезжившемуся от ужаса Княжеву.

Тот заворочался, стал слепо хватать руками ручку дверцы, но было уже поздно...

В ветровом стекле исчезла земля, поплыло в сторону серое небо, по нему, как гигантская метла, промела зеленая верхушка березы. Тяжелая туша Княжева навалилась на Василия, но сразу же освободила. Василия больно стукнуло головой о потолок кабинки, бросило грудью на руль, он навалился на Княжева. Раздался треск, зазвенелл стекла... Все стихло.

Шумело в голове от удара, ныла грудь. Внизу, под Васильем, зашевелился Княжев, закричал:

— Кажись, живы.

Вдавливая коленями мягкое тело кряхтящего Княжева, Василий приподнялся, стал шарить по дверце, нашел ручку, надавил, толкнул дверцу головой.

— Сейчас вылезу, вам помогу, — сообщил Княжеву.

«Кого могло убить?..— думал он, выталкивая себя вверх.— Молодые-то, должно, выскочили, а вот старуха с корзиной... Эх, да конец один — хватит, погонял по знакомым дорожкам, Василий Терентьич, теперь пайдут место — отдохнешь от хлопот».

5

Но старуха была жива. Она первая бросилась в глаза Васе: со сбившимся на затылок платком, седые волосы падают на лоб, расставив ноги, огорченно хлопая себя по бокам, причитала над корзиной:

— Иисусе Христе! По яичку копила, себя не баловала, все внукам, все внукам! И с чем я, старая, к ним покажусь? Какие гостинцы привезу?

Высокая, простоволосая жепщина, не стесняясь, вздернув юбку, растирала ушибленное колено. Она сердито оборвала старуху:

— Буде ныть-то. Спасибо скажи, что цела осталась.

— Ох, верно, матушка, верно. Не допустил господь. Спас от погибели.

Мальчуган, задрав вверх подбородок, из-под наползавшей на глаза кепки внимательно изучал лежавшую на

боку, бесстыдно выставившую напоказ свой грязный живот машину.

Девчушки, ехавшие в ремесленное, сбились тесной кучкой, со страхом уставились на вылезших из кабины Василия и Княжева. У директора МТС был потерян картуз, со лба по щеке багровая ссадина.

Какое-то белье, мужские сорочки, цветные женские платья валялись на траве, висели по мокрым кустам. Крошечную, сердито топорщащуюся елочку нежно обняли голубые трикотажные кальсоны. Один из объемистых полевых чемоданов младшего лейтенанта лежал на полпути от дороги к машине раскрытым. Около него согнулись сам лейтенант и его жена.

Наверху, на обочине дороги, торчала фигура, полная недоумения и растерянности,— заготовитель в своем широком, чуть шевелящемся на ветру плаще.

Пестрота раскиданной кругом одежды, неожиданное многолюдье среди покойно шелестящих листьями невысоких березок и кустов казались Васе чем-то диковинным, не настоящим, картиной не от мира сего. Ведь всего минуто назад ничего этого не существовало,— была лишь тесная кабина, забрызганное грязью ветровое стекло, медленно плывущая навстречу дорога...

Он провел по волосам, почувствовал от прикосновения руки боль в темени, опомнился и спросил в пространство:

— Все живы?

На его голос обернулся младший лейтенант. Он резко разогнулся над чемоданом, зло вонзая каблуки своих сапожек в травянистую землю склона, без фуражки, в косо сидящем кителе, подбежал к Василию.

— Кто вам доверил возить людей?! — закричал он тенорком.— Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине!

— Э-э, друг, чего кричать,— попробовал было остановить лейтенанта Княжев, с боязливой лаской ощупывая ссадину на щеке.— Парню и без тебя на орехи достанется.

— Нет, вы поймите! Здесь были дети, женщины, могло кончиться убийством!..

Жена лейтенанта, оставив раскрытый чемодан, бросилась к мужу:

— Митя, полно! Ведь он же не нарочно. Зачем кричать? Митя!

— Мало его судить. Надо судить тех, кто дает таким олухам права!

— Митя, стыдно же...

— Наташа, ты ничего не понимаешь!

— А офицерк-то за свои чемоданы обиделся,— встала со стороны женщина.

Жена Мити вспыхнула, схватила мужа за рукав:

— Несчастье случилось! Как тебе не совестно? Все молчат, один ты набросился. Мне за тебя стыдно! Мне!

В это время за опрокинутой машиной из-под накренившейся, сломанной ударом кузова березы, донесся сдавленный стон: «И-и-и!..» Старуха, все еще стоявшая над своей корзиной, проворно полезла через кусты, зачастила оттуда скороговоркой:

— Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло. Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, лежи, не попужай себя... Люди добрые, да скоренча идите!

Василий, отталкивая всех с дороги, бросился за машину.

Голова в кустах, ноги в тяжелых грязных сапогах с затертыми отворотами раскинуты в сторону, схватившись руками за живот, лежал парень, который помогал Василию выбраться из «Чертова пруда».

Когда Василий услышал стон и вслед за ним причитания старухи, он испугался и первой его мыслью была мысль о себе: «Смертный случай! Теперь-то уж не миновать, теперь засудят...» Но едва он, бросившись на колени, нагнулся, отвел ветви куста и увидел изменившееся лицо парня,— нежно-розовое, с мелкими бисеринками пота на лбу, ввалившимися висками и мутными непонимающими глазами,— то сразу же забыл свой испуг, мысли о том, что его засудят, вылетели из головы.

Чужая, не совсем еще понятная, но наверняка страшная беда в упор глядела на него мутным взглядом.

Не жалость, это слишком легкое слово, скорей отчаяние, болезненное, острое, охватило Василия,— что он наделал?!

С минуту, не меньше, Василий бессмысленно смотрел, не зная, как поступить, чем помочь. А помочь чем-то нужно.

Силу б свою вынуть, боль на себя принять, но как?.. Что делать?

— Любушки! Ведь мать же у него есть! Чья-то кровиночка... Вот оно, горюшко-то, незнамо, когда придет! — разливалась старуха.

Темные на странно розовом лице губы парня дерну-

лись, обнажив стиснутые белые крупные зубы. Парень процедил:

— По-моги... подняться...

Василий рванулся к нему, обнял одной рукой за плечо, другую попробовал просунуть под спину. Но парень, изогнувшись, громко застонал. Василий растерянно выпустил его.

— Ничего, ничего. Жив же, — раздался над его головой трезвый голос Княжева. — Надо доставить как-то в больницу. Хотя бы к нам, в село, в фельдшерский пункт.

Василий вскочил на ноги, оглядел умоляющими глазами стоящих стеной пассажиров:

— Ребята! Товарищ Княжев! Помогите мне. Сделаем посылки...

— Что мы, чурбаны бесчувственные? Поможем. — Княжев оглядел присутствующих: — Жаль, мужиков среди нас маловато.

— Вот видите, до чего доводит безалаберность! — снова загорячился лейтенант. — Человека покалечили!

— Митя, зачем же кричать об этом, — со вспыхнувшими щеками, стараясь ни на кого не смотреть, начала успокаивать жена. — Криком делу не поможешь.

— Нет, это безобразие! Равнодушно относиться к преступнику!

— Митя! Прошу!

Василий сорвался с места, царапаясь о кусты, снотыкаясь, скатился вниз, к берегу реки, вынул из изгороди две жерди, притащил их на плече к машине. Заготовитель торопливо скинул свой широкий брезентовый плащ, представ перед всеми в каком-то полудетском, даже по его тщедушной фигурке тесном, порыжевшем пиджачишке. Жерди просунули в вывернутые внутрь рукава плаща, сам плащ застегнули на все крючки. На плащ еще накинули старый, пахнувший бензином кусок брезента, валявшийся в кузове. Все это сооружение кое-где прихватили веревками... Получились громоздкие, неуклюжие посылки.

Василий и Княжев, приговаривая ласково: «Потерпи, потерпи, браток...», насколько это было можно, с осторожностью, один — под мышки, другой — придерживая грязные сапоги, переложили парня на посылки. Он не застонал, не крикнул, только с шумом втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы.

— Значит, как условимся?.. — Княжев оглядел столпившихся вокруг носилок людей. — Надо, чтоб силы

были равны. Я понесу, ну, скажем, с Сергеем Евдокимовичем.— Княжев указал на съездившегося в своем кургузом пиджачишке заготовителя. Тот в ответ покорно кивнул головой.— Ты, Дергачев, понесешь на пару с лейтенантом.

— А я считаю...— отчеканил младший лейтенант,— мы не должны никуда нести! Надо немедленно вызвать сюда врача и участкового милиционера.

В первый раз за все время Василий угрюмо возразил:

— Не сбегу, не беспокойтесь... А гонять туда да обратно — времени нет.

— Для суда важно, чтоб все осталось на месте, как есть.

— Митя, глупо же! Боже мой, как глупо и стыдно!

— Наташа, ты не понимаешь!

Женщины, до сих пор лишь соболезнующе вздыхавшие, шумно заговорили:

— Нести лень голубчику.

— Сапожки испачкать не хочет.

— Тут человек при смерти, а он...

— А что ж, бабоньки, дивитесь — в чужом рту зуб не болит.

— Образованный, молодой...

— У молодежи-то ныне всей совести с маково зернышко.

— Митя, ты понесешь! — Острые плечи вздернуты, руки переню тербят на груди концы шелковой косынки, рваный зеленый листочек застрял в завитых волосах, на белом виске, как родинка, засохла капелька грязи, по милому, простоватому лицу — красные пятна, на глазах, детских, серых, откровенных, — слезы, они просят.

— Митя, ты понесешь! Ты не откажешься.

— Наташа, ты не понимаешь...

— Нет, я все понимаю, все! Митя! Ты понесешь! Или!..

— Что — «или»?

— Или я уеду обратно домой. Не буду жить с тобой! Не смогу! Какой ты! Какой ты нехороший!

— Наташа!

Наташа прижала к глазам крепко сжатые кулачки, из одного из них недоуменно заячьим ушком торчал конец косынки.

— Наташа...

Она отдернула плечо от его руки.

— Не тронь меня! Не-на-ви-жу! Не хочу видеть! Какой ты!..— Оторвав руки от лица, прижав их к груди вмес-

те с измятой косынкой, она шагнула к Княжеву: — Я понесу! Я! Но бойтесь, я сильная. Я смогу... Только не просите больше его! Не надо! Не просите! Какой он! Какой он!

Княжев с виновато растерянным лицом ощупывал щеку на щеке, а Василий, стоявший рядом, сморщился. В эти минуты у него все вызывало острую боль.

Между женщинами снова пробежал глухой шепоток:

— Нарвалась девонька...

— Век-вековечный красней за идола.

Младший лейтенант стоял перед людьми, в кителе, на котором две пуговицы были вырваны с мясом, остальные, пачищенные, продолжали мокро сиять. Его уши, по-мальчишески упрямо оттопыренные, багрово горели, как прихваченные осенними заморозками кленовые листья.

— Что тут разговаривать, — решительно произнес Василий. — Справимся, — и нагнулся к носилкам.

Княжев взялся с другого конца, удивился:

— Ого! Тяжеленок малый!

Раненый застонал.

Боком, шагком за шагком, стараясь не зацепить носилками за кусты, не тряхнуть, вытащили на дорогу.

За носилками тронулись заготовитель и жена лейтенанта, горестно сморкающаяся в концы косынки. Женщины пошептались между собой, покачали головами, крикнули:

— Нам-то помочь, что ли?

— Оставайтесь, донесем! — с усилием ответил Княжев.

— Вот приберемся тут, может, и догоним.

Лейтенант продолжал стоять у запрокинутой набок машины, смотрел вниз, ковыряя носком сапога землю.

Маленькая процессия, отдохнув на обочине, медленно пошла по верху склона. Сначала травянистая бровка их скрыла по пояс, потом по плечи, наконец, вовсе исчезли... Лишь темный камень тупым выступом торчал на сером небе.

Начинало заметно вечереть. С реки налетел сырой ветерок, шевелил листьями. Женщины вытаскивали вещи, переговаривались негромко, не обращая внимания на ковырявшего землю лейтенанта.

Вдруг тот поднял голову, оглядел раскиданное по траве и кустам белье и нервно завертелся, ища что-то вокруг себя, должно быть, фуражку. Не нашел, махнул рукой, бросился к дороге. На склоне перед самой дорогой спот-

кнулся, вскочил, прихрамывая, бегом бросился в ту сторону, куда ушли с носилками.

— Проняло субчика.

— Совесть заговорила.

— Девка-то душевная ему попалась.

— Этакие хлюсты всегда сливки снимают.

Старушка, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!

6

Ноги расползаются на скользкой грязи. И хоть Василий выбрал для носилок самые тонкие жерды, но все же их концы толсты, трудно держать, пальцы не могут обхватить. Раненый грузен. На самых легких толчках он вскрикивает.

После двадцати шагов Василий, шагавший в голове, почувствовал, что если сейчас не остановится, то не удержит концы жердей, раненый упадет в грязь.

— Николай Егорович,— обессиленно окликнул он Княжева,— давай в сторонку. Мочи нет. Боюсь — не удержу...

Осторожно опустили носилки на обочину, прямо на мокрую примятую траву. Княжев перевел дыхание:

— Тяжел добрый молодец. Сзади шел, одни сапоги, считай, пес и то умаялся.

Василий разминал сведенные кисти рук.

Парень лежал на спине, чуть согнув ноги в коленях, держась руками за живот, лицо у него было по-прежнему розовое, как у человека, только что понарившегося в бане.

Заготовитель с нескрываемой жалостью на остроносом, с мелкими чертами, небритом лице рассматривал раненого быстро бегающими черными глазками.

— По двое никак не унесем,— сказал он.— Давайте четвером.

— А где четвертый-то? — спросил Василий.— Девушку не заставишь.

— Нет, нет, я смогу. Понесемте, прошу вас.

— Еще чего! Авось руки не отвалятся.— Василий нагнулся было к носилкам, чтобы снова ухватиться за концы жердей.

— Не дури, Дергачев. Человек дело советует, — оставил его Княжев. — Ты, знаем, готов надорваться теперь. Ну-ко, девонька, возмись за один копец у пог... За правый, за правый — там способнее держать. Я — в голову, вместе с Васпльем. Сергей Евдокимович, чего ждешь? Ну-ко, разом!.. Подняли... Осторожно, осторожно... Ничего, малый, терпи, как-нибудь доставим к месту. Пошли в погу...

Но четвертым в погу по скользкой дороге нести было труднее. На первых же шагах носилки качнуло, большой охнул.

— Осторожнее! Не напирайте сзади!

Двадцать первый километровый столб начинал приближаться, на нем можно было рассмотреть уже цифру.

Неожиданно у носилок появился прихрамывающий лейтенант. Секунду он молча шагал рядом с женой. Та, старательно схватившись руками за конец жерди, с трудом вытаскивала из грязи резиновые ботики, склонив низко голову, не замечала мужа.

— Наташа, дай мне...

Наташа не отвечала.

— Слышишь? Дай, я понесу. Тебе же тяжело. Ну...

— Не мешай.

— Я погорячился... Ну, дай возьму.

Лейтенант ухватился за конец жерди. Носилки дрогнули, больной застонал.

— Отойди! И здесь мешаешь.

— Наташа...

— Эй, кто там толкает? Отступись! — не оборачиваясь, крикнул Княжев.

— Товарищи, товарищи! — заспешил вперед лейтенант. — Остановимся на минутку. Я понесу.

— Иди, иди, — сердито огрызнулся Васпль. — Крутишься тут под ногами.

— С тобой не разговариваю!

— Не разговариваешь, так и не лезь.

Четверо несущих сосредоточенно, угрюмо месили грязь ногами. Лейтенант, всклокоченный, в своем косо сидящем кителе, с расстроенным лицом, попадая в лужи, прихрамывал сбоку, не спуская взгляда с жены.

— Наташа... Я же виноват. Я, честное слово, хотел... Наташенька, мне же стыдно. Ну, прости. Слышишь, прости...

Наташа не отвечала, ей было не до того: мятая косыночка висела на одном плече, глаза напряженно округли-

лись, уставились в сведенные на конце жерди руки. Впереди мерно покачивались поднятые к небу колени раненого.

— Наташенька, ну, дай же понесу. Я виноват, кругом виноват.

— Чего меня-то просишь? Ты у них... Перед всеми виноват.

— Виноват. Да, да, виноват,— обрадованно затоптался лейтенант около жены.

Та не отвечала. Тогда лейтенант бросился к голове носилок, забежав вперед, заглядывая то в лицо Княжеву, то в лицо Василию, заговорил:

— Ребята, извините... Ну, черт-те что вышло... Остановитесь, ребята. Ну, прошу... На минутку только. Дайте мне понести.

— Ладно уж,— согласился Княжев и потянул носилки в сторону.

Большого положили под километровым столбом.

Наташа облегченно разогнулась, стала поправлять спадающие на лоб волосы.

— Ну, бери, что ли! — сердито приказал Василий лейтенанту.— Через каждые пять шагов остановка. Так и к утру до Утряхова не дотянем.

— Да, да, надо быстрее. Сейчас, сейчас... Тут ведь недалеко. Нас теперь четверо,— благодарно засуетился лейтенант и вдруг, снизу вверх глянув на Василия, попросил: — Слышь, друг, прости меня. Честное слово — дурак я. Дай, в голову встану. Ну, дай.

— Ладно, ладно, смени жену лучше,— уже без сбиды ответил Василий.

— Нет, право. Ты устал. Я — в голову, ты — на место Наташи.

— Хватит торговаться. Становись на свое место,— резко приказал Княжев.

Лейтенант стал в пару с заготовителем.

Снова закачались носилки над размытой дорогой. Четыре пары сапог: одни — хлюпающие широкими кирзовыми голенищами — Василия, другие — яловые, добротные — Княжева, старенькие, морщинисто-мятые — заготовителя и щегольские, плотно облегающие икры ног — лейтенантовы,— с медлительным упрямством снова принялись месить грязь. Наташа шла сбоку, на ходу повязывая на голову косынку. В движениях ее рук, расслабленных, неторопливых, чувствовалась какая-то покойная усталость, душевное облегчение.

От столба, оставшегося за спиной, до села Утряхово, где есть фельдшерский пункт, — девять километров.

Кусты в стороне от дороги уже трудно было отличить от земли. Однообразно серое, низкое небо стало еще более сумеречным. Потемнела и сама дорога. Лишь тусклыми пятнами выделялись свинцовые лужи.

7

Сквозь тюлевые занавески, сквозь слезящиеся стекла, обдавая сырую тьму ночи теплом обжитых комнат, падал из окна желтый свет. В нем бесновато плясала серебристая пыль — нудная морось.

Там, в комнатах, все покойно, все привычно: люди в одних нательных рубахах, скинув сапоги, ходят по сухим крашеным половицам, садясь ужинать, говорят о перерастающих травах, о погоде, о мелких хозяйских заботах: несущка перестала нестись, плетень подмыло... Там обычная жизнь, только со стороны, в несчастье, понимаешь ее прелесть.

Четыре человека, спотыкаясь от усталости, изредка бросая вялые, бесцветные ругательства, медленно несли тяжелые носилки по селу Утряхово, мимо уютно светящихся окон. Жена лейтенанта, получив подробное объяснение, где живет фельдшерица, убежала предупредить ее.

Впереди на холме, как бы владея над скупой разбросанными огоньками сельских домишек, сияла огражденная огнями МТС.

— Вон к тому дому... Заворачивай не круто, — указал Княжев.

На крыльце, приподняв на уровень глаз керосиновую лампу, в накинутах на плечи пальто, их встретила девушка. Из-за ее плеча в открытых дверях выглядывала Наташа.

Мокрые, грязные, молчаливые, при тусклом свете керосиновой лампы темноликие и страшные, сосредоточенно сопя, четверо носильщиков поднялись на крыльцо, неосторожно задели концом жерди о дверь, и большой простился сдавленным стоном с темной, слякотной ночью.

В комнате, до боли в глазах ярко освещенной стосвечевой лампой, пахло медикаментами, в шкафчике за стеклом блестели пузырьки и никелированные коробочки. Вдоль стены — белая широкая медицинская скамья. И во

всей этой сверкающей белизне грязные, мокрые, с неровно торчащими концами грубо обтесанных жердей посплски вместе с большим казались куском, вырванным из тела обезображенной дороги.

Носильщики, промокшие до нитки, залепленные грязью, с осунувшимися, угрюмыми лицами, подавленные чистотой, стояли каждый на своем месте, не шевелились, боялись неосторожным движением что-либо запачкать. Фельдшерша, молоденькая девушка с некрасивым круглым лицом, густо усеянным крупными веснушками, с сочными, яркими губами, которые сейчас испуганно кривились, попросила несмело:

— Выйдите все, пожалуйста. Тут негде повернуться. Я осмотреть хочу... А девушка пусть останется, поможет мне.

Высоко поднимая ноги, словно не по полу, а по траве, с которой боязно стряхнуть росу, один за другим все четверо вышли в просторный коридор, где на скамье тускло горела керосиновая лампа.

Княжев вынул пачку папирос и выругался, скомкав, сунул в карман, — папиросы были мокрыми. Лейтенант поспешно достал свой портсигар.

— Возьмите. У меня сухие.

В его портсигаре было только две папиросы. Одну взял Княжев, другую лейтенант протянул Василию.

— Да ты сам кури. Ведь больше-то нет, — отказался тот.

— Я несколько не хочу курить. Несколько. Прошу.

С улицы донеслись металлические удары — один, другой, третий, четвертый... Отбивали часы. Княжев поспешно отвернул мокрый рукав плаща:

— Вот как — одиннадцать... А меня, наверно, ждут. Из района специально звонил, чтоб бригадиры остались. Думал, часам к шести-семи подъеду. Извините, ребята, пойду. Теперь без меня все уладится.

Пожимая директору МТС руку, Василий, заглядывая в глаза, растроганно говорил:

— Спасибо вам, Николай Егорович. Спасибо.

— Это за что же?..

— Да как же, помогли... Спасибо.

— Ну, ну, заладил. За такие вещи спасибо не говорят.

После ухода директора Василий почувствовал тоскливое одиночество. Ушел человек — его советчик, его опора, ни с лейтенантом, ни с заготовителем так быстро не сговоришься. Скоро и они уйдут... Тогда — совсем один. Де-

лай что хочешь, поступай, как сам знаешь. «Участкового милиционера искать надо...»

Василий задумчиво мял в руках окурки. Лейтенант нетерпеливо поглядывал на дверь фельдшерской комнаты. Заготовитель сидел на краешке скамейки, церемонно положив руки на колени, словно ждал приема у начальства. Наконец дверь открылась, вышла фельдшерница, на ходу снимая с себя халат.

— Надо его немедленно доставить в Густой Бор к хирургу, — сказала она убито. — Сильное внутреннее кровоизлияние. Надеюсь, печень не повреждена. До живота нельзя дотронуться, бледнеет от боли. Хирург у нас хороший, он все сделает. Только бы доставить.

От волнения и растерянности девушка заливалась краской, ее веснушки тонули на лице.

— А на чем же? — спросил после общего молчания Василий. — На чем доставить? Днем не сумели на машине проехать, а ночью и подавно не продерешься.

— На лошади тоже нельзя. Растрясет, на полпути может скончаться.

— На руках можно девять километров протащить, а не тридцать.

— Так как же быть? — заволновался лейтенант. — Умирать человеку! Мы его спасали, тащили, он умрет. Хирурга вызвать сюда! Это легче, чем везти больного. Пусть выезжает немедленно. Понимаете, девушка, надо спасти этого человека.

— Хорошо, я вызову. Но лучше бы в больницу, там все условия. У меня здесь ничего не приспособлено для сложных операций.

— Ответственности бонтесь! — загорячился лейтенант. — Условия не подходящие? Раз другого выхода нет, пусть едет, пусть спасает жизнь!

— А на чем хирург выедет? — спросил Василий. — Ты не подумал?

— В районе достанут машину. Достанут!

— Слушай, друг, я шофер бывалый, ты моему слову верь: ночью ни одна машина не пройдет. Ни одна!

— До утра скончаться может, — уныло встала фельдшерница.

— Верхом! Пусть лошадь достанет!

— Верхом? Что вы! — Девушка слабо махнула рукой. — Тридцать километров проехать верхом — надо быть кавалеристом. А Виктор Иванович и в жизни, наверное, в седле не сидел. Даже смешно об этом думать.

Замолчали. Разглядывали при свете стоящей на скамье лампы высокие, неуклюжие тени на бревенчатых стенах. Вдруг Василий хлопнул себя по лбу:

— Есть! Доставим! Будет транспорт!

— Какой?.. Где?..

— Трактор! Побегу сейчас в МТС, пока Княжев не ушел. Попрошу его дать трактор с тракторными саями. Трактору что? Он легко пройдет. А уж на саях не растрясет, как в люльке доставим. Я — в МТС!

— А я тем временем на почту сбегаю. Позволю в больницу, хирурга вызову к телефону.

— Я тоже в МТС,— обрадовался лейтенант.— Вместе разыщем Княжева.

Заготовитель, все время сидевший в стороне на скамье, во время разговора не проронивший ни слова, сейчас пошевелился, скупо сказал:

— Не даст.

— Что не даст? — повернулся к нему Василий.

— Княжев трактор не даст.

— Это почему?

— Я его знаю. Не даст.

— Ну, брат, молчал, молчал, да сказал что рублем одарил. Как же он не даст, когда сам, вместе с нами, на горбу носилки тащил? Не тот человек Николай Егорович, чтоб в помощи отказать. Пошли, лейтенант.

— Дай бог, чтоб я ошибся.

Быстрым шагом, подпрыгивая от нетерпения, шли они вдвоем к холму, где цепочкой горели огни МТС.

Лейтенант зябко запахивал на груди китель, ежился, забегал вперед, странно поглядывал на Василия. Видно было, ему что-то хочется сказать — и не решается. Василий ждал, что вот-вот он начнет, но лейтенант так и молчал до конторы МТС, лишь на крыльце перед дверью вздохнул:

— Стыдно... Черт возьми! Стыдно.

8

Директор МТС Княжев еще не ушел домой. Из-за двери кабинета было слышно, как он своей сипловатой фи-стулой сердито выговаривает кому-то:

— Также мне добрый дядя! У нас есть договор, документ законный, обе стороны подписали, печати пришлепули. Нет, я через него прыгать не собираюсь. Мало на

— Выходит: пусть человек умирает! Да как вам не стыдно, товарищ директор! — Лейтенант, бледная, подался вперед.

Княжев покосился на него и усмехнулся:

— Ты, дорогой мой, вроде не так давно тем же голосом другую песню пел.

Лейтенант вспыхнул, сжал кулаки.

— Да, пел. Да, я был подлецом, эгоистом! Назовите как хотите. Плевать на это! Но дайте трактор. Вы не имеете права не дать. Слышите! Не имеете права!

— Вот именно — не имею права, — ответил директор. — Раз такой горячий разговор, то придется вам кой-чего показать...

Княжев выдвинул ящик стола, согнувшись, порылся в нем, вытащил бумагу, протянул:

— Читайте.

Василий взял бумагу, лейтенант, шумно дыша над ухом, тоже потянулся к ней.

«Во многих колхозах в зонах Утряховской и Густоборовской МТС наблюдается невыполнение плана по подъему паров. Тракторы на пахоте простаивают. Часто они используются не по назначению. Вместо того чтобы работать на полях, возят кирпич и лес. Напоминаем, что решением исполкома райсовета от 17 июня сего года всем директорам МТС категорически запрещается использовать тракторы как транспортные машины.

Председатель Густоборовского райисполкома
А. Зундышев».

— Вот как обстоит дело, дорогие друзья. Я в МТС не удельный князь, а всего-навсего директор. — Княжев забрал бумагу. — И, как директор, я обязан подчиняться распоряжениям вышестоящих организаций.

— Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться. — Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека?

— Упрекнут, да еще как. Ты вот можешь поручиться, что этот трактор не сломается на такой чертовой дороге? Нет, не можешь. А трактор ждут, скажем, в колхозе «Передовик». Позвонят оттуда в райисполком или в райком, пожалуются — давай объяснения, оправдывайся.

— Ну и объясняйтесь, оправдывайтесь, неужели это в тягость, когда речь идет о спасении человеческой жизни? — заговорил снова лейтенант. Но Княжев пропустил его слова мимо ушей.

— Не могу рискнуть. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не гладят.

Сидевший молча мужчина с рыжими усами поднял голову, взглянул на Княжева из-под тяжелых надбровий, промолвил:

— Мало ли мы, Николай Егорович, срываем график по пустякам? Всегда у нас так: прогораем на ворохах, выжимаем на крохах. Что уж, выкрутимся. Зато человек будет к месту доставлен.

Мягкое, без намека на скулы лицо Княжева с коршуньим носом побагровело, синюватая фистула стала тоньше:

— Дерьмовый ты, Никита, бригадир. У тебя интересу к МТС несколько не больше, чем у Настасьи-уборщицы. Потому и срываем планы, потому и работаем плохо, что добры без меры, встречному-поперечному угодить рады. Мало мне в прошлый раз накостыляли за то, что колхозу «Пятилетка» два трактора выделил на подвозку камней к плотине. Нашлись добрые люди, в райком пожаловались. Хватил горя. А все оттого, что отказать не мог.

— Слушайте, товарищ директор! — Лейтенант боком, выставив плечо, потеснив в сторону Василия, надынулся на стол. — Если вы не дадите сейчас трактор!.. Слышите: если вы не дадите, я вернусь обратно в районный центр, я пойду к секретарю райкома, пойду к тому же председателю Зудышеву, я не уеду до тех пор, пока вас не привлекут к ответственности. Отказать в помощи человеку, лежащему при смерти, — преступление! Слышите: умирающему помощь нужна!

— Гляди ты, каким сознательным стал. Прежде-то со-овсем другим был, добрый молодец, вспомни-ка! — Но Княжева, видимо, задело слова лейтенанта, он говорил, и его небольшие серые глазки на мягком, по-бабьему добром лице перебрасывались то на Василия, то на сидящего рыжеусого мужчину, надеясь найти в них хоть каплю сочувствия. Но рыжеусый угрюмо опустил голову, а Василий глядел с жадной мольбой.

— Иль я не человек, иль во мне души нет? Я же первый слово сказал — парня до места надо доставить, первый же в посылки запрягся. Попросите для больного кровь — отдам, попросите для него рубаху — сниму. Но тут не мое, тут не я распоряжаюсь. Ладно, ребята, не будем зря ругаться. Попробую согласовать, откажут — не

невольте. У меня и без этого грешков достаточно по работе набралось. Еще раз подставлять голову, чтобы по ней сверху стукнули, желания нет.

Княжев сел за телефон, принялся вызывать Густой Бор:

— Барышня! Алло!.. Барышня! Соедини, милая, меня с Фомичевым. Это Княжев из Утряхова по срочному делу рвется... Как с каким Фомичевым? Не знаешь? Со вторым секретарем райкома. Первый-то в области... Как нет телефона? А в кабинет ежели брякнуть? Эх, несчастье... На работе нет, ушел домой, а дома телефон не поставлен, — сообщил Княжев, прикрывая рукой трубку. — Барышня, а барышня! Алло! Алло!.. Как бы мне, детка, Зундышева...

Василий следил, как крупная белая с плоскими погтями рука Княжева медленно и вяло распутывала скрученный телефонный шнур. Василий почувствовал непаивость к ней. В каждом ее движении — непростительная медлительность. Рука забыла о времени. Все нервы, каждая жилка натянуты до предела: там лежит раненый, в любую минуту он может умереть, время идет, надо спешить, снестить, спешить, чтоб спасти! А рука нерешительно ощупывает пальцами непослушные изгибы шнура. Невольно хочется ударить по ней.

— Ну что за наказание! — Княжев бросил трубку, сердито проговорил: — Зундышев верхом, на ночь глядя, в колхоз поскакал.

С минуту Княжев сидел откинувшись, играл на животе сцепленными пальцами, толстые губы собрались в сухую оборочку, глаза уперлись в лист бумаги, подписанный председателем райисполкома Зундышевым.

Василий и лейтенант, впившись глазами в лицо Княжева, ждали, что скажет. Директор пошевелился, глубоко-глубоко вздохнул, уставился мимо Василия куда-то в дверь своего кабинета, пропзнес:

— Не могу. Не будем больше уговаривать друг друга. Не могу!

— Николай Егорович!

— Не будем уговаривать!

Княжев встал, выставил грудь, неподвижными, холодными глазами уставился на Василия и лейтенанта. Те переглянулись, поняли, что разговор кончен, директор ничего не сделает.

— Пошли, — сказал Василий.

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил.

Василий обернулся у дверей:

— Чего там! Молчали бы лучше!

Лейтенант глухо добавил:

— А я свое сделаю: припеку тебя, бумажная крыса! Хлопнула дверь...

На улице они, не сознавая, куда торопятся, что будут делать дальше, бросились опрометью бежать от МТС.

— Ничего не понимаю, ничего! Зачем он тогда нес? Зачем? — бормотал на ходу Василий.

Лейтенант схватился за голову:

— Что за люди! Что за люди живут! Бывают же такие на свете! Я бы этого гада без суда... Какой подлец! Ка-кой подлец!

— А куда мы бежим? — спросил Василий.

Оба остановились.

Дождь перестал, но воздух был переполнен влагой. Сырую тьму, накрывшую село, кое-где прокалывали желтые, тепленькие огоньки. Люди ложились спать. Для них всех кончился день, вместе с ним на время отошли заботы.

— Куда мы?.. — Василий растерянно глядел на лейтенанта.

Что-то падо было делать, как-то пужно было помочь, помочь немедленно, не теряя времени. Прийти к больному и над его головой беспомощно развести руками — невозможно.

— Есть же здесь какое-нибудь начальство.

— Председатель сельсовета есть. Вот и все начальство.

— Понили! Найдем его. Он здесь Советскую власть представляет. Так и скажем: прикажи именем Советской власти!

Чавкая по грязи, они бросились в темноту, к сельскому совету. Лейтенант бормотал на ходу:

— Именем Советской власти... Вот так-то! Именем...

И от этих слов у Василия росла уверенность — пусть-ко попробует Княжев отказать, пусть-ко отвернется, святые слова, против них не попрешь. Только бы отыскать председателя, только бы он, как районное начальство, не уехал куда-нибудь!

Оказалось, что председателя сельсовета не надо было искать. Он с семьей жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, и вышел при первом же стуке.

— Чего на мокроту-то толковать? Пойдемте под крышу, — пригласил он.

Два стола по разным углам, облезлый шкаф, широкий, как печь, телефон на стене в окружении старых плакатов о яровизации, крепко затонтанный за день пол и казенный запах чернил... Но Василию на минуту эта комната показалась уютной — тепло, сухо, можно бы опуститься на стул, всласть посидеть, расправив ноющие ноги. На минуту он почувствовал страшную усталость, но сразу же забыл ее.

Председатель сельсовета, долговязый, узкогрудый человек, с крупной, никнувшей к полу головой, в седой небритости на вправшей щеке зацепилась белая пушилка (верно, уже успел приложиться к подушке), серьезно выслушал, вздохнул:

— Эко ведь оказия какая... Прямо беда с нашими дорогами, прямо беда... Только чего вы от меня хотите, никак не пойму?

Лейтенанта, минут пять до этого сердито и крикливо объяснявшего, передернуло:

— Трактор помогите вырвать у этого остолопа! Трактор! Не на закорках же тащить больного!

— У Николая Егоровича... Эко! Да ведь я же ему не указчик. Он району подчиняется. Станет ли меня слушать...

— Вы здесь представитель Советской власти. Пойдемте вместе с нами, скажите как официальное лицо: именем Советской власти требую спасти человека! Спаси!

— Эх, дорогие товарищи.— Председатель скорбно покачал головой.— Ну, скажу, а оп мне: в районе тоже, мол, Советская власть, и покрупнее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут, коль есть указание из райисполкома.— В нижней рубахе навывпуск, сквозь расстегнутый ворот видна костлявая, обтянутая серой кожей грудь, всклокоченная голова опущена: вся долговязая фигура председателя выражала сейчас покорную безнадежность.

— Ежели б лошадь... Я бы мигом сбегал...

— На кой черт нам лошадь! Это и сами достанем. Трактор нужен. Ты обязан помочь больному. Вот и доставай, не отвливай.

— Вы ж взрослые люди. Не турецким языком объясню: Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся. Только район указание ему дать может. Ежели б лошадь, это я разом... Над председателями колхозов и я начальство.

— Неужели здесь нет управы па Княжева? — В голосе лейтенанта зазвело отчаянье.

— Вот если б Куманьков...

— Куманьков?.. Кто такой Куманьков?

— Да зональный секретарь райкома...

— Ах да, ведь и зональный секретарь есть... Сколько начальства кругом, а никого не раскачаешь! — Лейтенант оживился. — Где этот, как его... Куманьков?

— То-то и оно, — с прежним унынием произнес председатель сельсовета. — Куманьков живет в Густом Бору, там у него дом свой, семья, а сюда ездит то на недельку, то дней на пять, почует в соседней комнате, в кабинете моем. Там диванчик, так на этом диванчике и спит... Все на клопов жалуется...

Василий, подчинившийся энергии лейтенанта, молча переживал за его спиной, но сейчас он вдруг оттолкнул товарища, шагнул на председателя.

— Человека-то надо спасти или нет? — закричал он придушенным, стонущим голосом. — Вы все здесь бревна или люди? По-вашему, пусть сдыхает!

И этот стонущий голос, землистое от усталости, сведенное судорогой лицо, протянутые в темных ссадинах руки подействовали на председателя сельсовета больше, чем выкрики и угрозы лейтенанта. Без того покатые, узкие плечи опустились еще ниже, длинный, нескладный, с нечесаной головой, он как-то обмяк, па небритом лице, как в зеркале, отразилась точно такая же гримаса боли и отчаяния, какая была у Василия.

— Милые вы мои, — заговорил он проникновенно, крупной костлявой рукой пытаясь поймать пуговицу на распахнутом вороте рубахи. — Милые мои, да я бы разом в колхоз слетал... Сапоги патяну да плащ на плечи наброшу — минутное дело. Тут рядом председатель-то колхоза живет. И па лошади парня выручим. Ребят крепких подберем, где пужно — па руках понесем. Сам до Густого Бора провожу... А с Княжевым мне толковать — лишнюю муть разводите. Бог с ним. Мне через голову Николая Егоровича трактор не достать, не под силу... На лошади давайте...

У Василия ослабли ноги. Над сердцем у него что-то па-

тягивалось, патягивалось и теперь лопнуло. Исчезло желание просить, умолять, доказывать.

— Пошли, лейтенант. Чего уж...— сказал он невнятно, словно поворочал языком камень во рту.

Но лейтенант обеими руками вцепился в плечи председателя, маленький, напряженно вытянувшийся, глядя снизу вверх бешеными глазами, стал трясти:

— Нет, ты не за лошадью пойдешь. Ты пойдешь вместе с нами к участковому милиционеру. Пусть он силой вырвет трактор у Княжева. Слышишь ты, хоть оружием, да спасет человека!

Председатель, покорно качая головой от лейтенантовых трясков, лишь устало обронил:

— Дураки вы, ребята...

Разбрызгивая лужи, остунаясь в грязь, они снова бросились бежать по ночному селу. А вслед им с крыльца сельсовета долго маячила белая рубаха председателя. Когда Василий обернулся, что-то виноватое, тоскливое и в то же время укоряющее почудилось ему в этом смутно белеющем пятне. Лейтенант решил сам поднять на ноги участкового милиционера.

— Разве законно оставлять на смерть человека? Незаконно!.. Так будь другом, прикажи, раз ты блюститель законов. Под дулом пистолета прикажи, коли словом не прошибешь дубовую баншку...— разговаривал он на бегу.— Который же это дом?.. Третий пробежали, четвертый... Вот этот, кажется... Стучи, не жалея кулаков... Ишь ведь, все спать поукладывались!

На стук четырех кулаков долго не было ответа. Накопец за дверь с грохотом что-то унало, послышалась сердитая ругань, вслед за ней сильный голос спросил:

— Кто шумит? Чего надо?

— Участковый здесь живет?.. Человек при смерти, спасайте!..

— Так.

Это «так» было похоже на смачный удар топора в мясистое дерево, в нем чувствовалось не удивление и не огорчение, а решительная готовность спасать, действовать. Щелкнула задвижка, распахнулась дверь, кто-то большой, неуклюжий шагнул в темноту, снова что-то уронил на пути, объявил:

— Обмундируюсь вмиг. Законный порядочек на себя наведу... А вы зайдите, что ли...

Пока, натываясь в темноте на кадушки, на грабли, влезая руками в развешанные по стене сети, лейтенант

и Василий пробрался через сенцы, шагнул в освещенную комнату, участковый был уже облачен в свой милицейский китель и фуражку, шагнувшись, с налитой кровью могучей шеей, искал под лавкой сапоги.

— Куда их девала глухая баба?.. Дуся! Эй! Ты сапоги куда поставила?

— Да в сенцах сохнут. Вымыла. Изгваздал так, что в руки не возьмешь, — раздался из-за перегородки сонный женский голос.

— Встань-ко да принеси. А то у тебя в сенцах сам сатана вывеску своротит... Я вас слушаю, товарищи: что, где, какое происшествие — по порядку.

В распахнутом кителе, в фуражке, лихо съехавшей на одно ухо, крепко поставив на половике босые ноги с болтающимися завязками галифе, сам рослый, красный, на зависть здоровый, участковый начальнически оглядел простоволосого, растерзанного лейтенанта, на Василия же не обратил внимания.

— Вот у него сорвалась под откос машина... — вновь принялся горячо объяснять лейтенант.

Сонная, недовольная, жидкие сухие волосы рассыпаны по плечам, не взглянув на незваных гостей, прошла через комнату жена участкового.

— ...Закон не может допустить, чтоб человек умер без врачебной помощи. Вы должны потребовать от Княжева трактор. Приказать ему...

— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта. — Объясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано. Ежели бы капитан Пичугин, начальник густоборовского отделения милиции, нарисовал распоряжение: так и так, товарищу Кошылову, мне то есть, вменяется в обязанность конфисковать на энное количество времени трактор, я бы...

— Пошли, лейтенант, — сердито произнес Василий.

— Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными. Так!

— Пошли, — согласился лейтенант.

— Нет, обождите! Тут надо еще разобраться, раскрывать виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойненько, пункт за пунктом, нарисовать протокол...

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии... Протокол важен, а не человек... Пошли!

Растерзанный ли вид лейтенанта, его ли глухое безразличие или же просто отсутствие сапог на ногах участкового милиционера, но так или иначе тот не остановил ни лейтенанта, ни Василия, не стал их преследовать.

По-прежнему сырая ночь висела над селом. Как прежде, кое-где прокалывали тьму тепленькие огоньки, только заметно стало их меньше. Как прежде, на бугре светились фонари МТС. Василий и лейтенант топтались посреди грязной улицы: куда идти, кому пожаловаться — не придумаешь.

Вдруг словно какая-то громадная ладошка беснуемо накрыла село. Без того густая темнота стала вязкой до удущья. И фонари в МТС, и редкие желтенькие огоньки в окнах домов — все, все до единого разом потухли. За тридцать километров отсюда районная ГЭС в Густом Бору кончила свою работу до следующего вечера. Это значит, во всем селе, кроме фельдшерского пункта да, верно, еще телефонисток на почте, нет ни одного человека, который бы не лег спать. Кто-то мирно похрапывает, кто-то пускает в подушку сладкую слюну, кто-то, быть может, ворочается, перебирает озабоченно в уме: не скошен лужок за домом, свалилась изгородь...

Как можно?! Такой же, как все лежащие сейчас в теплых постелях, человек, быть может, не увидит завтрашнего дня! Нельзя допустить этого! Нельзя не помочь!.. А все снят...

Высоко над грязной улицей пробежал ветерок, шевельнул оторванным железным листом на крыше, смолк... Тишина и темень без просвета, без единой светленькой точки. Мертво кругом...

Василий и лейтенант, не сказав ни слова друг другу, сорвались с места и побежали.

Больной ждал, больной с минуты на минуту мог умереть. Надо спасти! Надо что-то сделать! И скорей, только скорей!

Фельдшерица сообщила, что хирург выехал навстречу в райисполкомовском «газике», но не ручается, что доберется до места, наказал — любыми средствами вывезить раненого навстречу.

Раненый лежал на скамье боком, поджав ноги, часто мигая, глядел в угол. Лицо его сильно осунулось, круп-

ные скулы выдались вперед, обметанные губы были плотно сжаты. Он не стонал. Рядом с ним сидели жена лейтенанта и заготовитель, что-то утешающе рассказывавший:

— ...Шибко кричал, метался, память терял. А теперь Игнат Ануфриевич как новенький полтинничек, десятником на сплаве работает. Такие бревна ворочает — глядеть страшно.

Сообщение, что директор Княжев не дал трактора, не возмутило заготовителя. Он лишь повторил с безнадежной покорностью:

— Я его знаю. Уж он такой... Аккуратный мужик...

В сенях, собравшись возле покойно горящей на скамье лампы, снова стали вполголоса советоваться.

— Лучше бы уж ехал хирург на подводе, хоть медленно, но верно, — произнес Василий. — А так — застрянет. В райисполкоме шофером Пашка Кривцов, десять лет в городе по асфальту гонял, привык, чтоб дорожка для него была как скатерка. Не зря же Зундышев на верховой лошади по колхозам скачет.

— Что об этом говорить, — вздохнула фельдшерица. — Уж выехали, не позвонишь теперь, не посоветуешь... Может, еще раз попробовать уговорить Княжева.

— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокурору! — вскипел лейтенант.

— Мертвое дело. Не пропибешь. Давайте думать, как самим вывезти.

— Что думать? — Фельдшерица безнадежно устала на язычок лампы. — На мапине нельзя... Да и за машиной-то к тому же Княжеву иди кланяйся. Один выход: попробуем на лошади. Боюсь я этого — растрясет. Мука мученическая для человека.

Решили везти больного на подводе.

Сонный, суровым баском покашливающий дядя Данила (как его называла фельдшерица), без шапки, в пальто, из-под которого выглядывали белые подштанники, топузи в голенищах резиновых сапог, вывел брюхастую лошаденку, запряг в телегу. Набросали сена, укрыли сено холстинным половичком. Фельдшерица принесла из своей комнаты две подушки. С помощью дяди Данилы вынесли на брезенте парня. Когда укладывали, больной стонал, скрежетал зубами.

— Потерпи, дорогой, будь умницей. Потерпи, — уговаривала его фельдшерица, укрывая одеялом. — Вот видишь, славно тебя пристроили. Тепло будет.

— Одеться мне, Константиновна? Помочь возьми-то? — спросил дядя Данила.

— Не надо. Иди спать. Со мной вон шофер поедет. Да и лейтенант с женой собираются проводить, — ответила девушка.

Заготовитель, вновь облаченный в свой обширный, стоящий коробом плащ, прощался.

— Ты, парень, не бойся. В случае чего, судить будут, мы за тебя слово скажем, — утешал он Василия. — А вы, гражданин военный, как свои вещички отыщете, возвращайтесь сюда и стучитесь, по этому порядку пятый дом. Там у меня сноха живет. Переночуете. Ну, счастливо вам довести человека. Счастливо...

Василий взял в руки вожжи. Жена лейтенанта и фельдшерница с минуту поспорили, кому ехать в ногах у больного, уступали друг другу это право. Тронулись... При первом же толчке парень застонал...

Кое-как дотянули только до маленькой деревеньки Ващьяновки, лежащей на дороге в четырех километрах от села. Василий обессилел от криков раненого. Парень умолял хриплым голосом:

— Остановитесь! Все одно мне помирать!.. Остановитесь!.. Прошу!.. Умру, так в покое! Ой, мочи нет! Ой, стойте же!

В Ващьяновке привернули к первому же дому. Василий утер рукавом лицо:

— Сил нет больше слушать.

Женщины, всю дорогу утешавшие, теперь подавленно молчали. Лейтенант подошел к жене:

— Наташа, жди меня здесь. Я найду.

— Куда?

— Обратно в село. Я этого подлеца вытащу! Я вырву у него трактор. Если не даст, в каждый дом стучать буду. Весь народ на ноги подниму. Бунт устрою! Вырву трактор!

Он бросился в темноту.

— Я с ним пойду, — рванулся Василий.

— Нет-нет, случись что — мы одни, — остановила фельдшерница. — Он добьется... — Помолчав, спросила жену лейтенанта: — Давно вы замужем?

— Третьего дня расписались.

-- Счастливая...

Жена лейтенанта промолчала. Василий не увидел, но почувствовал, как она боязливо покосилась на него — не

возразит ли. А Василию почему-то припомнилась Груня Быстряк, библиотекарьша в селе Заустыяиском: крупное белое лицо, брови чуть-чуть намечены, если глядеть сбоку, золотятся, только коротенькие ресницы темные. Другие ребята говорят: ничего особенного, а ему нравится. Умная... И то, у реки жить да не знать, как плавать, — среди книг сидит. От этого воспоминания тоска сжала сердце: арестуют, судить будут. И так-то он ей не пара: шофер, семилетку не кончил, одна наука — крути баранку. Теперь и вовсе отвернется — какой девке охота ждать осужденного. Мечтал тайком о жене, о своем доме, надеялся, жил, как умел, — и вот сегодня все к черту, жизнь колесом, перекалечило ее. Не смей мечтать, не смей надеяться. Тяжело и жутко заглядывать в завтрашний день.

Девушка-фельдшерица, привалившись грудью к грядке телеги, говорила задумчиво:

— Да, счастливая... Все девчата знакомые скрывают, что им замуж охота. А зачем скрывать? Найти хорошего человека и прожить с ним спокойно, без ссор, умно — это разве не счастье? А кто от счастья отказывается?

— Вы не замужем? — спросила жена лейтенанта.

— Нет.

— Значит, найдете человека.

— Где мне! Я некрасивая, я конопатая и скучная, паверное. Присваивается ко мне тракторист Пашка Мигушип, так это находка небольшая: слова без чего-нибудь пакостного не скажет, да и выпивает частенько. Как заявится, гоню от себя... Ой, да вы устали, еле на ногах стоите! Пойдемте в избу, я провожу. Идемте, идемте, что зря торчать в этой сырости.

Женщины ушли. Василий остался один.

Только сейчас он заметил, что погода разгуливается: упрямо дует ровный, напористый ветерок — от него холодно во влажной одежде; тучи на небе прорвались, сквозь прорывы видны крупные, водянисто расплывшиеся звезды. На окраине деревеньки — глухая тишина, ни скрипа, ни шороха, только, когда с напряжением вслушиваешься, со всех сторон доносятся непонятные звуки — тяжелые ли капли падают с крыш, лопаются ли пузыри на лужах, расползается ли земля от обилия воды?.. Василий, закинув голову, смотрел на звезды, слушал эти звуки всеобъемлющей сырости и думал о чем-то большом, неясном, о таком, которое никак бы не смог рассказать словами.

Много пассажиров перевез Василий на своей машине от Густого Бора до станции и обратно. Для чего он их во-

вил? Чтоб вышибить деньги. Считал — так и должно быть. Сейчас хотелось сделать что-то большое, чем-то хорошим удивить людей. Что сделать? Как удивить? Он не знал. Было лишь желание непонятное, пезнакомое, тревожащее.

— Друг... — слабо позвал раненый, и Василий вздрогнул. — Должно, каюк мне.

— Ты брось дурить. Вот сейчас трактор придет. Лейтенант побежал доставать. Парень пробивной — достанет.

— Нуtro разрывает...

— А ты лежи, не певелись... Думай о чем-нибудь. Старайся забыть о болезни, думай, легче переносить-то... Эх, как это ты не сумел? Старухи выскочили, а ты сплеховал.

— Там борт был проволокой прикручен... Голенищем заценил... Зацепкался...

— За проволоку? Эх!

Разговаривал с Княжевым, помогал запрягать лошадь, вез по разбитой дороге кричащего раненого — все это время ни на минуту не покидало Василия лихорадочное беспокойство: скорей, только скорей! Оставшись один, глядя на размытые звезды, на расплывшиеся в ночной тьме деревья, он забылся, успокоился... Сейчас же, наклонившись над парнем, всматриваясь в темное лицо на белой гудушке, улавливая сухой, болезненный блеск его глаз, Василий почувствовал, как с новой силой заметалась в тревоге изболевшаяся душа: «Ждем! Стоим! Время идет!.. Где же трактор? Эх, этот Княжев! Будь он проклят!»

Лошадь, дремавшая в оглоблях, потянулась вперед, лениво захрукала сеном. Тихо кругом, спят люди. Нет другого выхода, как только ждать, ждать, ждать! А ждать тяжело! Ждать невыносимо!

Где-то по знакомой Василию дороге едет теперь человек, он могущественный, он сильный, он один, только он может помочь этому парню. Вместе с болью за свою беспомощность появилась благоговейная зависть к тому неизвестному, наделенному дерзким умением человеку. Он может отогнать смерть! Вот бы стать таким, жизни бы своей не жалел, покоя не знал, ходил бы от больного к больному, приносил здоровье. Недоступное, великое счастье! Из дому выпла фельдшерица, приблизилась к телеге, спросила пригибаясь:

— Как наш больной?

— Мучается.

— Трактора что-то долго нет.

Василий застыл на секунду, с напряжением вслушался.

ся — а вдруг да как раз в эту минуту донесется стук мотора. Но лишь лошадь шелестела сеном да воздух был заполнен таинственными звуками залитой дождями земли. Василий ответил:

— Будет трактор.

— Конечно, будет.

От девушки, побывшей в избе, шел какой-то теплый, чуть кисловатый домашний запах. Платок ее сбился на затылок, открыл густые волосы, черты лица расплылись в темноте. Она, невысокая, чем-то уютная, успокаивающая, и своим видом и ровным голосом стала близка Василию: желания у них одни, боль одинаковая, понимают друг друга с полуслова, даже удивительно, что всего каких-нибудь четыре часа назад они не были знакомы.

— Вы много спасли больных?

Девушка подумала и ответила:

— Да ни одного.

— Как это? — тайком обиделся Василий.

— Ко мне все с пустяками приходят: гриппом заболеют или же бабка Казачиха с ревматизмом своим заглянет. Выпишешь рецепт на порошки, на бутылку скипидара, — какая уж тут спасительница.

— Ну, а хирург?..

— Виктор-то Иванович? Он многих спас. Знаете такого Леснякова Федора Ефимовича? На ссыпном пункте работает. Умирал от язвы желудка... Что это?.. — Девушка замолчала, прислушалась.

Но все было по-прежнему, лишь от слабого ветерка тронулись шелестом деревья и стихли.

Тянулось время. На небе стали отчетливо заметны рваные облака, на грязной дороге можно было различить рваные вмятины, комковатые выступы, а на стенах избы — каждое бревно: светлело...

Василий первый уловил еле слышный стук мотора.

Подошел трактор, и сразу стало шумно на окраине маленькой спящей деревеньки. Сильный свет фар уходил в глубину пустынной улицы, стучал бодро и решительно мотор. С тяжелых и широких, как железнодорожная платформа, саней соскочили два человека — лейтенант и какой-то незнакомый, узконогий, гибкий, чернявый, в коротеньком городском плаще.

— Наделали шуму! Я, брат, разузнал, где секретарь парторганизации живет. Я всех эмтэсовских коммунистов поднял. То-то Княжев будет чесаться! Раньше бы нам побегать. — Лейтенант говорил возбужденно, не без хвастов-

ства. Он потащил Василия к чернявому.— Спасибо ему скажи. Иван Афанасьевич мне помог...

Но Иван Афанасьевич подошел к телеге, заглянул к больному:

— Жив?.. Э-э, да что это он? Бормочет что-то...

Фельдшерица подошла, пригнулась, сообщила:

— Бредить начал. Надо ехать скорей.

С трактора слез знакомый уже Василию рыжеусый бригадир, закуривая, обронил:

— Хорошо, что жив еще. А то пока с Княжевым кашу сварить...

— Где Наташа? — спросил лейтенант, оглядываясь.

— В избе она. Спит. Устала.

— Вы поезжайте. Я подожду здесь, пока она не проснется. Лошадь-то оставьте, мы чемоданы свои привезем в село. Старушку эту с корзиной встретил, в деревню, говорит, чемоданы снесли. Как ее, Ольховка, что ли?..

Василий хотел проститься с лейтенантом, поблагодарить его, но тот поспешил к избе. Так и исчез этот человек, даже не бросив обычное «до свидания».

Выгребли из-под больного сено, разостлали на платформе саней. Больной не очнулся, бормотал в бреду:

— Ребята, заходи с мереей... Под берег, под берег заводи...

Василий и девушка уселись в ногах у больного. Чернявый Иван Афанасьевич сделал последние наставления рыжеусому:

— Никита, как доведешь, не задерживайся там. Сразу обратно. Слышь? И осторожно, смотри, не бревна везешь. Трогай... Ну, ребята, счастливого вам пути!

Трактор осторожно сдвинул сани. Они, громоздкие, тяжелые, мягко заскользили бревенчатыми полозьями по податливой, как масло, дорожной грязи.

Чем больше светлело, тем становилось понятней, что на землю навалился густой туман. Сначала этот туман казался серым, каким-то невымытым.

Трактор уперся радиатором в глухую мутную стену, казалось, стоял, не подвигаясь вперед, и только гусеницы его сосредоточенно пережевывали грязную дорогу.

Скоро мертвенная мгла стала оживать. Медленно, робко сбоку от дороги начал просачиваться пятнами тусклый

лиловый свет. Он нирился, расплывался, смывал бесцветную муть. И вот торжественный, сияющий океан окружил трясущийся от напряжения трактор и неуклюжие сани. Где-то, невидимое, возило солнце, жидким светом растворялось в тумане.

Земля, в течение многих дней прозябавшая в дождях и слякоти, с облегчением освобождалась от влаги. С восходом солнца туман, казалось, стал еще плотней.

Трактор трудился. Сани скользили, лишь кое-где мягко оседая то на один, то на другой бок. Дорога, вчера хитрый, опасный враг, дорога, изматывающая силы, теперь покорилась. Ни капризных колдобин, ни коварных ловушек. Гусеницы трактора с равнодушной методичностью заведенной машины кромсали эту смирившуюся дорогу, направляли ее под тяжелые бревенчатые полозья, те утюжили, пригладивали...

А Василий казнил. Он не мог глядеть на облепленные крутой грязью гусеницы, ему казалось, что трактор еле-еле ползет, что рыжеусый бригадир, сидящий за рычагами, преступно осторожничает. Пытка сидеть над больным и видеть ленивое движение гусениц! Василий не выдержал, соскочил с саней, догнал трактор, крикнул:

— Ты, дорогой, поднажал бы! А то ползем, как вошь по борде.

— Раньше надо было спешить. Не докричал на Княжева, так теперь молчи, — сердито огрызнулся бригадир. — Это тебе не «скорая помощь».

Трактор не пошел быстрее, гусеницы с прежней медлительностью пережевывали грязь. Василий старался не глядеть на них.

Раненый с минуты на минуту чувствовал себя все хуже. Он метался, дико вскрикивал, и эти вскрики, едва отлетев от саней, как в вате, глохли в тумане. Фельдшерица попросила на минутку остановить трактор, суетливо порывшись в чемоданчике, достала несколько флакончиков и шприц, с помощью робющего от своей неуклюжести Василия сделала укол.

Больной на время успокоился. Он лежал на боку, подтянув к животу колени, закрыв глаза. На скулах двумя круглыми пятнами пунцовел румянец.

Василий и фельдшерица сидели рядышком, не говорили ни о чем, лишь изредка обменивались взглядами, вместе устало вздыхали. Теперь, с рассветом, девушка казалась Василию новой, не такой знакомой. Темные, с рыжим от-

дивом волосы упрямой волной выбились из-под платка, расплывчатые, бесхитростные черты лица и широкий, мягкий нос нельзя представить без густых веснушек. Некоторые из веснушек, казалось, даже попали на губы, по-детски вытянутые вперед, яркие. В платке, в мужском плаще с подвернутыми вверх клетчатой подкладкой рукавами, она, нахохленная, задумчивая, бледная от усталости, покачивалась на мягких толчках. Василий же испытывал к ней благодарность за то, что она беспокоится о больном, за то, что она больше него понимает в болезни, просто за то, что сидит рядом.

Раненый пошевелился, застонал, откинув в сторону руку. Она унала на разостлаанный на грязных досках половичок — широкая, костистая, в узловатых суставах, похудевшая, какая-то старческая. На лбу под всклокоченным сухим соломенным чубом снова обильно выступил пот.

— Плохо наше дело,— произнесла девушка.— Даже укол не помог... Не довезем.

Василий глядел на больного и думал о том, что этот совсем незнакомый парень дорог ему сейчас, как брат, даже больше брата. Он самый близкий человек. Какая бы удача ни случилась — пусть простили бы разбитую машину, не передали бы в суд, оставили на прежней работе,— все равно не будет радости, если умрет этот парень. Не должен он умереть! Не должен! Если б Княжев сразу дал трактор, давно были бы в Густом Бору, парень лежал бы на операционном столе... Будь проклят этот Княжев, взваливший на него, Василия, нескопчаемую, страшную пытку!

Раненый вдруг резко вытянулся, оскалился, с силой втиснув в подушки голову, изогнулся, вцепился руками в живот.

— Милый! Милый! Да что с тобой?.. Ляг спокойно, ляг...— засуетилась испуганно девушка.

Василий с отчаянной беспомощностью зашевелился.

— О-о-о! — выдохнул большой и обмяк.

Лицо его, посиневшее во время порыва, стало медленно заливаться зеленоватой бледностью. Сведенные на животе руки ослабли, стали сползать, пока не уперлись локтями в подстилку. Голова свалилась набок, из-под белесых ресниц водянистым голубым прищуром уставились мимо Василия глаза.

Фельдшерица, сама мертвенно-бледная, нервно заворачивая сползавший рукав плаща, схватила вялую, податливую руку парня, стала нащупывать пульс. В эти минуты

ее веснучатое лицо, направленное куда-то в затянутое туманом пространство, было решительным, строгим, почти красивым. Василий затаил дыхание, ждал...

Трактор, однообразно стуча мотором, вертел густо облепленными грязью гусеницами. Железный трос от трактора к саням мелко дрожал от напряжения. Мимо прозрачными тенями ползли закрытые туманом кусты и деревья.

Девушка бережно опустила руку больного.

— Как? — тихо спросил Василий.

— Плохо дело. Не довезем.

Больше больной не стонал. Ему уложили голову на подушку, подоткнули с боков сено. Неподвижный, с выставленным вверх квадратным подбородком, он глядел в обложивший землю туман загадочно прищуренными глазами. Он пока дышал...

В туманном море, залившем землю, исчезло всякое понятие о расстоянии и о времени. Даже километровые столбы проходили мимо, где-то стороной, не останавливая внимания.

Василий потом не мог вспомнить — долго ли они так ехали. Его внимание привлекла рука парня, вцепившаяся в половичок. В скрюченных пальцах, сжавших толстый, потертый хвост, было что-то камешное, суставы на пальцах побелели, на коже с тыльной стороны ощущалась неживая восковая желтизна.

Василий тронул фельдшерницу за плечо, указал глазами на руку. Она под села к раненому, положила на грудь голову, на минутку застыла, словно задремала на груди парня, разогнулась, оттянула ему веки, тихо, тихо сообщила:

— Все.

Остановили трактор. К саням подошел рыжеусый бригадир, мельком покосился на умершего, осторожно поправил ему откинувшийся борт пиджака, произнес:

— Так... Не довезли...

Василий стоял у саней, тупо разглядывал парня. У того под сухим чубом, на оостеневшем лбу еще видны были капельки пота, как роса на камне. Фельдшерница сидела на своем обычном месте, беспомощно сложив на коленях руки, вскидывая и сразу же опуская жалостливые, горестные глаза.

— Что теперь делать? Везти-то к хирургу вроде уж незачем? — спросил бригадир.

— На вскрытие надо... Поехали... — слабо произнесла девушка.

Бригадир послушно направился к трактору.

Туман медленно рассеивался. Из него выползли кусты, уселись на обочине дороги. Солнце висело красноватым кругом. На лице и руках чувствовалось тепло его лучей. Неожиданно трактор снова остановился. Впереди показалась высокая фигура, осторожно ступая по скользкой грязи, стала приближаться.

— Виктор Иванович! — слабо воскликнула фельдшерица. — Пешком идет...

В шляпе, сбитой на затылок, с маленьким чемоданчиком, в засученных брюках, — на палке, переброшенной через плечо, болтаются туфли, — оскальзываясь босыми ногами, подошел хирург, снял шляпу, вытер платком лоб, лысеющую голову.

— Опоздал? — спросил он, кидая взгляд на тело, лежащее посреди саней. — Долго же вы... У меня машина застряла сразу же за городом. Пешком-то быстро не приедешь. Дайте-ка руку, молодой человек. Так!..

С помощью Василия хирург влез на сани. В шляпе, узколиций, с костистыми скулами, умной, ехидной складкой тонкого рта, этот высокий, нескладный интеллигентный человек выглядел сейчас странно со своими босыми ногами, до белых немощных икр заляпанными грязью.

Сдвинув на затылок шляпу, он приподнял на животе умершего рубашку, внимательно оглядел, ощупал рукой. А парень, задрав вверх упрямый подбородок, казалось, сосредоточенно прислушивается к тому, что делает с ним доктор.

— Камфару впрыскивали? Сколько? — бросал отрывистые вопросы девушке.

Наконец он сел, махнул рукой трактористу: поезжай.

Трактор снова начал свою несложную работу — бесконечной грязной лентой потекли вверх гусеницы, задрожал трос...

— Доктор, — хрипло обратился Василий, — если бы раньше привезти, вы бы спасли его?

— Возможно, — ответил тот. — Вполне возможно. Что-то медленно вы, друзья, собирались. Преступно медленно! Надо было не забывать, что на вашей совести лежала человеческая жизнь. Э-э, да что с вами, молодой человек? Это еще что за фокусы?..

Судорога прошла по лицу Василия. И угрызения совести, и жалость, и бессонная ночь, нервное напряжение, и усталость — все вместе лишило сил. По обветренным ще-

кам потекли слезы, редкие, крупные, мучительные — слезы человека, не привыкшего плакать.

— Боже мой, да что это вы? Успокойтесь... Вам прилечь надо.— Девушка забрала грубую руку Василия в свои мягкие, теплые ладони, сама глядела блестящими от сдерживаемых слез глазами.— Он измучился, Виктор Иванович. Все бегал, хлопотал. Тут на такое наткнулись...— И она, переводя взгляд то на Василия, то на хирурга, принялась торопливо, нескладно рассказывать о том, как Княжев отказал дать трактор. Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчав, и повторил: — До убийцы выросший бюрократ! — Повернувшись к Василию, указывая глазами на мертвого, спросил: — Ваш знакомый?

— Нет.

Василий вытер рукавом куртки глаза и отвернулся, подавив тяжелый вздох.

Туман исчезал. Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом, радостно тонорщились зеленой листвой. В них пересвистывались птицы. Ласточки, должно быть, брачная пара, словно родившись из мутноватого голубого неба, появились над головами, сверкнули белыми грудками и умчались, растаяли, оставив о себе лишь воспоминание — два крошечных, упругих комочка, воплощение силы, ловкости, бодрости...

Трактор добросовестно тянул широкие сани по густо замечанной грязи, по лужам.

Чудотворная

1

Каждый год, в то время когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, куски земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи:

В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на вышолзней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клев или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.

Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтобы сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадежно мертв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.

Родька поднялся на затекшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит темный угол какого-то ящика. Родька подошел, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хорошили что-то в землю... Река открыла... — Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо отканывать.

Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскатать и выдернуть из песка находку. Положив ее к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжел, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки,— такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не распозалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина.

«Ишь пряталн. Мешковина и та просмолена... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подергивало косточки в коленках.

Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжелую доску.

Большая, темная, словно закопченная доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением ее разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован.

Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но темные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчетливее. По-прежнему не столько сами черные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая борода соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька все лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашел икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня ненутевого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтесывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалуящуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расплзется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская как доска; лицо тоже широкое, угловатое с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок спокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!

Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца, — собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костерчик. Сопревшие под снегом, не совсем еще высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.

К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зеленый прищур глаз сквозь белесые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намек нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бедрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупкие плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит

на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставив ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперед, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выключается из такого Грач под стать старой Грачихе.

— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды.— Варька, иди картошки свиные патолки. Пущай гулявый будылье таскает.

— А я икону нашел,— похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не дает из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, взгляделась, сурово спросила:

— Где нашел?

— Говорят, в берегу выкопал. В ящике заколочена была.

— Иди-ка сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Иисусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки среди дубленых морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетенной прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в легонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжелая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крестное знамение.

— Свят, свят... Иисусе Христе праведный... Варенька; голубушка, взгляни-ко, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, пропащая,— подтвердила серьезно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новаявленная.

Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок ее совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.

Родька подозрительно, исподлобья проводил ее взглядом: что-то бабка серьезно схватилась за икону, даже работу бросила, начнет потом зудеть, что, да как, да где нашел, скажешь не по ней — по затылку схватишь.

— Мамка,— проговорил он,— я к Ваське пойду уроки делать.

Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.

3

Вечером дома ждали Родьку.

Еще с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетей, согнутая пополам старая Жеребиха. Срежь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмешь в обхват, Агния Ручкина. У нее пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На ее сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:

— Ноженьки мои, ноженьки!..

У самых дверей, с краешка, на лавке, уместился робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок: спеченный рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заерзал на лавке.

Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причесаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесенная Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зернышки, огонька-

ми несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь черными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, прoderнув рукавом по мокрому носу, от непонятого внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадет... Иди, ласковый, поближе, чего нуждаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай.

Помявшись, еще ниже наклонив голову, Родька подошел.

— Ну чего?

— Скажи еще раз, милушко, где ты ее достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута иди, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздохали:

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на нее наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без нее сирая и неприкаянная.

— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, каждую ночь купол пилит ктой-то. Каждую ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал всыхнувший разговор, оглядывался. А в темном углу избы, скупо освещенном крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на черной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За темным окном в последний раз донеслось плачуще:

— Ноженьки мои, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю темную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и крихтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубаше, распустив по спине волосы, опустила голыми коленями на холодный пол, завороченно устала на неподвижный огонек лампадки.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черемухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.

Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бесвязно шептать:

— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...

Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»

И так уже много лет.

Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в черта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:

— Будет ныть-то! Отошла пыне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...

Самой большой тревогой в ту пору было — придет или не придет Степан на обрыв, к обвалившейся березе. Шла

война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза темные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распряись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобокка; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрет, как ребенок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвет его. «Распряись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...

Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»

Проводила, тут-то и стала задумываться: вернется ли, на фронт ведь уехал, ребенок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придется куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным потом при мысли, что все быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела все, не переставая твердила:

— Хватит казнитья. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!

Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шепотом: «Помоги, господи!»

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распряись ты, рожь...»

Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздраженно ворчал:

— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастешь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех,— без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеда. Какой там страх перед завтрашним днем, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твердой надежды, что вернется. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха. А та сама на себя не надеется, все у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господина, ни у кого помощи не найдешь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помогите, господи! Мать божья, заступница, не обойдите милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная или некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с переборами.

Случилась самая большая беда, большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растет, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани господь!

Учительница Парасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутевого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу черная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонек лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле.

Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание мое... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охо-хонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съездившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было, — деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может, и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Машкино болото, увидел там среди пней и кочек икоу Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с нечи. Когда он пришел вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.

Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много верст по деревням и селам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.

К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с женами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толченую кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошино-

ванными колесами, тянулись просить милости у чудотворной.

Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, что восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленные чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхая медяками, гундося елеино: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошеливались...

На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясицу. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром нанесли песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх саженной толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полета подняли многопудовые колокола, а еще выше, над голубыми луковицами, истекая огнем, едва не цепляясь за облака, засияли на солнце золоченые кресты.

И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник темной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.

Новую церковь называли Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.

Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворил молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.

Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осылавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.

За решетчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели березки, рябинки, липы,

галки свили гнезда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорожденных, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казенной святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава ее поутихла, чудотворность уснула, и все-таки на нее продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к ее лику, зажечь копеечную свечу.

В двадцать девятом году, в то время когда вокруг Гумниц создавались колхозы, последний из попов церкви Николая на Мостах был уличен в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь как пережиток старого решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули веревками тяжелый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумницинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Все церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил ее из пустой церкви.

Но долго еще вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»

С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.

6

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разглаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успе-

ещь еще натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ко, дитятко... — позвала она.

Родька с подозрением покосился на ее осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристом-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шелковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Еще чего выдумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить нецелушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька еще больше съежился, отступил назад:

— Не одену.

— Экой ты... — Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно.

— Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живет, всяк свою душу спасает. Храни себе потаенно и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белесой занавесочкой ресниц — доброта.

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь все? Ты ему душу обереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительница вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька, подумай: милость эта не осторожение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему все прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышленого?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоешь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.

И мать сдалась.

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не одену.

— Вот бог-то увидит твоё упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы её в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щелки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ко скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца. Мать сняла его с гвоздя, впиалась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, настороженно блестящими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, наvertingвал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имеее.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь умничек...

— Вот я в школе скажу все...

— Пусть-ко сунутся — я учителям твоим глаза все новыцарапаю. Небось не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабу, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дернула за вихры.— Крестись, пашенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришелся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запиру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабу с непривычной для нее резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, миленок, нет, встань-ко сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слезы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь еще упрямяться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слезы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое ухо пламенело, казалось тяжелым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька,— заявила бабу.— Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдет. Сказали тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упершись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать.— Просят же, просят-а! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упершись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неумело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили!

— Когда лоб крестят, в пол не глядят,— сурово поправила бабу.— Ну-кося, на святую икону перекрестись. Еще раз, еще! Не бойся, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слезы сердитые белки, уставившиеся на него с темной доски.

А на улице с огородов пахло вскопанной землей. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь желтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казались бы, беспомощные зеленые стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озерца-ляжины с настоявшейся на прели водой, темной, как крепкий чай. Можно выловить матерую, перезимовавшую лягушку, привязать к ее лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать черные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колесные колеи в низинках, залитые после половодья и еще не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головлики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжет кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но все равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают.

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху.

Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстегивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затертым пиджаком у него новая рубаша, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней ее.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то еще не опоздали?

Подошел, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашел? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, лова под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню.

— Так ты не нашел икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженной голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-желтой рубашкой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, все всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

8

О кресте Родька скоро забыл. На переменах устраивал «кучу малу», лазал на березу «щупать» галочки яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю беспокойными стайками разлетелись ребята в раз-

ные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнет расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Степу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Степа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжелым, словно непропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынок, ты того...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Федора объезжать жеребца Шарапа, замолчал, наострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберег...

Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулек.

— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сладь... Доброму человеку разве жалко. На трешницу купил.

Заскорузлая рука протянула кулек. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулек, икона, которую он нашел под берегом, крест на шее, бабкино домогание крестить лоб — все, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирושка какой? Сам ешь.

— Да ты не сердчай, я тебе от души... Экой ты, право... — На темном, с дымной бородкой и спеченными губами лице Степы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан. — Иди-ко ты, молодец, своей дорогой, не встречай в чужие дела. Иди с богом. — Он снова повернулся к Родьке. — Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно,— презрительно фыркнул Васька.— На ваши конфеты небось не позарюсь.

Он пошел вперед, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженный затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чем это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулек.— Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжелого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живет. Все бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, все непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Степа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска пседом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приглубил...

— Я-то тут при чем, дед Степан?

— У тебя, милоч, душа что стеклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.

— Да при чем я-то?

— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед пей, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твое-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господ-то... Чай, слышал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...

Солнце светит в зеленой луже посреди дороги. К дому бригадира Федора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная

жизнь. И никогда еще не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулек... Да что случилось на свете? Не сошел ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..

Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.

Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжелым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втопанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярко — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трехрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекись, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на

базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район, в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребятишки, Родька был слышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжелом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отекавшие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У нее был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперед лица глазки. Сморщенная, темная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ко, покажись, любой! — Голос ее, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч.— Да чего рвешься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-нраведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабушку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости...— Она обернулась к своему кланяющемуся сыну.— Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико чтой-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел еще двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окропленное веселыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зеленой железной крышей. Уполномоченные, приез-

жавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и все-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да полагается — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жеваными лацканами пиджака; не только щеки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева устала на Родьку выкаченными черными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина, — с досадой проговорила Родькина бабка, — что толку волю слезам давать. Бог даст, все образуется. Родишь еще, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!

Заметив слезы у жены, Мякишев сконфуженно заерзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашел?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломленный встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришел. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащипанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скромным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днем полагалось прийти к вам, а ночью, потаенно, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...

— Ничего, за бога и потерпеть можно,— отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так,— не совсем уверенно согласился Мякишев.— Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье.— И, вернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух,— чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.

— Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись, да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запрчитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...

Родька съезжился...

10.

Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.

Теплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало

ли чего не случается дома. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времен гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павле Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пяточка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнет рассказывать — хватайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с лепточками. Но таких пьес что-то не отыскивали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...». Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и по мужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век. День-другой, глядишь, все утрясется.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубашке, ясным пятнышком горевшей среди однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое

развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— Ах, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озера, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лунцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лунцов, впившись в грудь Родьки черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, пе-

ред затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, загнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившись глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька, не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озера, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в стору.

11

До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов. Ему было хорошо видно все село: темные тесовые крыши,

железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила ее: белые стены тепло сияют на закате, ржавые кунола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную темную массу. В залитых сумерками ложбинках лег синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не усторожишь, когда появляются, — затеплились огоньки. Долго еще упрямылась церковь, долго сквозь ночь белели неясным нятном ее стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас черная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днем до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлопнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточенно забился, может быть, птица, устраивающаяся на почь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, все время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждешь: вдруг да в темном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, желтые, холодные, как две маленькие луны! Верить каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого пороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой темной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Все равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет», — решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас все кончится...

Когда Родька взялся горячей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но все обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетей, толстой Агнии Ручкиной, — сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с желтыми листами книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шепотом:

— Ты бы к утру еще приходил, полуношник! Иди-ко в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжелый груз.

На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лежа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька не дослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем...

А утро началось для Родьки с удач.

Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка все утро возилась — выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тесом новое здание сепараторки, доносился захлебывающийся, свирепо-восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твердо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несушки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж все страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от нее хватать плюх, — ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе.

Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровавистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде, — нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну, чего, дурак, ты-то лезешь? Знай свое дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, все образуется, все пойдет по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоет умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустил голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки на затылке флотская

фуражка с лакированным козырьком, в зубах жеваная сигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже все знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живет!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-то, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идет Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернешь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжелые сапоги, вдавливающие каблуки в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошел мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идет в школу, а там, прячась не прячась, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:

— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешевая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!

У всех свои дела, у всех свое место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка; лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стекол в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашел под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперед...

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шел ошеломленный не совсем еще понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжелой мужской поступью подходила Парасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо, — приблизилась, и под ее пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.

— До уроков зайдем-ка в учительскую.

Минуту назад еще можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Парасковьи Петровны легла па плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей черной клеенкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот-то кабинет, поеживаясь в нервном ознобе, вошел Родька и уселся па вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казенный холодок черной клеенки.

Парасковья Петровна подперла щеку кулаком.

— Опять рукам волю даешь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеенке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точеной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Парасковьи Петровны дойдет? Так?.. Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего: обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать все. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали,— наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Парасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошла из угла в угол. Объемистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене,— казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Парасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Парасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжелых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Все уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошел Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорбленно-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой,— объявила Парасковья Петровна.— Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Дратья полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Парасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

Тридцать лет Парасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлетов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определенный день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скудин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Парасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошел учиться дальше, нашел свою судьбу.

Все прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Парасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидала его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придется распутывать ей, учительнице Гумнищинской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряженная лошадь, разрывала мордой сено в пролетке. Почуя приближение Парасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от челки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Парасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до легкой голубизны чистой бородкой.словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стриженными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от

скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Парасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то все в порядке.

Морщинки у коричневых век собрались гуще, желтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожду.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышинный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием.

«Ах, вот кто это! — удивилась Парасковья Петровна. — Загарьевский пои...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрие, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нем — перед Парасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнес он. — Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Парасковья... э-э, простите, запомнил, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Парасковья Петровна, будет скучно слушать. — И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали. найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она... — Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой. — Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось

перешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки.

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше поровите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо.

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать верст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушенным лицом.

Парасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор,—глашатай господа бога, представитель обреченного на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога? Верит ли в то, чем живет она, Парасковья Петровна? Как сегодняшней день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских кущах?

— Отец Дмитрий,— решила заговорить Парасковья Петровна,— раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.

Без тени осторожности отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своем лице лишь одно — полнейшее внимание.

— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.

Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы,— «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение»,— почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.

— А здесь, в этом доме,— продолжала Парасковья Петровна,— на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...

— Это, сударушка, не твое дело! — резко перебила Грачиха.

— Обожди, Авдотья, потом возразишь, — отмахнулась Парасковья Петровна.

— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, все гадаю: зачем пришла?

— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал ее отец Дмитрий. — Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?

Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:

— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...

Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватом. По спине чувствовалось: напряженно прислушивается к разговору.

Парасковья Петровна продолжала:

— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребенка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.

Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:

— А какое я имею касательство к этому, Парасковья Петровна?

— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой

бог из себя, что он делает?» — то матери придется объяснять о триединстве, о бессмертии души, о Судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребенка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно бревнышком, подперся», — удивилась Парасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с ее стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений, — сказала она, — которые не сразу подведешь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак, — с готовностью подхватил отец Дмитрий, — а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашел, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому... — Отец Дмитрий поднял склоненную голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину. — Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько позволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчилось. Она стояла у шестка, сложив свои тяжелые руки на животе, глядела на учительницу с беззлой издевкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлевской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Парасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советски-

ми законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке,— враг Парасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознает ли он сам, что они друг другу враги, или не сознает?.. Трудно догадаться.

— Мы все равно не придем к согласию,— сказала Парасковья Петровна.— Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я,— с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий,— осмелюсь заверить: ни в чем не буду вам препятствовать.

Тяжелая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сених, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, туно уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны.

А Парасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а

ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Паптелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был носменщиком?..

— Что тут дивного,— отозвалась от нечи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу,— изведут парнишку и от училища еще благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно,— сурово обрезала Парасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то небось глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Парасковья Петровна.— А ведь дойдет до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживет всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары желтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздернутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадежная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошенных глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скобленных досок стола, заговорила:

— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпалет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...

— Кто слышит?

— Да бог-то.

Полная, белая шея, из-под застиранной кофты выпирают груди, плечи покатые, пухлые, в то же время крепкие — зрелая, полная здоровая женщина. А в светлых

с сузившимися в мушиную точку зрачками глазах тупая тревога. Нет в них мысли, один страх. Парасковья Петровна вспомнила ее девчонкой, своей ученицей: круглая, розовая рожица, бойкие, с блеском, как у игривой кошечки, глаза,— уж во всяком случае глупышкой не казалась. Видать, не все-то с годами совершенствуется в природе.

— Эх, Варвара, Варвара! Как в тебя вдолбить? Этим страхом да дикостью и покалечишь жизнь сыну.

— Господи! Да разве нельзя ему в бога веровать и жить, как все?

— То-то и оно, что нельзя. Время Пантелеймонов-праведников отошло.

Слезы потекли по щекам Варвары.

— За что мне наказание такое в жизни?

— Клинышки вышибают клином. Подумай обо всем, что я сказала. И еще заруби себе на носу: школа парня на выучку старухам не отдаст.— Парасковья Петровна поднялась.

Она шла к дому своей медлительной, тяжелой походкой, чуть сутулая, полная женщина в обвисшей вязаной кофте, уважаемая всеми учительница, у которой каждый второй встречный в селе — ее ученик.

Она шла и думала о том, что и ее самое жизнь радуется не одними удачами, много, очень много разочарований. Всякий раз, когда вглядываешься в своих учеников, невольно любишься ими. Не любоваться нельзя: детство всегда обаятельно. Каждого представляешь в будущем, видишь взрослым: Петя Гаврилов рисует — как знать, не станет ли он художником! У Паши Горбунова эдакая прадедовская крестьянская жилка — любит слушать о земле, о яровизации — быть ему агрономом. За все тридцать лет работы от каждого своего ученика Парасковья Петровна ждала в будущем только хорошего.

И разве не горькое разочарование испытала она, когда Михаил Соломатин, заведовавший магазином при славконторе, был посажен на восемь лет за растрату? Он в школе был нисколько не хуже других. Что испортило его? Что толкнуло на преступление? Растратил — посадили, причиной не заинтересовались. Осот сорвали, корень оставили.

Вот и Варвара, мать Роди Гуляева... Что заставило ее стать такой? Неужели в этом есть вина ее, старой учительницы Парасковьи Петровны?

Дома Парасковью Петровну ждало обычное дело — ученические тетради. В стопке тетрадей она отыскивала

тетрадь Роды Гуляева. Обложка еле держится, углы загнулись, первая страница написана любовно, без помарок, вторая же начинается с протертой дырки: неудачно сводил кляксу. Мальчишечья тетрадь.

Она прожила с колхозом с его зарождения до сегодняшнего дня. Жила не бок о бок, а внутри колхоза. На ее глазах сменилось двенадцать председателей, на ее глазах построили все хозяйство: фермы, телятники, конюшни. И это хозяйство успело уже отслужить свое, понемногу начинают отстраивать заново. Ей ли не знать во всех мелочах жизнь Варвары Гуляевой...

Окончила пять классов; сперва просто помогала матери, потом была зачислена в первую полеводческую бригаду; боронила, косила, жала, молотила — делала, что приказывали бригадир, председатель, агрономы из МТС, уполномоченные из райцентра. Никто из них не пытался заставить ее: пораскинь сама мозгами, как лучше вырастить хлеб, подскажи, возрази, ежели мы не правы. Никто не учил: думай над жизнью, вникай в нее. Все, от колхозного бригадира Федора до районного начальства, только приказывали: борони, жни, коси по возможности быстрее, по возможности лучше, не рассуждай лишка, без тебя разберемся. Помнили: она — рабочие руки в колхозе, а то, что она, кроме того, еще и человек, часто забывали. А Варвара была не из тех, что могла доказать — она способна думать. Покорно выполняла приказы, много действовала своими руками и меньше всего головой. Неизбежен уместный застой, неизбежно и то, что ей приходилось искать всемогущественного, справедливого повелителя, который был бы всегда под рукой.

А тут еще война. Тут еще неудача с мужем, вечный мелочный страх перед завтрашним днем. Так ли уж нужно винить ее, что она бросилась искать спасения у бога?

Парасковья Петровна застывшим взглядом уперлась в низенькое деревенское оконце. На столе забыто лежала раскрытая на диктанте тетрадь Родьки Гуляева.

16.

После большой перемены Васька Орехов принес Родьке новость:

— А к вам в гости поп из Загарья приехал. Завтра перед твоей иконой молебен служить будет.

— Ты откуда знаешь?

— Тетрадку по ботанике забыл, домой бегал. Мамка сказала.

Ох, как не хотелось идти домой! Мало гостей, тут еще поп... После школы Родька долго бродил по пустырю, но голод не тетка — пришлось идти...

Во дворе, уткнувшись мордой в сено, дремала незнакомая лошадь. В избе, однако, кроме бабки и матери, никого не было. Они ругались.

Мать с заплаканными глазами, со вспухшими губами, с непривычной для Родьки злостью кричала на бабку:

— От школы отобьется! Легко ли жить нынче неучем-то! Вся жизнь наперекос у парня пойдет. Мать я ему или не мать?

— Ты шире уши распускай, такие ли тебе еще песни напеют. Они на это мастера великие. Иль учительша для тебя важней господа? — Бабка стояла посреди избы с кирпично-красным от гнева лицом, с растрепанными седыми волосами.

— Всю вину сама перед богом приму. Замолю сыновьи грехи, а отбивать от школы не дам! Не след ему со школой не ладить!

— Вот они, слова Иудины! Еще, бессовестная, диву даешься, что счастья нет! Да за какие заслуги счастье-то тебе? Чем ты перед богом поступилась? От бога плоть свою спрятать хочешь? Ужо отзовется это. Да не на тебе, на Родьке. По материной дурости будет он век вековечный беду мыкать...

Бабка первая заметила остановившегося у порога Родьку.

— Вон он, безотцовщина, сказывается кровь... Должно, все до последнего словечка вытряс перед учительшей. А та рада: фу-ты, ну-ты, я в вашем доме начальница! В отца Дмитрия, словно клещ, впилась... Господи! Да за что я стараюсь! За счастье же ваше. Много ли мне надо? Одной ногой в могиле стою...

Мать бросилась к Родьке, прижала к себе, запричитала на всю избу:

— Горюшко ты мое! Что мне с тобой делать?

Теплая грудь матери уютно пахла, как после сна пахнет нагретая лицом подушка. Родьке, раскаявшемуся в том, что он пришел домой, вдруг стало жаль мать.

— Повой, повой, от этого все равно легче не станет. Все одно от бога не спрячешься, — сердито выговаривала со стороны бабка.

Постукивая костью, вошла Жеребиха; не разгибаясь, откинув лишь голову, веселенько окликнула:

— Ай нелады какие?

— Где уж лады! — отозвалась бабка. — Учительша тут недавно была, смутила вовсе Варьку. Беда, мол, будет с парнем, коль от бога не откажется.

Жеребиха, бегая черными, не по веселому лицу тусклыми глазками, простучала к лавке, уселась, согнутая, нацелившаяся головой в сторону Варвары, мягко спросила:

— Это какая учительша? Парасковья Петровна? Так она, родные, партийная. А им, партийным, такой указ дан: всех начисто от бога отбивать. Дива нет, что отговаривала.

Мать виновато оправдывалась:

— В школе-то за бога не похвалят. А сама посуди, куда нынче без школы денешься? Велика ли радость, коль Родька всю жизнь, как мать, возле коровьих хвостов торчать будет?

— Тут уж, касатушка, выбирать нечего. Как господь положит, так и будет. Против его воли не пойдешь.

— Живут же люди без бога, — возразила Варвара, — не хуже нас с вами.

— Слышь, какие речи ведет? — бросила бабка.

Жеребиха пошевелилась на лавке, села плотнее, средь веселых морщинок мрачновато глядели черные глазки.

— Под мечом поднятым живут, матушка, под мечом. Только с виду их жизнь гладкая да развеселая. А глянуть внутрь, в душу-то влезть, поди чистый содом да маета. Поразмысли только: от бога отказались. Люди тыщи лет в бога верили. Неужели за тыщу лет не народилось поумней нынешних? Не от ума все это, а от гордыни. Глухи и слепы. Бог нет-нет да и пошлет о себе весточку. Только эти весточки-то понимать не хотят. Василия Помелова помнишь? Хоть дальний, да родственничек мне. Тоже партийный, куда уж, первым за веревку взялся, чтоб колокол со святого храма стянуть. На всех углах кричал: «Леригия — дурман! Бога нету!» И уж поплатился за свое богохульство. Не приведи господь такую смерть принять. Как война началась, его первого, голубчика, под ружье забрали. До фронту не доехал, бомба прямехонько в него попала, косточек не осталось, в землю схоронить нечего. Вот оно, наказание — могилки и той нет, и пожалеть некому и поплакать некому. Верка-то, женка его, живехонько к другому переметнулась...

Родька, забытый всеми, стоял, прислонившись к печному боку, и слушал. Никогда за всю жизнь он серьезно не думал о боге. В школе говорили: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим нищи для размышлений. Случись это раньше, он наверняка бы не обратил внимания на слова старой Жеребихи. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать, если говорят, нельзя не прислушиваться. И он слушал, смутные сомнения приходили в голову: «Тыщи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз искал, значит, верил... Но почему теперь в бога верят больше старухи да старики? Бабка верит, а Нарасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умней бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Нарасковьи Петровны умней был. Непонятно все...»

Жеребиха не могла знать, что у парнишки, прижавшегося к серому печному боку, глядящего на нее круглыми, остановившимися глазами, идет сейчас внутри лихорадочный спор. Она, суетливо облизнув обметанные губы, напевно, со вкусом продолжала, обращаясь к Варваре:

— Уж кому бы в голову пришло поинтересоваться, не зря же в разоренной церкви каждую ночь в одно и то же времечко, ну, истово в одно времечко, хоть по часам, хоть по петухам проверяй, пиление идет. Не господний ли это знак? Никому, лишенько, в голову не придет поприслушаться да на самих себя оглянуться. Ой, слепы люди! Ой, глухи... Ничего-то видеть не хотят, ничего слышать не желают. А господь остерегает, остерегает, да ведь и его терпению придет конец. Падет вдруг на людей кара божия, дождемся ужю мора или великого голода, поздно тогда будет каяться. Ох, Варюха, Варюха, опамятуйся! Перед чем голову сгибаешь, от чего отворачиваешься?

Варвара столбом стояла посреди избы, на белой широкой перепосице выступила испарина, глаза блестели, вот-вот из них брызнут слезы.

На крыльце послышались шаги, неспешные, уверенные, мужские. Вошел старик, снял с головы кепку, длинные космы седых волос унали на воротник. Жеребиха сорвалась с места, бойко застучала палкой по полу:

— Благослови, батюшко!

А из раскрытых дверей слышалось покорное оханье
взбирающейся на крыльцо Агнии Ручкиной:

— Ноженьки мои...

Начали собираться гости.

17

Розовая от заходящего солнца, в стороне от села стоит церковь. Ее приветливый вид вместе с запущенной липовой рощицей, с галочьим хороводом над куполом был привычен, как вкус ржаного хлеба.

Эта вздыбленная над деревьями колоколенка со ржавым куполом луковкой, намозолившая глаза, связана с таинственным богом. Не от Жеребихи первой слышал Родька, что среди ночи, минута в минуту, кто-то пилит купол.

Врут, конечно...

А если нет?

Не ребячье любопытство, не досужая страсть к открытиям — Родьку раздирали сомнения: есть ли бог или нет его? В этом коротком вопросе был сейчас весь смысл будущей жизни. Никогда Родька не задумывался прежде, как жить ему. Жил, как живут все его гумнищинские одполетки: учился в школе, летом пропадал на реке, ловил рыбу, купался в Пантюхином омуте, в жатву возил снопы на колхозной лошади, был горд, когда бригадир ставил ему за это «палку» — целый трудодень. Его ли забота, как жить... Мать с бабкой всегда поставят на стол чашку щей и крупно нарезанный хлеб, а большего Родьке и не надо. О чем, о чем, а о боге, о душе и думать не думать... Но теперь не увернешься от вопроса: есть ли бог?

Врет бабка, врет мать, врет старая Жеребиха! Нет бога!

А если не врут?.. Тысячу лет люди верили. Лев Толстой верил. А пиление в церкви по ночам?.. Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал. Теперь вот запала в голову, не выбьешь. Вот ежели б самому послушать?..

Стоит на отшибе церковь. Из чистой, словно умытой, рощицы (листва еще по-весеннему свежа) торчит колокольня, как древний воин в остроконечной шапке. Родькины зоркие глаза видят даже, как мельтешатся галки в воздухе. Там спрятана тайна, тревожная, пугающая. Врут или не врут?..

Как только начали собираться гости, Родька потихоньку сбежал из дому. Он давно уже сидит на задворках дома бабки Жеребихи, прячется от людей. Люди могут помешать думать, люди будут с ним заговаривать о другом, а ни думать, ни говорить сейчас, кроме этого проклятого вопроса, Родька ни о чем не может.

Как в жидкую тину, в лиловый туманный лес медленно погружается солнце; оно побагровело, раздулось от натуги. И от того дальнего леса, от края земли, от самого солнца через луга упрямо, не сворачивая ни перед чем, тянется железнодорожная насыпь. Давно уже показался на ней красный, впитавший в себя лучи тонущего солнца дымок. Он растет. Доносится шум поезда — ближе, ближе, сильнее, сильнее. На черном теле паровоза заблестело какое-то стекло, пропылало минуточку-другую остреньким, словно пробивающимся сквозь булавоочный прокол, огоньком, погасло. Товарные вагоны при закате кажутся раскаленными. Паровоз простучал через весь луг, таща за собой этот длинный раскаленный хвост, нырнул в решетчатую коробку моста, вновь вынырнул, пробежал дальше и скрылся за церковью.

В тишине неожиданно раздался выкрик:

— А вон Родька сидит!.. Эй, Родька!

Перевалившись животом через ветхую изгородь, подбежал Васька Орехов. На худеньком, с острым подбородком лице обычная радость: «А-а, вот ты где!»

— Что ты тут делаешь?

Родька не ответил, но Васька и не ждал ответа, он обернулся и закричал:

— Венька! Иди сюда, здесь Родька сидит! — так, словно это известие было бог знает каким подарком для Веньки Лунцова.

Венька не спеша подошел. Он хоть и помирился с Родькой, но и сейчас из-под черной, как воронье перо, челки глядел со спрятавшей угрюмой настороженностью недобрый глаз.

— Что делаешь? — повторил Венька Васькин вопрос. — Галок считаешь?

— Тебе-то что?

— Да ничего. Из дому небось выжили?

В эту минуту Родьке не хотелось затевать ссору, он со вздохом признался:

— Терпения моего нету.

Эта покорность привела Веньку в мирное настроение. Он присел на землю рядом с Родькой.

Все трое долго молчали, уставившись вперед, на широкий луг с подрумяненными на закате горбами плоских холмиков, на тлевшую вдали колоколенку.

Первым пошевелился Родька, беспомощно взглянул на товарищей, спросил:

— Вот про церковь говорят, там вроде по ночам кто-то купол пилит.

— Поговаривают,— согласился равнодушно Венька.

— Ты знаешь Костю Шарапова? — нетерпеливо заерзал Васька.— Трактористом в прошлом году здесь работал. Он, сказывают, по часам проверял. Ровно без десяти двенадцать каждую ночь начинается.

— Врет, наверно, твой Костя,— нерешительно возразил Родька.

— Костя-то!

Венька перебил:

— Я и от других слышал.

— Ну, а коли правда, тогда что это?

— Кто его знает.

Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.

— Нечистая сила будто там,— робко высказался Васька.

— Вранье! — обрезал Родька.— Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.

— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.

— И я что-то слышал, только не от Кости,— подтвердил Венька.

— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо.— Ребята, пойдете сегодня в церковь... Вот стемнеет... Сами послушаем. Ну, боитесь?

— Это ночью-то? — удивился Васька.

— Эх ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдешь? Иль тоже, как Васька, испугался?

— А чего бояться-то? Ты пойдешь, и я пойду.

— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.

— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька.— Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело...

— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.

Родька неожиданно пришел в какое-то возбужденно-первое и веселое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему все равно...

В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Степа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буфер — раз, другой, третий, четвертый... Удар за ударом — «дын! дын! дын!» — унылые и однообразные, они поползли над темным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.

— Одиннадцать часов, — прошептал Родька. — Может, пойдем не спеша?

— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.

Васька Орехов как-то беззащитно поежился и притих. Опять принялись ждать.

Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голосом продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и починком Шибаев Двор:

— Лежит он себе в телеге, а лошадь еле-еле идет. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит, чтой-то на дороге светится... Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше...

— Ой, Венька, брось уж, и так зябко, — тихо попросил Васька Орехов.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Венька. — Значит, огонек катится... А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою...

— Ладно, Венька, — оборвал его Родька, — Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.

— Связались мы с ним... Надо бы тебя, квелого, не брать с собой, — сердился Венька и добавил: — А мне вот все равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.

— Ребята, я домой пойду. Mamka лупцовки даст, — попросил Васька.

— Я тебе пойду! — вскинулся Венька. — Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся... Нашел рыжих! Так в переругивании и в приглушенной воркотне шло время.

Наконец Родька решительно встал:

— Идем!

Венька с Васькой неохотно поднялись.

Ночь была безлунная, три или четыре крупные звезды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.

Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.

Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждет... Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, еще шаг, еще... И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривленных веточек. К черту все страхи!

К черту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждет, само идет навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в черном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком... Раздалось фырканье... Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.

Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.

Родька шагал, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во все: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И все-таки он шел вперед, и все-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.

— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.

Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.

— Ты что?

— Ногу подвернул. Дальше не пойду.

— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.

— Скажи прямо: душа в пятках.

Васька перестал стонать.

— А пеужель не страшно?..

— Вставай! — схватил его за воротник Венька. — Или силой потащим.

— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.

— Мы тебе живо ее вылечим. — Венька сильнее потрянул Ваську. — Ну, долго возиться?

— Пусти-и! Не пойду, сказал же.

— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остается, — зашептал Родька. — Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.

— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.

Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька еще поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.

Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.

А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нем покойников. Но кому не известно: чем заброшенной кладбище, тем скорей можно ждать на нем всякой нечисти.

Венька остановился.

— Родька! Слышь, Родька...

— Чего еще? — приглушенным шепотом спросил тот.

— Васька-то небось домой побежал.

— Ну и что?

— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.

— Тоже струсил?

— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на нее!

— А зачем тогда пошел?

— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то...

Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать... Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в нее. Все равно придется рано или поздно опять идти. Нельзя отпустить Веньку! Нельзя оставаться одному!

— Венька, мы уже ведь пришли... А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка... Мы еще посмеемся вместе...

— Не пойду, и шабаш... Хочешь, повернем вместе, не хочешь...

— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пушу.

— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Парасковьи Петровны.

— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.

И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.

— Родька... Венька... Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы. — Одному-то еще страшнее, — заговорил он прерывистым шепотом. — Просто жуть одному-то... Уж лучше с вами...

Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.

Родька первым опомнился.

— Пошли, — сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.

Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.

Они вошли в широкие ворота церковной ограды.

В глубине белела, как мутный туман ночью на реке, стена церкви. Они остановились под деревом.

Родька достал из кармана бересту, поднял с земли из-под ног сухую ветку, спросил:

— Васька, спички у тебя?.. Сейчас бересту запалим. При огне-то лучше.

Васька зашептал:

— Не надо, Родька. Так-то пас пикто не видит. А как огонь, всяк узнает: мы здесь.

— Давай спички, говорю!

Две руки — Васькина и Родькина — не сразу столкнулись в темноте. Одна спичка сломаясь, вторая долго не зажигалась. Наконец зажглась слабеньким, болезненным огоньком — единственно светлая, родная точка в этой подвальной темноте.

Скрюченный, грубый кусок бересты зашворчал, запузырился, как живой, стал сгибаться. Родька надел его на конец ветки. И из темноты рядом с ними появилась боковина ствола матерой липы в буграх и корявых наростах. Впереди, под ногами, открылась замусоленная кирпичной крошкой земля. Огонь шевелил веселыми языками, пускал темный чадок, без всякой утайки фыркал. И страх почти исчез. Родька, Васька, Венька — все разом вздохнули, переглянулись между собой, снова уставились на огонь.

Но по сторонам темнота еще гуще облила раздвинутый горячей берестой круг. Не стало видно церковной стены. Казалось, эту плотную, могучую темноту ничем не сдвинешь, ничем не пробьешь, не выберешься из светлого круга. Но Родька, бережно держа па весу ветку с корчащейся берестой, шагнул вперед, и эта плотно слитая темнота покорно подалась назад. Лина с корявой корой сразу же исчезла, словно провалилась под землю. Навстречу выскочила тоненькая, с игривым изгибом березка, сразу же лихорадочно зарумянилась от света.

Еще два шага, и свет уперся в стену, вовсе не белую и ровную, а облупленную, с осками кирпичей в обвалившейся штукатурке.

В стене — окно, непроницаемо затянутое бархатной темнотой. Что-то там? Мороз пробирает от мысли, что придется схватиться за кирпичный карниз, подтянуться и... окунуться головой в эту мрачную, бархатную тьму.

— Венька, держи, — отдал Родька берестяной факел. — Осторожней, бересту стряхнешь... Васька, подсади-ко... Что ты меня за грудки держишь? Плечо, плечо подставь... Вот так...

Родька сел верхом на подоконник. В выползшей из штанов, пузырящейся на спине рубахе, всклокоченная голова ушла в поднятые плечи, освещенный неровным,

пляшущим огнем па бархатно-черном фоне арочного окна, он сам теперь походил на какого-то зловещего горбуна из страшной сказки.

— Да... давай сюда огонь.

Венька медлил: охота ли лезть в это проклятое окно, а уж если отдашь огонь, придется.

— Ну! — это «ну» было сказано слишком громко и гулом отдалось в пустой церкви за Родькиной спиной.

Венька поспешно протянул горящую бересту.

— Что ты в меня огнем тычешь? С другого конца давай... Подсаживай Ваську.

Из окна, из черной пропасти тянуло подвальными запахами плесени и птичьим пометом. Родька первым прыгнул туда, и в это самое время огромная, пустая, темная церковь загудела, забурилась, словно ее старую крышу пробил бешеный водопад. Снизу донесся слабый, заикающийся голос Родьки:

— Не-не... не... бойтесь... Это галки... Ух, сколько их тут!

Огонь осветил кусочек стены, на которой проступали какие-то картины, прислоненные к стене иконы, битый кирпич с блестящими осколками стекла на полу. Все остальное — вверху и по сторонам — было покрыто густым мраком.

Родька мельком поглядел на иконы, подумал вскользь: «Гляди ты, какие красивые есть. И чего те дурни на мою икону набросились, вроде она лучше...»

— Вы скоро там?

Венька и Васька слезли вниз, сдерживая дрожание губ, с бледными лицами стали рядом.

Вяло покачивался огонь на обугленной бересте, запах смолистого дыма смешивался с запахом каменной плесени. Вверху все еще шевелились неуспокоившиеся птицы. Путь был пройден, оставалось только ждать.

— Сколько... — заговорил Родька и сразу же снизил голос до шепота, так как неосторожно произнесенное слово сразу же отдалось где-то под самым куполом. — Сколько времени теперь?

— Кто его знает, — так же шепотом ответил Венька. — За двенадцать, поди.

— Не слышно, не било вроде.

— Да отсюда разве услышишь, сквозь стены-то?

— Услышали бы. Окна-то полые.

Они на минуту перестали шептаться. Под темной крышей, высоко над головой, разбуженные птицы успокаивались. Пошевелилась одна в самом глухом, в самом дальнем

углу, пошевелилась другая поближе, столкнула кусочек сухой известки, он легонько стукнулся об пол, звук его отозвался под куполом. Наконец стало совсем тихо. Тонко-тонко и тоскливо зазвенело в ушах от перенапряженной тишины.

— Враки все, — выдохнул Родька.

— Что враки? — одними губами спросил Венька.

— Да это... Купол-то будто пилят.

— Конечно, враки, — с охотой подхватил Васька. — Пошли, Родя, быстреей отсюда, чего тут торчать.

Родька не ответил.

Береста на конце ветки прогорала. Желтый огонек стал вялым. Черный курчавый дымок над ним вился гуще. Лица у ребят были бледные, серьезные, непривычно большеглазые.

Родька ощутил облегчение, появилось какое-то смутное, неосознанное желание: высказать что-то (пока он не знал, что именно) презрительное и уверенное бабке с матерью, обругать Жеребиху.

Родька набрал уже в грудь воздуху, чтоб еще раз сказать: «Враки все...» — но вдруг воздух застыл в груди ледяной глыбой, горло сжалось...

Где-то вверху, в самой гуще давящего на головы мрака, там, где недавно шевелились обеспокоенные птицы, очень тихий, но внятный, осторожный, но проникновенный, раздался странный звук. Он действительно напоминал звук маленького напильника, въедливо, настойчиво точившего кусок железа. Звук разрастался, креп, становился громче, решительнее. Уже не крохотный напильничек, а широкий рашпиль поспешно, без предостережений, с ненавистью ерзал по железу. Сильней, сильней, нервней, до истерических, визгливых ноток.

И звук шел не снаружи, он был где-то в стенах, под самой крышей, висел над головой. Странно, что птицы несколько не обращают на него внимания.

Неожиданно загрохотало, завизжало — нарастающий звук взорвался. Ошеломленный Родька в долю секунды каким-то далеким уголком своего мозга все же успел догадаться: это рядом с ним в пустой гулкой церкви визгливо крикнул от страха Васька.

Они не помнили, как выскочили в окно, как оказались за церковной оградой...

А ночь по-прежнему стояла тихая, влажная, свежая. Покойно светились редко разбросанные огоньки села. В стороне уверенно и беспечно постукивали колеса удаляю-

щегося поезда. Три красных фонарика на заднем вагоне уплывали в темноту. Это, должно быть, пассажирский. Он через пятнадцать минут остановится на маленькой станции Суховатка, куда летом Родька и Васька бегали продавать ягоды.

Нет, ничего не произошло на свете. Ровным счетом ничего.

«Дын! Дын! Дын! Дын!..» Через влажный луг, через реку на железнодорожную насыпь поползли унылые звуки. Ночной сторож Степа Казачок отбивал двенадцать часов.

Ребята не обмолвились ни единым словом. Спотыкаясь на неровной тропинке, бросились бегом к селу...

Перед самым селом их встретила беспорядочная, громкая петушиная перекличка.

20

Опять весь вечер сидели гости. Беременная Мякишниха, прислонясь к Варваре, уставив на нее раскисшие от слез глаза, шептала:

— Варварушка... Навар из трав пила, а веры нету. Нету веры, что все обойдется. Врачи сказывают: не людская-де у тебя беременность... Сечение надо делать, резать.

Скучно вздыхала о своих ноженьках Агния Ручкина. Старик из деревни Заболотье, большой знаток Ветхого завета, курил толстые сигарки из крепкого самосада, давил их в разбитом блюде и рассуждал о «нонешней распущенности»:

— В прежнее-то время вся жизнь, куда ни толкнись, в страхе проходила. Оттого кругом порядок стоял...

Отец Дмитрий больше молчал, кивал головой, соглашался, только несколько раз вставил свое слово:

— Ежели человек отравлен ядом, чтоб он не умер, надо очистить тело. В жизни душа ежедневно и ежепоцно яд принимает. Выругался нехорошим словом — яд. Осквернил себя водкой — яд. Строптивость свою выказал, начальству не подчинился — все яд. Вера очищает душу людей. Нет без веры духовного здоровья.

И снова замолкал, с ясным, чуть утомленным лицом покачивал головою, думал, верно, о чем-то своем.

Варвара сидела как каменная. Она и всегда-то при гос-

тях чувствовала себя немного чужой, а теперь, после Парасковьи Петровны, после разговоров с Жеребихой, вконец растерялась, глядела в дверь остановившимися глазами, ждала Родьку, удивляясь, почему его долго нет. «Часто поздний, и где его носит?.. Пожалуй, хорошо, что сейчас дома нет. К нему бы полезли. Мякишиха-то над ним бы стала причитать. Легко ли несмышленому парнишке выносить... Не напрасно учительша пугает, ой не напрасно! Как же парню быть? От школы отворачиваться?.. Господи, вразуми... То-то и оно, что ни случись, всюду — господи, а ведь Парасковья-то Петровна от бога Родьку отнимает...»

Разболелась голова. Варвара тихонько поднялась, ушла за перегородку, не раздеваясь, прилегла на койку. Сдержанно гудели голоса в соседней комнате...

Ее разбудили сердитые толчки.

— Вставай-ко, вставай. Эк, разлеглась... Забыла, чай, что у нас отец Митрий ночует. Не на полати же его сунут.— Старая Грачиха раскосмаченная, придерживая на груди рубаху, стояла над ней.— А нашего-то гулены до сих пор дома нету. Выходила на улицу, кликала, не отзывался. Клавдию встретила, тоже своего Ваську ищет. Вместе где-то шабашат.

Выглянула за переборку, пригласила:

— Иди, батюшко, постельку сейчас стготовлю.

Варвара поднялась, заспанная, с тяжелой головой, вышла в переднюю.

Изба хранила следы недавних гостей: пол у порога крепко затоптан, на подоконнике щербатое блюдечко усажено окурками.

Тяжело и неуютно стало в доме. Покоя и тишины хочется. Ей-то еще полбеды, а Родьке, верно, вдвое неуютней.

Кряхтя и посапывая, за перегородкой укладывался на пригретую Варварой постель отец Дмитрий. Бабка торопливо отбила положенные поклоны, взобралась на печь. Через минуту, как обычно, полился оттуда ровный храп.

Каждый вечер опускалась Варвара на колени перед иконами, опустила она и сейчас.

Что сказать господу? Как пожаловаться? О чем просить, что вымаливать? Как держать себя? Все перепуталось, ничего не понятно. Одно слово вырывается из души:

— Господи!!

Словно вполшепота, но это крик измученного сердца, крик жалобный и бессильный.

За спиной раздался осторожный шорох. Варвара оглянулась. У дверей стоял Родька. При свете гаснущей лампы было видно его бледное, смятенное лицо.

Варвара медленно поднялась с полу.

— Родюшка... Ай опять беда какая?

Родька резко дернул плечом, словно сбрасывал с него невидимую лямку, связанной походкой, уставясь в угол, прошел на середину комнаты мимо матери. С минуту он глядел в упор на темную икону, потом колени его подогнулись, он вяло осел на пол и, съезжившись, пригнув голову, неожиданно зарыдал.

— Родюшка, сердешный, да что с тобой, золотце? — Варвара бросилась рядом с ним на пол, обняла, сама заплакала.— Видать, снова напасть какая. Да что за наказание! Что там случилось-то, скажи?

Но Родька молчал, только плечи его под материнскими руками сильно вздрагивали.

От молчания, от слез сына, от чудотворной, зловеще выкатившей белки глаз, от всего непонятного, что творилось на белом свете, Варвару охватил дикий ужас. Новая беда! Новые несчастья! Мало прежних?! Надо спасать сына, надо оградить его от беды!

Варвара крепче обхватила Родьку за вздрагивающие плечи, приподняла, шипящим шепотом заговорила:

— Молись, Роденька, молись, сынок! Проси прощения за себя, за мать-грешницу. Сомнениям поддалась мать-то... Ох, разнесчастные мы!.. Нет нам спасения... Молись, голубчик...

И случилось чудо... Родька, вечно бунтующий, упрямый, только из-под палки поднимавший ко лбу руку, вдруг со всхлипом вытер лицо рукавом, покорно зашевелился, встал коленями на пол, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произнес единственную молитву, которую знал, короткую, в два слова:

— Прости... господи...

Он крестился, лицо его выражало просительный страх, а Варвара, тоже стоявшая рядом с ним коленями на полу, застыла от изумления и нового ужаса. Вот оно, свершение! Вот она, сила божья! Как же тут сомневаться в господнем могуществе?

Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать.

У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманской с золотым крабом, всем своим морским обличьем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он Родька Гуляев, приехавший домой на побывку! Пусть это была по-детски наивная мечта, но мечта о будущем. А в детстве будущее и счастье — одно и то же слово.

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог; ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит, нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, — *самому отказаться!* Это тебе не крест на шею, это не просто стыд перед ребятами, который раньше так сильно мучил. Тогда-то страдал, а знал, пройдет день, неделя, месяц, пусть даже год — и все наладится, все переживется. Теперь не надейся на время, оно не спасет. Тогда можно было бунтовать, возмущаться, жаловаться кому-то, хотя бы Парасковье Петровне. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нет!

Утром дома готовились к молебну, и бабка не отпустила Родьку в школу.

— Не каждый день молебны заказываем в честь новоявленной. Родька, чай, не лишний человек в этом доме. Школа не сгорит, коли он там день не побудет.

Родька молчал, не глядел, как прежде, упрямым бычком в пол, лишь тоскливо озирался. И мать испугалась его покорности, робко и неуверенно возразила:

— Как бы шума не вышло...

— То-то вы все боголюбые. — Бабка веником, насажен-

ным на длинную палку, обметала паутину с потолка. — Милости у бога выпрашиваете, а огласки боитесь. А вы не бойтесь за господу шум на себя принять. Снесете, ежели и поругают маленько.

Родька молчал. Он молчал и тогда, когда бабка отозвала его в соседнюю комнату, роясь в коробке среди пузырьков и катушек, сердито зашипела:

— Крест-то бросил? Думал, не узнаю, нечестивая твоя душа? Говори спасибо, бог уберег. Ради такого дия выволочки не получишь. Народ собирается, срам на люди не хочу выносить. Вот тебе другой крестик. Ну-ко, одевай живо да не кобенясь.

Шершавые пальцы бабки расстегнули ворот рубахи, твердая ладонь тычком по затылку заставила нагнуть голову. Шнурок крестика зацепился за ухо, бабка грубо его поправила.

Начали мыть пол, и Родька решил выйти во двор. Но когда он ступил из дверей на крыльцо, понял: лучше бы не показываться из дому.

Пошевеливая вздыбленными плечами, пробив пригнутой головой скучившихся баб, подполз к крыльцу безногий Киндя. Шапки нет, лицо распухшее, сизое, из-под заплывших век — не понять, враждебно, равнодушно или заискивающе — уставились сквозь щелки неподвижные глаза. Он, закинув назад голову, набрал в широкую грудь воздуха, казалось, вот-вот разразится длиннейшей речью. Но Киндя выдохнул лишь одно слово:

— Бла-ослови! — после чего, держась за утюжки, принялся кланяться, касаясь лбом земли, выставляя локти, как кузнечик лапки.

Сморщенный старичок из Заболотья, тот, что знал Ветхий завет, сплюнул и отвернулся:

— Нехристь. С утра нализался... Нашел время.

В надвинутом на глаза платке подскочила мать Кинди, ткнула тощим прокаленным кулачком в налитый кровью сыновний загривок, заговорила с визгом:

— Сгинь, бесстыдник! Сгинь, окаянное семя! Выполз зверь зверем, за мать бы посовестился.

— Бла-ослове-ния хочу, — промычал неуверенно безногий Киндя и опять повалился лбом в землю.

— Кинька! Один останешься. Уйду, мотри! — уже без визга, с угрозой проговорила старуха. — Какое тебе благословление, дурья бабка? Ведь на малом свяченого чина нет.

Киндя помедлил, широкий, плотный, крупноголовый,

по плечо тощей низкорослой матери, вздохнул и боком стал отодвигаться в сторону.

— Ты, голубок, не пужайся. Идем к нам. Покудова там готовятся, посидим рядком, потолкуем ладком.

Из-под платка, козырьком напущенного на лицо, щупали Родьку выпрыгивающие вперед глаза, костистая рука бережно и в то же время твердо взяла за локоть, свела Родьку с крыльца.

Сидевшая прямо на земле, широкая, как созревший от непогоды суслон, Агния Ручкина зашевелилась, попробовала было подняться навстречу Родьке, но не сумела, лишь тоскливо вздохнула:

— Ох-ти, мои ноженьки...

Но из-за Ручкиной выросла закутанная в длинную шаль Мякишиха — глаза выкаченные, сухо блестящие, тонкие губы бесцветны.

— Миленький! — схватила она Родькину руку, припала к ней сухими горячими губами.

Родька с силой выдернул руку, рванул локоть из костлявых пальцев Киндиной матери, затравленно оглянулся. И тут же его взгляд упал на дорогу. К изгороди размашистым шагом приближалась Парасковья Петровна.

В своей неизменной вязаной кофте, легкий платочек туго стягивает прямые черные волосы, на лице будничная озабоченность и знакомая школьная строгость, она так не походила на тех, кто стоял сейчас во дворе, так обычна, так знакома — человек из другой жизни, родной и утерянной для Родьки.

— Родя, ты почему не пошел в школу?

И Родька в эту минуту представил самого себя, словно бы посмотрел со стороны глазами Парасковьи Петровны: в чистой, праздничной рубаше, стянутой пояском, смоченные волосы гладко зачесаны бабкиным гребнем — вот он, ученик из ее класса, среди старух, беременных баб, в компании с пьяным Киндей и Агнией Ручкиной, квашней сидящей на земле. Это был позор. Это был конец. Худшего уже нельзя было представить.

— Родя, я спрашиваю: почему ты не в школе?

Все, кто был во дворе, молчали, с подозрительностью глядели на учительницу. Парасковья Петровна не обращала на них внимания, мягко и спокойно уставилась на Родьку.

И Родька, издерганный за последние дни, измученный кошмарной ночью, не выдержал, схватился за голову, за-

топал ногами, неожиданно осипшим, громким голосом закричал:

— А-а-а!.. К че-ерту-у! Всех к черту-у! Уходите! Все уходите! Все!!

После первого же выкрика в окружавшей его толпе поднялся недовольный ропот:

— Небось на дом пришла.

— Мало ли там шелапутных, которые запросто из училища убегают.

— За теми не следят. Не-ет.

Родька с багровым лицом топал ногами, кричал:

— Уходите! Уходите! Уходите!!

— Родя, пойдем отсюда,— не обращая внимания на враждебный ропот, мягко позвала Парасковья Петровна. Но Родька не слышал, его крик оборвался, он, оскалившись, оглядывался кругом и затравленно вздрагивал от рыданий.

Киндя, раздвигая плечами старушечьи подошлы, пробрался к самой изгороди, задрав опухшую, кирпично-красную рожу, сипловато заговорил базарной скороговорочкой:

— Ты, мамаша, извиняюсь... Иди, мамаша, своей дорогой. Не то я, человек изувеченный, за свою натуру не отвечаю...

Парасковья Петровна сначала с удивлением, потом с безразличностью секунду-другую разглядывала сидящего на земле Киндю, отвернулась, обвела взглядом старух, буравящих ее из-под чистых платков выцветшими глазами, снова обратилась к Родьке, кусающему рукав своей рубахи:

— Успокойся, Родя. Идем отсюда.

Но Киндя снова угрожающе зашевелил поднятыми плечами:

— Ты, мамаша, слышала? Я в переглядки играть не люблю.

Давно не стиранный рукав рубахи распахнута на груди, на распаренной физиономии — ржавчина щетины, из заплывших век глаза враждебно сторожат каждое движение учительницы. За ним, широким, плотным, наполовину вросшим в землю, сбились в кучку старухи в празднично белых платочках, старик из Заболотья по-гусиному сердито вытянул жилистую шею, судорожно ежась, мальчишка прикрывал рукавом рубахи застывший оскал на лице.

На минуту стало тихо. С шумом дышал задравший вверх голову Киндя. Парасковья Петровна, сурово выпря-

мивающаяся, с плотно сжатым ртом глядела поверх Кинди на Родьку.

Никто не двигался, все ждали.

Парасковья Петровна первая пошевелилась. Она нагнула вдоль изгороди к въезду во двор. Без знакомой сутуловатости, распрямившаяся, с бесстрастным лицом, не замечая с угрозой подавшегося на нее всем своим коротким телом Киндю, Парасковья Петровна шла, не спуская взгляда с Родьки.

И Киндю взбесила ее бесстрастная уверенность. Без того красная физиономия до отказа налилась темной кровью, сильная, площадная брань загремела над залитым солнцем двориком. Тяжелый, обшитый кожей утюжок-подпорка полетел в учительницу...

Киндя промахнулся. Утюжок с силой ударил в изгородь, жердь глухо загудела.

Парасковья Петровна резко обернулась. В ее широком, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, силло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Парасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь. Никто не двинулся, никто не обронил ни слова. Только Киндя тряс кулаком над головой, выкрикивал вслед ругательства.

Родька опомнился, увидел перед собой запавший, морщинистый рот Киндиной матери, с яростью толкнул ее в тощую грудь, бросился в сторону, налетел на сидящую Агнию Ручкину. Та, охнув, свалилась на бок.

Чья-то рука пыталась его задержать, он с остервенением ударил по ней. Оскалась, с мокрым от слез лицом выскочил на улицу, бегом бросился по дороге,— прочь от дома, прочь от страшных людей.

22

Через полчаса он сидел дома у Парасковьи Петровны. Небольшая, оклеенная веселыми обоями комнатка была заполнена солнцем. От узкого стола, заваленного книгами и стопками тетрадей, от окна, за которым выбросила нежные оборчатые листочки смородина, от монотонного тиканья темных, старинных часов ложился на измученную Родькину душу сонный покой. Здесь бы жить, не надо ни

бескозырок с ленточками, ни тельняшек, читать бы эти книги, рыться в тетрадах — счастливо живет Парасковья Петровна!

С опухшим от слез лицом, подавленный, вялый, Родька рассказывал о церкви, о непонятном, страшном звуке среди ночи под куполом, постоянно повторял одну и ту же фразу:

— Раз про церковь они не врут, значит, и про бога тоже...

Парасковья Петровна без своей примелькавшейся вязаной кофты, в платице мелким горошком, полная, невозмутимая, уверенная, слушала без всякого удивления, наконец покачала головой:

— Эх-хе-хе. Как ты доверчив. История с церковью — старая песня. Лет двадцать назад я сама лазала слушать это, как его там называют, пиление...

— А что это?

— Надо было самому и дознаться до конца. А то сразу в чудеса поверил.

— Но что?

— Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Когда мимо идет поезд, звук от его колес попадает в церковь и отдается под куполом. Такое явление в физике называют резонанс. Каждую ночь мимо церкви проходит в одно и то же время пассажирский поезд. Значит, каждую ночь в одно и то же время раздается звук, который ты слышал. Но чтоб его услышать, не надо даже лазать ночью. И днем ведь поезда ходят... Понятно тебе?

— Резонанс,— повторил Родька.

Он вспомнил три красных огонька, уходящих в ночь, спокойный стук колес, припомнился и самый звук под куполом. Если разобраться, этот звук действительно смахивал на шум приближающегося поезда, сначала тихо, издали, потом ближе, громче, только визгливей... Вместо радости и облегчения, что все так просто объяснилось, Родька почувствовал страшную усталость и равнодушие. Мучился, ночью не спал, даже молился, а из-за чего?.. Тошно теперь думать об этом, тошно вспоминать.

— История эта забывалась,— рассказывала Парасковья Петровна,— потом опять о ней начинали говорить. Только одни старухи все верили, что она связана с нечистой силой... Э-э, да ты, братец, не слушаешь?

— Я домой больше не пойду,— заявил Родька.

— А я тебя и не отпущу. Поживешь денек-другой у меня, пока мы все не уладим. Я сейчас уйду в школу, освобожусь от уроков и отправлюсь в Загарье, в райком партии. Поговорю начистоту.— Парасковья Петровна поднялась.— Есть захочешь — суп в печке, достань сам. Захочешь погулять, иди. Ключ под дверью положишь. А то книжки читай...

Она ушла.

Родька знал, что муж Парасковьи Петровны, тоже учитель, давно, еще до войны, когда его, Родьки, еще не было на свете, попал с лошадьё в полыньё, простудился и умер.

Парасковья Петровна жила одна в своем домике, по хозяйству ей помогала тетя Глаша, школьная уборщица. Иногда Парасковья Петровна брала себе на квартиру какую-нибудь молодую учительницу, жила с ней до тех пор, пока та не выходила замуж.

В пустом доме одному Родьке стало тоскливо. Он ходил из комнаты в комнату, пощупал руками книжки на полках, но взять их постеснялся.

Родька лег на узенький диванчик, закинул руки за голову и стал разглядывать веселый узор на обоях. Лежал час, лежал два часа, арестант не арестант, а вроде этого. Лежал и думал об одном — об иконе.

Его потревожил осторожный стук в дверь. Он испугался, что войдет кто-нибудь из учителей. Будут расспрашивать, почувствовать, качая головой... Он выглянул в соседнюю комнату и увидел, что в дверь бочком вошла его мать, испуганная, постаревшая, со страдальческой синевой под глазами.

— Родюшка, — горестно и виновато произнесла она. — Ты здесь, сокол?.. Я все село избегала, все кругом обрыскала...

Боровски оглядываясь, она робко подошла, осведомилась шепотом:

— Нет хозяйки-то?

И когда Родька тряхнул в ответ головой — нет, вздохнула свободнее.

— Идем, голубь, домой! Идем!.. Молебен-то давно кончился, все ушли. Тишина теперь дома, слава тебе господи! Идем, горюшко мое!..

Она заплакала, и Родьке стало жаль ее.

Почему ему нельзя жить с матерью и бабкой, как живут все ребята? Что мешает?.. Проклятая икона! Ведь до нее все шло хорошо.

Она припомнилась ему со всеми подробностями: с черным лицом, разделенным длинным и узким носом, с яркими глазными яблоками, с крохотным огоньком лампадки возле бороды. Как он ее ненавидит! И бабуку ненавидит и мать — вцепилась в икону, нет чтоб отдать Жеребихе, обрадовалась игрушке. А эта игрушка всю жлзнь ему поломала! Всю! Чужие люди жалеют, а ей наплевать! На доску променяла!..

23

Не только из-за одной истории с Родей Гуляевым решилась Парасковья Петровна побывать в райкоме партии. Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумниц в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «спялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме.

Шел сев, и нечего было рассчитывать, что колхоз даст лошадь. Начавшее подаваться к закату солнце крепко припекало. Плащ пришлось снять и перекинуть через руку. Пахло прелой листвой, вылежавшей под снегом хвоей, пахло весенним травянистым гниением, обещающим не умирание, а обновленную жизнь. Парасковья Петровна шагала тысячу раз исхоженной дорогой, возле которой были знакомы каждая елка, каждый пенёк. Тридцать лет по этой дороге носила она свои заботы. Постарела, ссутулилась, голова усыпана сединами, и опытнее стала, и умнее — изменилась, только заботы остались прежними. Возможно, по этой же дороге она носила заботы о Родькиной матери. Учись, старый педагог, на просчетах! Не допусти, чтоб Родя Гуляев вырос похожим на свою мать!..

За спиной Парасковьи Петровны послышался стук копыт о влажную землю. Она подалась к обочине, обернулась. Весело взбрасывая сухой головой, украшенной от челки к носу белой проточиной, приближалась легкой рысцой лошадь. Она поравнялась с учительницей, и человек, сидевший в пролетке, натянул вожжи:

— Тпру-у!

В мягкой, крепко надетой на лоб кепке, в брезентовом плаще, в каких обычно ездят районные уполномоченные, седая бородка растрепана встречным ветерком, возвышался в пролетке отец Дмитрий.

— Издалека вас приметил, Парасковья Петровна. Вы не в Загарье? Разрешите просить об одолжении — подкинуть вас до места.

Коляску потряхивало на выбоинах. Весело бежало вдоль дороги еловое мелкоколесьице. Отец Дмитрий вежливо посапывал, ждал, когда Парасковья Петровна первая начнет разговор, не дождался, заговорил сам:

— К великому сожалению, узнал, что вас утром обидел этот пьяный инвалид. Не судите его строго, он достоин скорей жалости, чем осуждения.

— Я незлопамятна.

— Вообще-то народ здесь не испорченный, добрый, гостеприимный. Один порок — упрямы чрезвычайно.

— Упрямы? В чем? Не замечала.

— А вот хотя бы настаивают, чтоб я хлопотал об открытии возле Гумниц храма. Никаких возражений не хотят слушать.

— А вам разве помешает этот храм?

— Нет. Я служитель церкви, и было бы грешно лукавить, что не желаю открытия еще одного храма.

— Тогда вы должны быть довольны их упрямством.

— Вся беда, что теперь открытие храма Николая на Мостах невозможно. Не дадут разрешения. Вот если б, скажем, этот храм был занят под склад или зернохранилище, тогда другое дело. Я, конечно, не присягнул бы за удачный исход, но хлопотать было бы куда легче.

— Почему? — удивилась Парасковья Петровна. — Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить.

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется, вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих.

И не в первый раз за их короткое знакомство Парасковья Петровна с удивлением взгляделась в этого человека. Уткнув бородку в грубый воротник плаща, держа на коленях вожжи своими старческими, со вздувшимися венами руками, он всей своей плотной фигурой выражал скромное достоинство.

Это не только божий агитатор, во славу господя действует не одними молитвами. Гумнищинский колхоз, который уже год не соберется поставить новый клуб, сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета, а тут сколько вам нужно: сто тысяч, двести, триста — пожалуйста, не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтоб не бегала за двенадцать километров ко всеносной, имела храм под боком, без особых хлопот несла туда своим трудом и экономией добытые пятаки.

Отец Дмитрий незаметен, районные власти не прорабатывают его на заседаниях, не привлекают к общественным нагрузкам, живет себе, ворочает делами, ублажает верующих, себя не забывает. Вот он — кепчонка мятая, плащ дешевый, а пролетка новая, лошадь сытая... Загарьинское роно, государственное учреждение, не может выхлопотать себе лошадь, школьным инспекторам приходится бегать в командировки пешком.

Молчание Парасковьи Петровны, должно быть, настрожило отца Дмитрия. Он, повернувшись на тесном сиденье всем телом в сторону учительницы, снова заговорил с интонациями интимной душевности:

— Есть вечная, как мир, истина, Парасковья Петровна: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. Вы это делаете по-своему, а я — по-своему, как могу.

— К чему вы это?

— К тому, Парасковья Петровна, что чувствую некоторое недоброжелательство ко мне с вашей стороны.

— Разве оно вам мешает?

— Всегда прискорбно знать, что достойный человек смотрит на тебя недоброжелательно. Не скрою, среди нынешних священнослужителей есть всякие. Есть и ловкачи, греющие руки на приходах. Есть и просто недалекие, необразованные, без особых идеалов. Но есть и такие, кто всю душу отдает служению добру. Вы не верите в Христа. Я, быть может, сам верю в него с оговорками. Но, если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?

Это был уже вызов на откровенность, и Парасковья Петровна решила его принять.

— Потому и возмущает, что вы пытаетесь добрые чувства вызывать именем бога, именем Христа.

— А не все ли равно, Парасковья Петровна, через бо-

га или через что другое вызываются добрые чувства? Лишь бы они появились.

— Нет, не все равно. Как там в Библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожанья и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни.

— Как же это мы отнимаем? Помилуйте! Пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей и живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла.

— В страхе... Почему вы считаете, что для людей обязательно нужна моральная плетка? Почему вам кажется, что все доброе, все хорошее человек может воспринимать только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого? Я педагог, и я знаю, что нельзя воспитывать детей запугиванием. Вы через запугивание пытаетесь воспитывать людей. Вредная практика! Та же бабка Грачиха всю жизнь жила в страхе перед господом богом. Но ведь это не помогло ей стать чище, лучше, достойнее других, которые давным-давно отбросили этот страх.

— Парасковья Петровна, поведение старой и, я бы сказал, неумной женщины еще не доказывает, что люди не должны жить без веры. Вы, конечно, не будете закрывать глаза на то, что вера в бога может помочь людям верить в другие полезные дела. Хотя бы, к примеру, во время войны я поддерживал среди своих прихожан веру в победу великого русского воинства. Кстати сказать, это была не только духовная поддержка: мои верующие внесли около двухсот тысяч рублей в фонд обороны. На них, наверно, была отлита не одна пушка.

— Да, верю, польза была. Но сколько вреда тем же людям вы принесли вместе с такой пользой?

— Покорнейше прошу, объясните, что за вред?

— Я учила Варвару Гуляеву, чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать.

Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в Гумнищинском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед начальством, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут еще вы вдальбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени. Спасибо вам за вашу маленькую пользу, но знайте: мы по достоинству оценили и вред.

Отец Дмитрий сделал неопределенное движение плечами, словно говоря: «Воля ваша, как хотите думайте...»

— Мы никого, Парасковья Петровна, не тянем к православной вере за уши, — заявил он с достоинством. — Наш долг — лишь не отворачиваться от людей.

— Если бы вы тянули за уши, тогда наш разговор был бы более простой. Вы существуете, этого уже достаточно. Но как бы вы ни притворялись, как бы вы ни успокаивали себя, что ваше добро и ваша вера с нашей сладится, все равно вы знаете: будущее грозит вам тленом и забвением. Не примите это как личную обиду.

Чувственные, полные губы отца Дмитрия скорбно поджались.

— Как знать, как знать, — после недолгого молчания возразил он. — Потянулись же после войны люди к богу. Всякое может случиться впереди.

— Вот вы какие! Называете себя рыцарями добра, а сами тайком ждете больших народных несчастий. Авось они вам помогут. Не так ли?

На этот раз отец Дмитрий ничего не ответил, только покачал сокрушенно головой, отвернулся. Остаток дороги проехали молча.

Парасковья Петровна сошла у райкома партии. Отец Дмитрий натянул снятую при прощании кепку, почтительно проследил взглядом, как Парасковья Петровна, чуть сутуловатая, твердо ступающая своими тяжелыми сапогами, поднялась по крыльцу и скрылась за дверями того учреждения, в которое он никогда не имел ни нужды и ни желания заходить.

В районе кончался весенний сев. Райком партии был пуст, все разъехались по колхозам. В общем отделе стучали машинистки, за закрытыми дверями в пустых кабинетах яростно надрывались телефоны. В кабинете первого секретаря Ващенкова, пользуясь его отсутствием, уборщицы выставляли зимние рамы, мыли стекла.

В скупо освещенном коридоре растерянно слонялись от одной двери к другой два парня в телогрейках. Видно, приехали из какого-то отдаленного колхоза, привезли с собой кучу неотложных вопросов и теперь недоумевали, на голову какого же начальника свалить их. Каждый раз, как Парасковья Петровна проходила мимо, они провожали ее пристальными, вопрошающими взглядами.

Один только заведующий отделом пропаганды и агитации Кучин сидел на своем месте. Парасковья Петровна вошла к нему.

Кучин, держа перед собой какую-то бумажку, побывавшую, видно, не в одном засаленном кармане, кричал в телефонную трубку:

— Горючего нет? Вы мне этим горючим глаза не заливайте! Третьего дня пять центнеров выслано... Ах, застряла! Кто ж в этом виноват: я или господь бог? Почему трактор на вырубку не бросили? Три дня чешетесь! Три дня!..

Парасковья Петровна, опустившаяся на стул, с удовольствием прислушивалась к молодому, упругому голосу Кучина.

Стены кабинета в несвежей штукатурке, скромный портрет Ленина над этажеркой, забитой книгами, стол с треснувшим стеклом и плечистый молодой человек за ним, напористо занимающийся будничными, земными делами,— до последней мелочи все здесь было свое, знакомое, далекое от отца Дмитрия, Грачихи, пьяного Кинди, угрожавшего ей утром.

Кучин бросил трубку, облегченно вздохнул:

— Из-за дорог того и гляди завалим сев. Там горючего нет, тут семенной материал застрял! Здравствуйте, Парасковья Петровна! Какой ветерок к нам прибил?

Парасковья Петровна только собралась объяснить, что за «ветерок» занес ее в этот кабинет, как снова зазвонил телефон, и ей снова пришлось долго ждать, пока Кучин с той же напористостью объяснял кому-то, что райком партии не занимается распределением льносемян, что надо

обращаться к товарищу Долгоаршинному, что он, Кучин, вполне согласен, Долгоаршинный — жук, каких мало, всегда норовит «голый камушек яичком сварить», пора бы, пожалуй, потрясти его на бюро и т. д. и т. п.

Наконец оба, боязливо косясь на телефон, заговорили.

Парасковья Петровна была одним из тех немногих почтенных людей в районе, фамилии которых употребляются не иначе, как с эпитетами «старейший», «заслуженный», тех, чьи фотографии перед каждым праздником украшали райисполкомовскую доску Почета, кого на собраниях обязательно усаживали в президиум. Поэтому Кучин сейчас слушал ее с особым вниманием, с подчеркнутой почтительностью.

Это был плечистый, высокий парень, с буйной шеелюрой, с крепкой красной шеей и открытым лицом, от которого несло простодушным здоровьем. Узкий канцелярский стол был для него тесен, трудно было ему держать в чинной неподвижности свои большие, сильные руки, трудно сидеть не двигаясь, слушать, а не говорить, не доказывать кому бы то ни было правду-матку своим упругим голосом. Его глаза с теплой, какой-то домашней рыжеватинкой выдавали приглушенную энергию, весело стреляли то в Парасковью Петровну, то на разложенные на столе бумаги, то в окно.

Но по мере того как Парасковья Петровна объясняла, простодушное лицо Кучина окрепло, под подбородком у шеи собрались упрямые складки, рыжеватые радужные глаза потемнели.

— Эх! — с досадой крикнул он и так распрявился, что стул заверещал под ним птичьими голосами. — Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время съедают горючее для тракторов, овес для лошадей, заботы вплоть до божьего солнышка.

— Для этого время должны найти.

И Кучин задумался, энергично растирая ладонью щеку, морщась от собственных мыслей.

— М-да... Дело не во времени. Когда мы говорим, надо поднять урожайность, плохо ли, хорошо, мы знаем как. Удобрения, своевременные прополки, культивация — словом, есть целая агрономическая наука с точными указаниями, что делать, как поступать. Но вот говорят, разверните антирелигиозную пропаганду. Как ее развернуть?

Начать высылать лектора за лектором, которые бы объясняли, будет ли конец мира. Во-первых, на такие лекции ходят обычно неверующие. Во-вторых, если верующие и придут, то одними лекциями их не вылечишь.

— Так почему же вас не беспокоит такая беспомощность? Вы заведующий отделом пропаганды и агитации, вы партийный просветитель в районе, почему я до сих пор не слышала вашего тревожного голоса? Почему вы занимаетесь горячим, овсом или, как там сказали, заботами о солнышке и забываете позаботиться о самом важном: о сознании людей?

Парасковья Петровна исподлобья глядела на Кучина, а тот, под ее взглядом утративший свою жизнерадостность, как-то сразу заметно отяжелевший, с крепко сжатым ртом, в углах которого появились жесткие складки, слушал, навалившись на край стола широкой грудью.

— Про сознание людей мы не забываем. А если и забудем, то нам напоминают, иной раз довольно чувствительно,— заговорил он.— В Ухтомском районе кучка стариков и старух потянула за собой молодежь на крестный ход в честь какой-то там старо- или новоявленной святой. Кому попало? Виновникам? Нет, они все здравствуют в полном благополучии. Попало секретарю райкома, попало такому, как я, заведующему отделом пропаганды.

— Правильно попало.

— Видимо, правильно, спорить не приходится. Только все же надо помнить, что здесь, в райкоме, сидят обыкновенные люди, а не какие-нибудь чудотворцы. Тысячу лет на Руси людям вдальбивали сказки о божестве. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: ну-ка, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтобы стали они чистыми, как стеклышко!

— А кто от вас требует делать это в два счета? Вы, я помню, на своем месте сидите уже четвертый год, до вас занимал Климов ваш кабинет, до Климова еще кто-то... Разве тогда менее остро стояли эти вопросы? Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились?

— Добились многого. В те годы, когда Климов сидел здесь, колхозники получали на трудодень по триста граммов хлеба, теперь те же колхозники получают внятеро больше.

— Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. При чем тут хлеб?

— А при том, что хлеб, овес, горючее — все это своего рода борьба с религией. И вы сами прекрасно понимаете. Старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — давным-давно осуждены как вредные. Теперь мы идем в наступление на религию не лобовой атакой, а медленным, постепенным натиском. Нельзя за год, за два, даже за десятилетия уничтожить то, что вращалось тысячелетиями. Столетнее дерево не сшибешь ударом кулака, его нужно подкапывать снизу, с корней.

— Общие фразы.

— Нет, мы теперь меньше всего произносим фраз по поводу религии. Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в щах, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши доказательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателя колхоза Гриднева больше верят, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо. Потом другая сторона. Вы ждете от нас помощи, а мы ее ждем от вас. Таких, как вы, Парасковья Петровна, по нашим деревням и селам разбросаны сотни: учителя, агрономы, врачи. Нас в райкоме единицы, вас армия. Почему бездействуете? Легче всего надеяться, что ветерок из райкома разгонит тучи.

— Кто-то должен поднять эти сотни. Скажите нам — пора! И мы поднимаемся. Может быть, не все сразу, но многие зашевелятся.

— Команды ждете. А эти старухи, наверное, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Надо, чтоб антирелигиозная пропаганда стала неотъемлемой частицей совести каждого мало-мальски культурного человека.

— Приятные речи приятно и слушать, — мрачно согласилась Парасковья Петровна. — Но что делать нам сейчас? Что делать с Родей Гуляевым? Ведь я, его учительница, не могу же успокоиться разговорами о постепенном наступлении на религию?

Кучин сидел, большой, нахохлившийся, глядел на свои крупные руки, выброшенные на стол.

— Тут я вижу только один выход. Надо этого маль-

чика как-то очень осторожно отделить от родителей. На время, пока у тех не пройдет угар. А там мы найдем возможность поговорить и образумить если не старуху, которую, видно, одна могила исправит, то хоть мать. Только как это сделать? В этом вы, Парасковья Петровна, должны нам посоветовать. Вы рядом с ними живете, вы должны знать обстановку.

Парасковья Петровна задумчиво вертела в руках тяжелое пресс-папье, без нужды внимательно его разглядывала, долго не отвечала. Кучин следил за ней со сдержанным беспокойством.

— Я бы могла взять на время мальчика к себе.

— Если это нетрудно...

— Мне-то нетрудно. Только его бабка и его мать поднимут шум, будут устраивать скандал за скандалом, чего доброго, через суд начнут требовать сына.

— Это было бы хорошо! — Кучин с треском заворочался на своем стуле, глаза повеселели, прежняя энергия вернулась к нему. — Пусть бы требовали через суд! Дело получило бы огласку, привлекло бы общее внимание. Разгорелся бы бой в открытую.

— И все-таки успеют на меня вылить не одно ведро грязи.

— Не посмеют. Все эти поклонники господы действуют только исподтишка. Ваш новый знакомый, как его, отец Дмитрий, первый бросится утихомиривать родителей мальчика. Для него любой общественный шум как солнечный свет для крота. Берите к себе вашего ученика, Парасковья Петровна. А мы со своей стороны комсомольские организации на ноги поднимем, нашу районную газету попросим вмешаться...

Парасковья Петровна встала со своего стула:

— Так и сделаю.

Поднялся и Кучин, высокий, под потолок, с выпуклой грудью, туго перетянутый ремнем по суконной рубашке. Его открытое лицо по-мальчишески сияло: пусть частный, пусть временный выход, но все-таки что-то нашли, на что-то решились.

В дверях Парасковья Петровна столкнулась с теми парнями, которые бродили по коридорам. Они скрылись в кабинете, и оттуда послышался напористый голос Кучина:

— Ребята, милые! Я ж вам говорил: не в моих силах достать транспорт! Понимаю, понимаю вас! Ну, хорошо, давайте позвоним Егорову...

В Гумнищи Парасковья Петровна вошла ночью. Устало брела темными улочками к своему дому мимо закрытых калиток, из-за которых на ее шаги сонно лаяли собаки.

Около сельсовета лампочка в жестяном абажуре тускло освещала выщербленный булыжник. Рядом на столбе висел ржавый вагонный буфер. Ночной сторож Степа Казачок обычно отбивал на нем часы. Самого Казачка нигде не видно, спит, верно, дома. Да и то, чего сторожить? Давно уже не слышно, чтобы кто-нибудь покушался на покой гумнищинских обитателей.

Парасковья Петровна снова углубилась в темную улочку.

Неожиданно она услышала быстрые, легкие шажки и прерывистое дыхание — кто-то бежал ей навстречу. Маленький человек чуть не ударился головой ей в живот.

— Кто это? — спросила Парасковья Петровна.

— Это я...

Парасковья Петровна узнала Васю Орехова.

— Ты что в такой поздний час бегаешь?

— Пар... Парасковья Петровна... — задыхался он. — Родь... Родька в реку... бро... бросился!..

— Как бросился?

— Топ... топиться из дому побег!.. Его сейчас Степан... Степаи-сторож несет... Это я Степана-то позвал.

— Ну-ка, веди! Да рассказывай толком.

Парасковья Петровна взяла за плечо Ваську, повернула, легонько толкнула вперед. Васька побежал рядом с нею, подпрыгивая, заговорил:

— Он вечером ко мне прибежал...

— Кто он?

— Родька-то... Прибегает и говорит. «Я, Васька, говорит, дома жить не буду. Сбегу!.. Я, говорит, сперва эту икону чудотворную расколочу на мелкие щепочки... Ты, говорит, мамке своей не болтай, а я к тебе ночью приду, на повети в сене спать буду». Я сказал: «Спи, мне не жалко, я тебе половиков притащу, чтоб накрыться...» Холодно же!.. Он ушел. А я сидел, сидел, ждал, ждал, потом дай, думаю, взгляну, что у Родьки дома делается, почему долго его нет. Мамка к Пелагее Фоминишне за закваской ушла, а я к Родькиному дому. Подбежал, слышу, кричат. И громко так, за оградой слышно. Я через огород-то пере-

лез да к окну... Ой, Парасковья Петровна! Родька-то на полу валяется, в крови весь, а она его доской, доской, да не плашмя, а ребром!

— Кто она?

— Да бабка-то... Доской... Родька-то икону расколотил, так от этой иконы половинкой прямо по голове.

— А мать его где была?

— Да мать-то тут стоит. Плачет, щеки царапает... Стоит и плачет, потом как бросится на бабку. И начали они!.. Родькина-то мамка бабку за волосы, а бабка опять доской, доской... Родька тут как вскочит — и в дверь. Я отскочить от окна не успел, гляжу, он уже за огородец перепрыгнул. Я за ним. Сперва тихо кричу — он бежит. Пошумней зову: «Родька, Родька!» Он из села да па луг. Уж очень быстро, не успеваю никак... Потом понял: он ведь к реке бежит, прямо к Пантюхину омуту. Я испугался да обратно. Хотел мамке все рассказать. А мамки дома нету, у Пелагеи сидит... Я на улицу, смотрю, Степан Казачок идет часы отбивать. Я ему сказал, что Родька Гуляев к реке побежал, его бабка поколотила. Дедка-то Степан послушный. «Пойдем, говорит, показывай, куда побежал...»

— Вытащили?

— Да нет... Никого на берегу не видно. Вода-то тихая. Стали кричать, никто не откликается, искали, до Летнего брода дошли, обратно повернули. Ну, нет никого, и все. А ночью под водой разве увидишь...

— И где же нашли?

— Услышали, что-то под берегом поплескивает. Заглянули под обрыв, а там темнеется. Родька-то наполовину из воды вылез и лежит на берегу весь мокрехонек. Прыгнуть-то, видать, прыгнул, а утонуть не смог — выплыл. Он лучше Пашки Горбунова плавает... Весь мокрехонек, голова ледяная аж... Стали его поднимать, а его вытощило. Степан говорит: «Нахлебался парень...»

— Где же они?

— Степан-то — старик, сил мало. А Родька на ногах не стоит и глаз не открывает...

Они не успели выйти из села, как впереди замаячила темная фигура.

— Дедко Степан! — окликнул негромко Васька.

— Ох, батюшки! Привел-таки... — раздалось впереди старческое кряхтенье.

Парасковья Петровна, опередив Ваську, подбежала к нему:

— Жив?

— Голос недавно подавал, выходит, жив... Ох, тяжелечек парень! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, виснет, как куль с песком.

В темноте можно было разглядеть свесившуюся голову, бледным пятном — словно все черты стертые — лицо. От его одежды тянуло вызывающим озноб глубинным речным холодком.

— Дай-ка возьму за плечи.— Парасковья Петровна осторожно просунула свои руки под мышки Родьке.— В одной рубашонке выскочил... Несем ко мне! — решительно распорядилась она.

Степан, держа Родькины ноги, двинулся, спотыкаясь и приговаривая:

— Вот они какие, дела-то!.. Беда чистая!..

Парасковья Петровна сорвала со стола клеенку, набросила на кровать, уложила мокрого Родьку.

На плечах сквозь прилипшую к телу рубашку просвечивала кровь, грудь рубашки была запачкана грязью, в слипшихся на лбу волосах песок, все лицо, что лоб, что губы, ровного зеленоватого цвета. Парасковья Петровна протянула руку, чтобы снять грязь со щеки, и тут же быстро отдернула ее — грязный сгусток на щеке оказался спекшейся раной.

— Степан, ты не уходи, поможешь мне раздеть,— принялась командовать Парасковья Петровна.— Вася, беги к Трофиму Алексеевичу. Быстренько, родной, быстренько! — И не удержалась, выругалась негромко: — Животные! Довели мальчишку!

Вместо Трофима Алексеевича, гумнищинского фельдшера, минут через сорок появился с Васькой председатель колхоза Иван Макарович.

— В Загарье наш медик. У них совещание в райздраве. Загостился,— сообщил он громким голосом, но, взглянув на Парасковью Петровну, осекся, спросил тихо и серьезно: — Что тут стряслось? Парнишка, чуть не плача, на меня набросился. Утопился, говорит...

В своем неизменном бушлатике, в мичманке, сбитой на затылок, пахнущий махоркой и ночной свежестью, Иван Макарович, неуклюже ступая на скрипучие половицы, подошел к кровати, сосредоточенно выслушал Парасковью Петровну.

— Ну и ну, выкинули с парнем коленце! То, что карга старая ополоумела, дива нет. Но как эта дуреха Варвара допустила?

— Как допустила? — переспросила Парасковья Пет-

ровна. — Кому это и знать, как не тебе! Не под моим, а под твоим присмотром Варвара живет.

— Я-то при чем тут? У меня и без того дел по горло. Слежу, как службу ломает в колхозе, а чтоб еще от святых угодников оберегать... Нет уж, не по моей специальности.

— То-то и оно. Лишь с одной стороны на человека смотрите, как он службу ломает.

Иван Макарович не ответил, стряхнув задумчивость, неожиданно закипел в бурной деятельности:

— Степан!.. Нет, лучше ты, малый. У тебя ноги молодые. Лети, браток, на конюшню, там Матвей Дерюгин дежурит. Скажи, чтоб Ласточку запрягал. Да сена побольше пусть подкинет, да и не раскачивается пусть и не чешется! Через десять минут чтоб здесь, у крыльца, подвода стояла! Парня в больницу повезем... Стой! По дороге стукни в окно к Верке-продащице. Пошибче стучи: спать здорова баба. Крикни, пусть сюда поллитрочку принесет. Иван, мол, Макарович велел. Парня надо водкой растереть, чтоб после холоду кровь заиграла.

— Когда же она это успеет, пока в магазин ходит да пока открывает... — посомневался Степан Казачок.

— Эх ты, век прожил, а жизни не знаешь! Такой товар Верка всегда про запас дома держит...

Парасковья Петровна, следившая за председателем, чувствовала, что он сейчас излишне шумлив и напорист, видно, его задело за живое, теперь хоть чем-нибудь да пытается оправдаться.

— Ну, чего уши развесил? — крикнул Иван Макарович на Ваську. — Выполняй приказ! Ноги в руки, полный вперед!

Бросившийся сломя голову к дверям Васька вдруг отскочил назад. Через порог перешагнула Варвара, растрепанная, простоволосая, со страдальческой синевой под глазами. Она остановилась у порога, обвела всех бессмысленным взглядом. Степан Казачок виновато переминался в своем углу. Парасковья Петровна выжидательно уставилась исподлобья, Иван Макарович весь подобрался.

— Родьку моего не видели? — робко выдавила Варвара.

Иван Макарович шагнул на нее:

— Родьку? А на что он тебе? Снова на святых угодников менять?

И тут только взгляд Варвары упал на кровать. На по-

худевшем лице Родьки, на лбу и щеках расцвели вишневые пятна.

Варвара опустила на пол, вцепилась руками в волосы, закачалась телом и сдавленно замычала. И в этом сквозь стиснутые зубы мычании, в искажившемся лице, в прижатых к вискам кулаках, в медленном раскачивании было такое истощенное горе, что Иван Макарович беспомощно оглянулся на Парасковью Петровну.

Варвару, уткнувшую в ладони лицо, усадили на стул. Иван Макарович, повинувшись взгляду Парасковьи Петровны, осторожно ступая по половицам, принес ковш воды. Парасковья Петровна села напротив.

— Выпей и успокойся, — приказала она. — Сына твоего мы сейчас увезем в больницу. Не пугайся — поправится.

Варвара припала распухшими губами к ковшу.

— Но слушай, — продолжала Парасковья Петровна, — я этого оставить так не могу. Пока в твоём доме будет жить твоя мать, я Родиона к вам не пущу. Слышишь, они не должны жить вместе. Если и ты не одумаешься, и тебе не отдам сына. Понимаю, все сложно, все трудно, все тяжело, но сделать нужно. Нельзя калечить жизнь Роди. Будете препятствовать, дойду до суда.

Варвара снова залилась слезами.

26

В избу сквозь наглухо закрытые окна неприметно влился робкий рассвет. Стала отчетливо видна не только спинка кровати, но и фотографии, веером висящие на выцветших обоях, и щели на потолке.

Варвара после того, как пришла от Парасковьи Петровны, не сомкнула глаз. Она лежала на спине и думала.

Как всегда, ее мысли забегали вперед, в завтрашний день. Как всегда, этот день пугал ее. Раньше, чтоб прожить его покойно, без всяких случайностей, она просила помощи у бога, шептала молитвы: спаси, боже, помоги от напастей. Она верила в эту помощь, в надежде на нее ей становилось легче жить.

Ох, Родька, Родька! А вдруг да не выживет, вдруг да — страшно подумать — умрет в больнице!.. Парасковья Петровна говорит, что не опасно, Иван Макарович лучшую лошадь снарядил, сам поехал, обещал, что с постели по-

дымет самого Трещинова. К доктору Трещипову из соседних районов ездят лечиться... Дай-то бог! Утром до школы опять надо пойти к Парасковье Петровне, пусть посоветует, как жить дальше. Она и сама теперь понимает: Родьке с бабкой не поладить. Крута мать, не забудет икону. Будь трижды проклята эта икона!.. Это сказать легко: Родьку от старухи отделить. Пусть Парасковья Петровна поможет, Ивана Макаровича тоже надо попросить... Сообща-то что-нибудь придумают...

Все сильнее и сильнее сквозь мутные окна сочился рассвет. За стеной над карнизом завозились воробьи. Варвара лежала лицом вверх, остановившимися глазами глядела в потолок. Она сама не замечала, что сейчас, забегая мыслями вперед, в наступающий новый день, искала помощи уже не у бога, а у людей.

На воле из конца в конец по селу прокричали петухи. За дощатой переборкой зашевелилась старуха. Слышно было, как, вздыхая, легонько поохивая, спустилась она с полатей, половицы закрипели под ее босыми ногами. Вот она стукнулась костлявыми коленями о пол, забормотала... Старая Грачиха начала свой день, как всегда, с молитвы.

Варваре все известно наперед. Если она скажет матери, что будет советоваться, просить помощи у Парасковьи Петровны и у Ивана Макаровича, наверняка старуха начнет поносить их: «Они такие, они сякие... Учительша, мол, жалованье не за то получает, чтобы чужих из беды выручать. Мы для них седьмая вода на киселе, за спасибо-то не больно люди тороваты...» И, уж конечно, один припев: молись! Почему она всю жизнь ее, Варвару, отпугивает от людей? Почему считает, что никому, кроме бога, нельзя доверять? Разве можно жить так дальше? Родька-то не понимал всего; теперь и он учен. Ох, бедная головушка! В такие-то годы да попасть в беду!.. И в какую беду! Она, Варвара, мало ли, много, а уже успела пожить, и то у нее голова кругом пошла от напастей. Не знаешь, чью сторону принять: старухи матери или добрых людей? Нет, трудно с матерью оставаться под одной крышей! А как расстаться? Жили семьей — одни заботы, одно хозяйство...

Старуха, снова поскрипывая половицами, заходила по соседней комнате. Она показалась в дверях — вздохмаченная, в одной ветхой рубахе, с жилистыми темными руками, обнаженными по самые плечи, заметила пошевелившуюся Варвару.

— Не спишь?.. В Загарье я собираюсь,— сообщила она. Варвара не ответила. Старуха скользнула по ней бегающим, виноватым взглядом.

— Ладно, чего там... Авось бог милостив, все обойдется. Я нашему сорванцу-то гостинчиков свезу. Небось и у меня за вчерашнее-то сердце болит.

Варвара с трудом оторвала голову от подушки, тяжело поднялась, села на кровати. Она представила себе, как у койки больного и без того издерганного Родьки появится бабка, одним своим видом уничтожит покой, мало того, начнет свои уговоры: «Бога обидел, неслух... В грех ввел...» Опять бередить душу парню! Хватит!

— Не езди к нему,— сказала глухо Варвара.

— Чего так — не езди?

— А так... Не хочу.

— Ужель тебя спрашивать буду? Не чужая ему. Внук он мне, не по задворью знакомы.

— Слушай, мать.— Голос Варвары зазвучал непривычными для нее нотками скрытой озлобленности и решительности.— Давай договоримся подобру-поздорову...

— О чем это нам договариваться-то?

— А о том, как бы жить врозь. Я с Родькой, ты сама по себе.

У старухи гневной обидой заблестели глаза, по углам плотно сжатого рта резче обозначились морщины. Секунду молча она оторопело глядела на дочь.

— Свихнулась, Варька?

— Видать, свихнулась... и давно, коль тебя во всем слушалась!

— Вскормила, вспоила тебя, стара стала — не нужна... Меня же обидели... Да какое там — бога в доме обидели! Волчонок-то до чего додумался — святую икону топором!

— Молчи!

— Так я тебе и замолчала! Как же!.. За то, что за господу заступилась, мне подарочек. Опомнись, греховная твоя душа! Подумай-ка, на какие слова твой язык повернулся! Жить врозь! Да вы с ним подохнете вдвоем! Я на вас, как лошадь, воровала! Вот она, благодарность-то па старости лет...

— Если по добру все уладим, и ты жить будешь, и мы...

— По добру?! Да где у вас, у нынешних, добро-то? Что душа Кощеева, спрятано оно у вас за тридевятью замками, не доберешься. Старуху мать из дома выгнать на улицу — вот оно, ваше добро! А пет, не выгоните! Дом-

то мой! Я с покойничком отцом твоим, царство ему небесное, строила, каждое бревнышко своим горбом перепробовала.

— Живи в своем доме, я уйду.

— Дождалась я! Господи! За какие прегрешения меня наказываешь? Дочь родная отрекается! Выпестовала иуду на свою голову!..

Старуха перешла на крик.

Крыша дома напротив розово осветилась от разгоравшейся зари. В свежести утра завозились воробьи, их суматошные голоса хлынули разом, как внезапный веселый дождь с крыши.

В доме же Варвары Гуляевой утро начиналось со скандала. И чем сильнее этот скандал разгорался, тем больше крепло решение Варвары: под одной крышей жить нельзя!

Под вечер того же дня Парасковья Петровна, возвращаясь из школы, увидела перед своим домом лошадь с белой проточиной, запряженную в знакомую пролетку. С крыльца навстречу ей поднялся отец Дмитрий.

— Здравствуйте, Парасковья Петровна. Прошу не удивляться, я к вам на минутку по делу. Если вы не против, присядемте прямо здесь.

Оба они опустили на ступеньки крыльца. Отец Дмитрий некоторое время прощупывал учительницу спокойным взглядом выцветших глаз, наконец заговорил:

— Я глубоко удручен тем несчастьем, которое случилось вчера. Поверьте, по-человечески удручен...

— Вы только за этим приехали, чтоб выразить мне свое соболезнование? — спросила Парасковья Петровна.

— Нет. Я слышал, вы собираетесь подавать в суд на старуху, избившую своего внука. Воля ваша, но стоит ли поднимать шум и трескотню? Достаточен ли повод? Старая, выжившая из ума женщина предстанет перед законом за то, что устроила семейный скандал. Да и мальчик, хоть и получил некоторое потрясение, все же теперь находится вне всякой опасности...

— Вы боитесь этого шума?

— Не скрою, он мне большого удовольствия не доставит... Я попытаюсь уладить осложнившиеся дела в доме потерпевшего мальчика. Дочь и мать, как недавно я узнал, не желают жить вместе. Но стоит вопрос: как разой-

тись, куда девать старуху? Я могу забрать ее из Гумниц, устроить при храме уборщицей...

— С одним условием, не так ли?

— Увы, да. Не возбуждать судебного дела.

Отец Дмитрий, склонив на плечо свою крупную голову, вежливо ждал ответа, чистенький, приличный, мягкий, ничем не выдающий ни волнения, ни нетерпения.

— Значит, верно сказал мне вчера один человек, — говорила Парасковья Петровна, — что огласка для вас, как солнечный свет кроту.

— Публичное поношение никому не доставляет удовольствия.

— Нет, отец Дмитрий, людского осуждения бояться только те, у кого нечиста совесть. Разрешите мне действовать по своему усмотрению. Семейные же дела Варвары Гуляевой мы как-нибудь общими усилиями уладим.

Парасковья Петровна поднялась со ступеньки.

Тройка, семерка, туз

1

Сотни, а может, тысячи (кто считал!) речек, реченок и упрямых ручейков, протачиваясь сквозь прель опавшей листвы и хвои, прорывая путь в корневищах деревьев, несут из ржавых болот воду в эту большую реку. Потому-то вода в ней темна, отливает рыжей накипью. Потому-то в пенастье у реки особый цвет, не просто свинцовый, а лежало-свинцовый, древний.

Река всегда полноводна. Песчаные отмели у берегов — редкость. Выписывая привольные петли, течет она по необжитому, дикому краю к полярному морю. А по самой реке — день и ночь безмолвное шествие. День и ночь по реке плывут бревна.

Их путь нелегок. Отмели (они встречаются на любой реке, даже на полноводной), тихие заводи, просто закраины у берегов — все ловушки, всюду можно застрять. Неторопливо течение, медлительно движение вперед. Многие из речных паломников не выдерживают. Набухает водой древесина — у бревна утонает один конец, над водой торчит тупая макушка. Но бревно упрямится, ползет вперед, тащит по дну отяжелевший конец, пока не огрузнет совсем и тихо не ляжет на дно. Вялые паломы будут прятаться под ним в летние дни, запесет его песком и илом. А другие бревна-паломники поплывут все дальше и дальше, пока не попадут в западь перевалочной базы. Там их выкатят из воды, начнут сортировать: это строительный — на лесопильный, это баланс — пойдет на бумагу, это кренежник — на шахты, это резонанс — из него можно делать музыкальные инструменты. Расписаны по графам, разложены по штабелям — забвенные лежащим на дне покойникам, новая жизнь тем, кто сумел дойти до конца.

Течет северная река — великая артерия молевого сплава. Местами она свой лениво-суровый характер меняет на яростный — кипит среди камней, брызжет, песет хлопья желтой пены. Здесь пороги. Их несколько по всей реке. И самые крупные — Острожки.

2

Собственно, это два порога: первый — Большая Голова; чуть ниже, метров на двести — Малая. Над затопленными огромными валунами вечное, никогда не прекращающееся волнение, в сыром воздухе неумолкающий рев.

Как раз напротив Большой Головы разместился крошечный поселок — всего пять домов, считая маленький магазин, где торгуют хлебом, сахаром и консервами.

Лес, тесно прижавший дома к берегу, серое небо и кипящая на порогах река... Эта река — единственная дорога, по ней раз в неделю на лодке подвозят продукты.

Пять домов — мастерский сплавучасток Дубинина. Население — тридцать два человека: двадцать пять рабочих-сплавщиков, уборщица, продавщица Клаша, моторист Тихон, трое девчат в столовой и сам мастер Дубинин — глава поселка.

Плывут россышью бревна, трутся друг о друга, тесно сбиваются в заводях, садятся на отмелях.

Каждое утро с баграми и топорами сплавщики рассаживаются по лодкам и разъезжаются по пикетам. Запесенные в кусты бревна скатываются обратно в воду, освобождаются заводи, очищаются отмели... Население маленького поселка существует для того, чтобы бесконечное шествие леса по реке не останавливалось.

3

Мастер Дубинин живет прямо в конторе. Рядом с колченогим столом, на котором он выписывает наряды, стоит койка. На стене висит телефон. Звонит этот телефон хрипло, рычаще. А так как на одной линии таких телефонов навешано, что паживы на перемет, то рычащие звонки раздаются ежеминутно. Один звонок — значит, кто-то добивается коммутатора, два — вызывают мастерский участок Кротова, три — лесозаготовительная организация... А есть еще участок Горшкова, Дымченко... Дубинин не обращает

внимания на чужие звонки, может крепко спать под хрип-
лое рычание телефона. И если раздастся четыре звонка,
просыпается — его!

Дубинин невысок и неширок в плечах, ходит медли-
тельно, враскачку. Сплавщики — все дюжие ребята, це-
лые дни проводящие на окатке бревен, — в один голос
уважительно отзываются о его силе: «Любому вязы
скрутит...»

Все зовут его Саней, хотя он самый старший по долж-
ности, да, пожалуй, и по возрасту. Маленькие, под насуп-
ленными бровями глаза сонно угрюмоваты, в крепкой ры-
жеватой щетине массивный подбородок, нижняя губа отви-
сает, к ней всегда приклеена тлеющая сигарка, резиновые
сапоги с завернутыми голенищами, мешковатый, неопреде-
ленного цвета пиджак, натянутая на брови кепка... И, как
бы дополняя пелюдимый вид, из-под полы пиджака выгля-
дывает финка в кожаных ножнах. Финка для Дубинина
не оружие, ею он потрошит рыбу, режет хлеб, выструги-
вает рогульки для жерлиц, нарезает ивняк для морд, кото-
рые сам плетет. В маленьком поселке, где живут тихо и
дружно, никому и в голову не придет обзаводиться ору-
жием.

В субботу обычно поселок пустеет. Сплавщики сменя-
ют высокие резиновые сапоги на яловые, переезжают в
лодках на другой берег и по глухим лесным тропинкам
идут в свои деревни. Все они из ближайших деревень —
Куренево, Закутное, Яремное. Вечером в воскресенье они
возвращаются — попарившиеся в банях, облаканные же-
нами, большинство довольные, кое-кто озабоченный домаш-
ними неурядицами. У многих, случается, не совсем вывет-
рился праздничный хмелек. На участке не пьют — продав-
щица Клара спиртным не торгует.

У Дубинина тоже дом в деревне Закутное. Один день
в неделю он проводил с женой и детьми, шесть дней —
на участке. Дома он гость, а настоящая жизнь — среди
сплавщиков.

Только Ступин, младший брат Ивана Ступина, сла-
вившийся среди сплавщиков книгоцеем, отпросился в город
на учебу. Дубинин выхлопотал ему на дорогу премиаль-
ные, подарил совсем не ношенные яловые сапоги, писал
письма, сам тайком высылал деньги, заставлял помогать
старшего брата.

Сплавщики отзывались о мастере:

— Саша-то ничего мужик... Свой в доску.

Рабочие жили в общежитии. Двадцать шесть коек, разделенных фанерными тумбочками, окружали громоздкую печь. В непогожие дни эту печь так усердно топили, что нельзя было прислониться — обжигала.

Работа сплавщиков — грубая работа. Своротить с места набухшее водой бревно, столкнуть его в воду, чтоб плыло себе дальше, — какая уж, кажись, хитрость. Нужны багор, топор, прочная слега и крепкие мускулы. Но и среди сплавщиков есть свои артисты.

Как-то продавщица Клаша, вопреки правилу не торговать спиртным, завезла в свой магазин ящик шампанского. Купили в складчину бутылку. Иван Ступнин поставил ее на конец бревна, сам встал на него и, орудуя багром, переехал за реку, вернулся обратно, не дав себя утащить напористому течению в кипение Большой Головы, не обронив в воду бутылки. Забава — рискованная сама по себе; кроме того, Иван Ступнин, всю жизнь кормившийся рекой, едва-едва умел плавать.

Эту бутылку он распил один, поминутно сплевывая.

— Перипетия одна — квас. Только и славы, что в нос шибают. Стоило из-за этого спектакль показывать.

Любое состояние своей души — будь то радость, огорчение, удивление, пренебрежение — он выражал одним непонятным ему словом: *п е р и п е т и я*.

— Запаль Ощериинскую прорвало. Будет нам работки.

— Эхма, перипетия...

— По радио передавали: новый спутник в небо забросили, больше тонны весом.

— Ишь ты, перипетия.

— Под Куревном медведь бабу заломал. В больницу отвезли, не известно, жива ли будет.

— Ну и ну, не-ри-петия.

Кроме Ивана Ступнина, было еще два артиста — Егор Петухов и Генка Шамаев.

У Егора рыхлое, бабье лицо с торчащим острым носом. И голос у него тонкий, бабий, несолидный. Когда Егор одет, он неприметен, даже кажется каким-то пришибленным. Но разденется — широкие, налитые плечищи, лепная, играющая от малейшего движения мускулами грудь, тугие бицепсы, перекатывающиеся под кожей.

Егор славится своей скупостью. Ему постоянно кажется, что в столовой воруют.

— Пять рублей берут за обед, а дают что?.. Водичку.

— Ты, поди, за пятерку-то из-под себя есть готов?

— Может, кто и богат, а я пятерки-то не печатаю. Мно каждую копейку считать приходится.

Он хороший славщик и зарабатывает много, больше мастера. Все знают, что Егор бездетен, что его жена работает при леспромхозе, живет на свою зарплату. Деньги, что не успел положить на книжку, Егор хранит в чемодане. Этот чемодан, похожий на сундук, запирается на большой всячий замок, хотя воровства на участке не помнят даже такие старожилы, как Иван Стушин.

Странно было видеть Егора, когда он, чуть сутуловатый, со скучным, даже брюзгливым выражением, проходил на бревне «малую кипень» — место перед порогом. Бурлит вода, раскачивается бревно, а Егор цепко стоит на нем, лениво вскидывает багром, не спеша отталкивается от камней, от наползающих бревен. И уж он не промахнется, не оступится, причалит к берегу, буднично, со сварливым страданием начнет жаловаться:

— Эвои перекатали-то сколько, а вот уж посмотрим — столько ли запишут... Вот уж, я зна-аю...

Генка Шамаев высок, плечист, разлохмаченная шевелюра падает на брови, лицо обветренное, дерзкое. Девчата в столовой всегда подставляют ему щи и погуще и пожирней. Но Генка каждый вечер садится в лодку, заваливаясь на веслах, резкими толчками гонит ее к другому берегу, оставляет лодку и скрывается в лесу. Километрах в шести — лесопункт, там работает Катя, ей лет двадцать пять, не больше, по уже вдова. Как рассказывают, муж ее из поморов, погиб прошлой весной в море.

Случалось, что Генка задерживался на окатке, и тогда видели ее. Она выходила на берег, кутаясь в платок, до темноты ждала под морозящим дождем.

Генка возвращался всегда поздно. На койку под простыни ему клали поленья и палки, он выбрасывал, ложился и спал как убитый.

А утром все густо ржали, отпускали такие шуточки, от которых, казалось, должны бы пунцоветь потолочные балки. Генка снисходительно улыбался, с хрустом лениво потягивался — белотелый, гибкий и довольный собой.

На участке ходили легенды о каком-то старом славницеке Терентии Кляне, который будто бы проходил, стоя на бревне, насквозь Большую Голову. Генка как-то раз тоже

решился въехать на матером кряже прямо в пороги. Но его при первом же нырке сбило, накрыло волной. Думали, что закрутит, насмерть избьет о камни, но он выплыл босой, мокрый, злой — резиновые сапоги тянули ко дну, пришлось сбросить.

— Врали, сволочи, про Кляпа. Не проскочишь...

5

Всем троем втайне завидовал Лешка Малипкин. Ему недавно исполнилось двадцать лет, на участке работал всего полтора года. Пришел из соседней деревни по-мальчишески круглоголовой, пеуклюжий, страшно робел перед Дубининым. За последнее время раздался вширь, переиял дубининскую походку враскачку. И не только походку... В разговоре старался быть скупым на слова, как Саша, сурово и многозначительно хмурил лоб, как Саша, мечтал: «Вот поработаю год-другой, отпрошусь на курсы, вернусь обратно таким же мастером...» Представлял: дюжие сплавщики станут слушаться его слова, уважительно за глаза отзываться «свой в доску», будет ходить он по участку справедливым и строгим хозяином, как Саша. Нет для Лешки выше человека!

Впервые в жизни Лешка почувствовал в руках силенку. Она удивляла и восхищала его. Если кто-нибудь замечал, что слега, которую подхватил Лешка, слишком тяжела, и кричал: «Эй, вы! Помогите парню! Надорвется!» — обычно тихий Лешка с ребячьей злостью начинал ругаться:

— Идите вы с подмогой!.. Я сам...

Вечерами, когда Генка Шамаев перебирался на лодке на другой берег и исчезал в лесу, Лешка забирал свой багор и, воровато оглядываясь, шел к берегу за столовую, к дамбе. Там он дотемна, в одиночку, упрямо учился держаться на бревнах, как держатся Иван Ступнин и Генка Шамаев. Возвращался в общежитие мокрый по пояс и обескураженный.

Раз вечером, держа на весу багор, перепрыгивая с валуна на валун, он направился к дамбе.

Солнце скрылось за высоким лесистым берегом, но облака над черными зубчатыми вершинами пламенели, пена, прибываемая с Большой Головы, казалась розовой.

А на том берегу, почти у начала кипения, накрепившись на один бок, покоилась полувытащенная из воды Генкина лодка.

Лешка вдруг остановился, удивленно раскрыл рот, стал всматриваться: оскальзываясь, спотыкаясь, хватаясь руками за кусты, прямо к Генкиной лодке спускался по крутому берегу человек.

Кто ж может быть? Из деревни, должно, или с лесопункта. Без нужды в эту глушь не заглядывают.

Едва незнакомец оттолкнул от берега лодку, неумело стал вставлять весла в уключины, Лешка понял — плохо гребет, не знает реки, его сразу же снесет на пороги. Большая Голова не страшна для лодки — покидает, припугнет, но всегда благополучно пронесит, только надо отдаться течению, подправляй чуть-чуть веслом, чтоб не занесло корму. Боже упаси бороться с порогом — развернет, захлестнет, быть в воде, а уж тогда не выкарабкаешься.

Лодка с неожиданным гостем заплесала на волнах, тот начал судорожно грести, брызгая, срываясь по воде веслами.

— Брось весла! — закричал ему Лешка. — Эй, ты! Смерти хочешь? Брось весла, говорю!

Но за шумом порога Лешкин голос глух, не долетая до середины реки. Незнакомец барахтался, лодку сносило туда, где гуляли яростные буруны.

— Э-эй! Ве-есла-а!! Эх!..

Лодку развернуло, раз-другой беспомощно взметнулись весла, украшенная разводами розовой пены волпа навалилась на борт, приходила лодку — на закате тускло блеснуло днище...

Лешка, похолодев от ужаса, секунду оторопело глядел, как крутит и подбрасывает перевернутую лодку, сорвался, хлюпая широкими отворотами сапог, спотыкаясь о валуны, бросился к поселку.

Одна из лодок стояла под столовой. Лешка с ходу столкнул ее, черпнув сапогом воду, ввалился через корму, судорожно стал разбирать весла...

Само течение гнало лодку на Большую Голову. Запрюкидываясь назад, Лешка греб, трещали от натуги уключины... Каменная дамба, лес на берегу, зубчатой грядой врезавшийся в горячий закат, — все закачалось, зашаталось, то вытягиваясь вверх, то оседая. Лодка врезалась в пороги...

Лешка поднял весла и до ломоты в шее стал оглядываться: направо, налево, назад — ничего не видно, даже лодки. Брызги обдавали лицо, плечи, грудь. Сразу пискнул промок гиджак. Берега поднимались и опускались, рев бьющей воды туманил мозг...

Трудно что-нибудь сообразить, ничего не видно, даже лодки... Хотя нет, вот она — лоснится мокрое днище на закате. Уже проплыла буруны, течение сносит ее к Малой Голове.

Мягче водяные ухабы, ниже подыргивает корма, брызги уже не бьют в лицо. Минута-две — и Большая Голова выплюнула Лешкину лодку. Можно браться за весла.

Нервно покачиваясь, словно все еще переживая неожиданную встряску, плыли по воде бревна. Вода под лодкой мрачная, черная, крутятся клочья желтой пены. Попалось на глаза весло...

И при виде этого сиротливого весла Лешке стало жутко. Был человек — и нет его! Где-то в глубине, под темной водой, что песет сейчас на себе разбросанные бревна, течение лениво ворочает безжизненное тело. Ничем не поможень. Конец. На твоих глазах. Холодно...

Вперед — кипень Малой Головы. Там уже бросает перевернутую лодку.

И вдруг на горбатой и скользкой спине одного из бревен Лешка увидел мокрый рукав, желтую кисть руки.

— Эй!.. — крикнул он, но голос хрипло осекся. Он схватился за весла...

Черная, сведенная судорогой небритая физиономия, широко раскрытые безумные глаза, бесцветные, словно слинявшие от ужаса.

— Эй, друг! Отпускайся! Подхватчу... Эй!

Но человек, прижавшийся небритой щекой к бревну, глядел из-под слипшихся на лбу волос, не отвечал. Костлявая кисть руки судорожно держалась за бревно.

— Да отпускайся, черт! — плача, закричал на него Лешка. — Отпускайся! Сейчас снова в пороги попадем...

Малая Голова приближалась, лодку снова стало покачивать. Если ее развернет, то и в Малой Голове можно обогим найти могилу.

Прыгая в лодку, Лешка по привычке бросил в нее свой багор. Без багра он не вытащил бы утопленника. Подтянул к себе бревно, с сердцем ударил по окостеневшей руке, схватил за волосы...

Незнакомец лежал без сознания, откинув голову на резиновый сапог Лешки, неловко подвернув под себя ногу.

На берегу он пришел в себя, валялся на земле, и его долго рвало водой...

Его положили в общежитии на ту койку, где раньше спал Толя Ступини, Лешкин дружок, уехавший в город на курсы.

Голова откинута на подушке, небритый подбородок торчит вверх, под щетиной возле кадыка бьется жилка, глаза закрыты, тонкие руки вытянуты вдоль тела, пальцы безвольно согнуты — усталые руки. В общежитии жарко, одеяло накинули только на ноги, плоская, ребристая грудь обнажена, на ней вытатуирована надпись: «Года идут, а счастья нет».

Сплавщики толпились вокруг, перекидывались вполголоса замечаниями:

— Видать, мужик тюремной жизни понюхал. Ишь украсился: «счастья нет»...

— Тут-то, считай, счастлив. Не подвернись на берегу Лешка, кормил бы рыб.

— И то цепок — из такой кипени выкрутиться.

— Случалось, видать, попадать в переделки...

Егор Петухов озабоченно произнес:

— Ненадежный человек. Как бы он за нашу доброту того... Не обчистил.

— Ну, ему теперь не до твоего сундука. Эту ночь спи спокойно.

В углу Лешка, приглушив таинственно голос, в который уже раз рассказывал:

— ...Гляжу: мать честна, развернуло. Я кричать. Мать честна, а порог-то шумит...

Засунув глубоко руки в карманы, упершись в грудь подбородком, из-под надвинутой на лоб кепки разглядывал нежданного гостя Дубини.

Тонкая кадыкастая шея, устало вытянутые руки, мокрые грубые башмаки, брошенные под койку, и эта надпись... Дубини жевал потухшую сигарку, разглядывал, и чем дольше глядел, тем сильнее испытывал жалость к этому незнакомому человеку.

Встретится такой на дороге — пройдешь мимо, не оглянешься вслед. Есть ли у него родня, есть ли хоть на свете человек, который бы искренне, от души пожалел его? Не подвернись под руку бревно — был и исчез, не оставил ни имени, ни смутной по себе жалости, ничего. Вот он, увильнувший от смерти, — на чужой койке, чужие люди с бесцеремонной жалостью разглядывают его...

Дубинин с трудом оторвал взгляд от надписи, наколотой на костлявой груди.

— Ребята,—спросил он,— кто раздевал? Документы-то есть ли?

— Есть. Поразмокло все. На печи разложили сушиться. Пятнадцать рублей было в кармане — не богат.

— Давай все сюда.

Дубинин осторожно взял мокрые бумаги, раздвинул плечами рабочих и вышел.

7

Был сплавщиком, стал мастером; не богато событиями, не омрачено трагедиями, даже на фронт не попал — скромно прожил жизнь Александр Дубинин. Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смутно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплавщиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность...

На каменистой быстрине неподалеку от сумрачного Лобовского плеса случился затор — пара бревен заклинилась среди камней, течение наворотило на них кучу леса.

Место было не слишком опасное, затор «не запущен», и Александр (он был за старшего) не пошел сам, а послал трех пареньков, чтоб «обрушили». Авось справятся, не ползут на рожок... Среди них был Яша Сорокин, мальчишка, которому едва исполнилось семнадцать лет,— скуластый, с широко расставленными у переносицы синими глазами. Ему раздробило сорвавшимися бревнами обе ноги...

Александр вез его на лодке в больницу. Яша Сорокин всю дорогу плакал, не только потому, что больно, а что отец погиб на фронте, на руках у матери остались две его, Яши Сорокина, сестренки, старшей всего десять лет, мать постоянно хворает. Кто теперь ей поможет, когда он, единственный кормилец, стал калекой?

Александр молчал и казнился: послал, отмахнулся — авось справится... Вот оно — «авось»! Что теперь делать?

Взять на свою шею целую семью — мать-старуху, сына-инвалида, двух маленьких девчонок, жить ради них, а у него у самого — жена и сын... Как быть?

Никому и в голову не пришло обвинять Александра Дубинина. Случилось несчастье, что ж поделаешь... Жалели, даже упрекали слегка: «Как ты, друг, недосмотрел...» В конце концов Александр и сам уверился — ни в чем он не виноват, его совесть чиста, что ж поделаешь...

Как-то очищали от бревен косу под деревней Костры. Сели артельно обедать, варили уху, разложили хлеб, соль, картошку, крутые яйца на разостланном платке. Рядом оказалась девчонка — босые ноги, побитые цыпкой, печасные, выгоревшие на солнце волосы, рваное платье, сквозь прорехи просвечивает костлявое тельце, — глядит замороженно на платок со снедью.

— Есть, ноги, хочешь? — окликнул девчонку Александр. — На вот, не бойсь.

Он протянул кусок хлеба, пару холодных картофелин и яйцо, взгляделся и замер... С чумазого, истощенного лица глядели широко расставленные синие глаза, нос пуговицей, тупые скулы...

Девчонка прижала к грязному платью хлеб — руки темные, тонкие, цепкие, как лапы лесной зверюшки, — не сказав спасибо, бросилась бегом к деревне. Александр смотрел ей вслед...

Сылавчики уселись в кружок, принялись за еду, рассуждая о том, что война подмела всех мужиков, бабы не управляют на полях, голодный ребенок возле деревни — не редкость...

До боли в глазах сверкала на солнце река, в свежем воздухе пахло наваристой ухой, пышный ивняк у заводи склонился к воде. И в этом слепящем сверкании, в сытном запахе ухи, в кустах, пригнувшихся к плотам кувшиночных листьев, чувствовался какой-то ненарушимый покой, прочная, здоровая жизнь. А в эту минуту где-то далеко и без того истерзанную землю рвут мины, стелется вонючий дым непелищ, на полях и лугах валяются мертвые, которых не успевают хоронить. Где-то далеко... А близко, за спиной, в деревне, — голодные дети.

Не притронувшись к ложке, Александр встал, пошел к своему мешку, вынул весь хлеб и, не сказав ни слова, зашагал в деревню. Возле первой же избы спросил: здесь ли живет Яков Сорокин? Да, здесь. Указали на пятистенок, добротный и благополучный с виду...

Ему думалось, что попадет в рабство, что станет изо

дня в день ломать спину на две семьи, а пришлось воевать. Он воевал в райсобесе за пособие Якову, воевал в колхозе, чтобы помогли семье погибшего фронтовика, а больше всего пришлось воевать с самим Яшкой.

— А, испугался! Откупиться хочешь! Совесь-то же чиста! Ты мне своими грошами ног не вернешь! Ты у меня теперь попляшешь!..

Нежданно-негаданно, сам собой явился виновник несчастья, исковеркавшего жизнь. Что бы он ни делал, как бы ни извинялся — нет прощения!

— Давай, сволочь, деньги! Давай все, сколько есть! Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело. Пить буду, гулять буду!

И раз Александр взял его за шиворот.

— Дерьмо! Привык, чтоб на тебя, как на собаку, смотрели, человеческого добра не понимаешь. Вот мое слово: сестренки твоих к себе в дом беру, будут вместо дочерей. Живи один как хочешь.

И парень притих, согласился поехать от колхоза на курсы счетоводов.

Работать, чтоб быть сытым, чтоб радоваться в одиночку — есть прочная крыша над головой, тепло возле печи, ласковая жена, — радоваться и трусливо оглядываться, чтоб кто-то со стороны не позавидовал, не позарился на твое теплое счастье. А ведь можно, оказывается, жить иначе. Поднять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!

Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетоводом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фельдшерицу.

Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб расчет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...

Пять домов, прижатых лесом к шумящей на порогах реке, — маленький кусочек необъятного мира. Здесь трудятся люди, и труд их тяжел, но крохотный поселок напротив Большой Головы — все-таки по-своему счастливый край. Угрюмоватый, неразговорчивый человек, ходящий по поселку с легкой раскачкой, — законодатель этого края.

У себя в конторе он разложил на столе размокшие документы незнакомца. Какие-то справки превратились в пригоршню бумажной каши. Паспорт сохранился лучше. Паспорт есть — значит, его хозяин ходит под законом.

Концом ножа Дубинин осторожно расклеил слипшиеся листки паспорта, прочитал: «Бушуев Николай Петрович, год рождения 1919». Паспорт, похоже, новый, в графе восьмой — «На основании каких документов выдан паспорт» — поставлен номер справки Гулага. Нетрудно догадаться — хозяин судился, отбыл положенный срок.

На чужой койке, среди чужих людей, во всем облике усталое оцепенение — ускользнул от смерти... Должно быть, путаная и неуютная жизнь за спиной у этого человека. Где-то в молодые годы хотел, видать, ухватить счастье — грошовое, такое, что можно купить за десятку. Потянулся в чужой карман за этой десяткой, схватили за руку, сволокли, куда надо. Пусть даже простили по первому разу, но счастья-то нет, надо искать. Искать... Шли годы, и не было счастья...

8

Утром, после того как рабочие разъехались, Дубинин заглянул в общежитие. Койка, на которой спал незваный гость, была заправлена.

«Живуч. Уже сорвался. Не отправился ли дальше блукать? Но паспорт-то у меня, без документов не сорвется...» Дубинин не спеша направился к себе.

Дом, где находилась контора, был единственным двухэтажным домом на участке. Внизу — контора и комната, где жил моторист Тихон Мазаев с женой Настей, уборщицей в общежитии. Вверху — красный уголок, где стоял приемник, полка с книгами и стол, накрытый вылинявшим кумачом. Здесь по вечерам собирались сплавщики, слушали радио и стучали костяшками домино.

Проходя мимо лестницы, ведущей в красный уголок, Дубинин услышал мужской голос, певший негромко под гитару:

Почему у одних жизнь прекрасна
И полна упоительных грез,
У других она просто ужасна,
Много горя, отчаянья, слез...

Дубинин поднялся. В чистой рубаше, с чьих-то чужих широких плеч — тонкая шея жалко высовывается из просторного воротника, — по-прежнему небрит, сидел он, при-

держивая на коленях гитару, которая уже много лет без дела висела над приемником.

Почему же одним удастся
Обойти все удары судьбы...

При виде мастера проворно вскочил на ноги.

— Здравия желаю, пачальничек,— с наигранной развязностью поприветствовал он.

Лицо узкое, взгляд ускользающий, при улыбке в мелких плотных зубах видна щербатинка.

Дубинин опустился на стул.

— Садись, как там тебя... Николай Бушуев. Поговорим.

— Верно, Николай Петрович Бушуев собственной персоной. Хотел ниже, в Торменьгу податься, да вот к вам попал. Прошу прощенья, не предупредил, чтоб встретили...

— Брось дурочку ломать. Откуда к нам пожаловал?

— В лесопункте работал...

— И сбежал?..

— Начальник там — сволочь. За человека, видишь ли, не считал. Ты, мол, после отсидки, уголовный элемент, жулье, отбросы. Не сошлись мы с ним характерами.

— Уж так-таки дело в характерах?

— Вдруг да из-за этого гада пришлось бы обратно поворачивать. Подальше от греха... Рублей двести было заработанных, и те не взял...

— За что сидел?

— Говорят, за дело. Да я и не отказываюсь: за дело так за дело.

— По мокрому?

— Упаси бог.

— За воровство?

— Не будем уточнять, пачальничек. Одно скажу: завязал.

— Ой ли?

— Верь не верь, а мне уж не двадцать лет. Что-то неохотки дальние в казачки-разбойнички играть.

— А родом откуда? Почему в лесопункт нанялся, домой не поехал?

— У меня дом под шанкой. Где ее падел — там в дома.

— Уж и в родные края не тянет?

Светлые, со стеклянным блеском глаза Николая Бушуева прикрылись веками, на секунду бледное небритое

лицо стало неподвижным, замкнутым, скучным. Случайный вопрос сбил наигранную веселость.

— Что толку? — ответил он, помедлив. — Знаю, как в родное место с пустой мошной приезжать.

— А я слышал: и там работают, с деньгами выходят.

— Шелестело чуток в кармане, да только в поезде с одним в картишки простучал...

Дубинин прочно сидел на стуле, в распахнутом пиджаке, в надвинутой низко кепке, со своим обычным угрюмоватым спокойствием разглядывал гостя.

— А куда теперь? — спросил он.

— Куда?.. В Торменьгу. Там на перевалочной базе работа найдется.

— Специальность имеешь?

— На все руки мастер: пни корчевал, ямы под фундаменты рыл, лес валил...

— Значит, нет специальности? — Дубинин пошевелился на стуле, отвернулся. — Вот что, — проговорил он в сторону, — можешь остаться у нас. Будешь работать, как все. Каждый сплавщик плохо-бедно в месяц тыщи две выколачивает. Ты без семьи, на питание да на одежду у тебя из заработка станет уходить рублей пятьсот от силы. За год накопишь тысяч пятнадцать-восемнадцать. Тогда — хошь у нас живи, хошь езжай на все четыре стороны. Тебя, дурака, жалеючи, говорю. Не хочешь — держать и упрашивать не будем.

— А чего ж не хотеть. У вас так у вас, мне все одно, где землю топтать.

Дубинин выкинул на стол короткую руку, сжал маленький, покрытый ржавым волосом, увесистый, как обкатанный рекой голыш, кулак.

— Топтать? Нет, дружок, работать придется. Денежки-то за топтание не платят. Не надейся, на чужой хребтине не выедешь. Место у нас глухое, до милиции далеко, сами порядки устанавливаем. Ты видел наших ребят? Любому кости прощупают. И не убежишь — кругом леса да болота, местные жители глубоко-то не залегают. Три пути отсюда: в лесопункт, где, должно быть, тебя неласково встретят, в деревни, где любому в глаза бросишься, а вниз по реке через сплавушки. Стоит мне позвонить, как тебя, голубчика, придержат до времени. Заруби на носу — лучше не шалить. Беру к себе не потому, что особо верю, а потому, что не опасаясь — у нас не развернешься. Так-то, друг.

Дубинин поднялся.

Николай Бушуев занял в общежитии койку Толи Ступпина. По утрам он с топором за поясом и багром в руке вместе с другими сплавщиками шагал к лодкам. Дубинин расспрашивал ребят: как работает? Пожимали плечами — ковыряется.

Лешка Малинкин спал рядом с Бушуевым, работал с ним в одном пикете. К человеку, который стал причиной значительного, даже героического, события в твоей жизни (шутка ли, спас от смерти!), нельзя относиться равнодушно. Лешка на работе старался быть рядом, учил, помогал, ворочал за слабосильного соседа по койке тяжелые кряжи.

Гитара, которая висела в красном уголке, — ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги, — теперь перекочевала в общежитие. И по вечерам Бушуев, развалившись на койке, пощипывая струны, пел о тоске в неволе, о любовных изменах, об убийствах из ревности.

Может, фраер в галстучке атласном
Тебя целует в губы у ворот...

Сплавщики были не слишком привередливы, если грустно — покачивали головами, казалось смешным — похохатывали, и в знак благодарности время от времени чья-нибудь тяжелая рука хлопала по плечу Бушуева.

— Сукин ты сын! И откуда набрался?..

Приходил послушать и Дубинин, присаживался, курил, молчал, но, кажется, молчал одобрительно.

Когда Бушуев откидывал в сторону надоевшую гитару, к ней робко тянулся Лешка. Он долго ерзал на койке, пристраиваясь поудобней, низко пригнув голову, начинал огрубевшими, негнушимися пальцами бережно пощипывать струны, но гитара издавала лишь робкие, бессвязные звуки. Лешка почтительно откладывал ее, шевелил плечами, простосердечно удивлялся:

— Гляди-ка, не работал — сидел, а спину ломит.

По-прежнему вечерами Генка Шамаев перегонял лодку на другой берег и исчезал в лесу. По-прежнему Егор Петухов, покопавшись в своем чемодане, замкнув его тяжелым замком, садился и начинал плаксиво рассуждать:

— Поживу здесь еще немного и брошу вас. Ковыряйтесь себе по берегам. Дом куплю в райцентре, огороды с парниками заведу, на всяк случай подыщу работку — не

бей лежачего. Хоть, к примеру, ночным сторожем куда. Самое стариковское дело...

На него не обращали внимания или лениво прикрикивали:

— Завел... Хватит зудить-то!..

Как всегда, на воскресные дни сплавщики расходились по деревням. На участке становилось тоскливо. Бушуев коротал время с мотористом Тихоном Мазаевым. У Тихона всегда была припрятана на такой случай бутылочка.

Тихон — маленький, узкоплечий, на обветренном сморщенном лице вислый нос — никогда не был доволен. Сердитым голосом он ругал все — и погоду, и реку, и участок, на котором киснет в мотористах пятый год.

— Эх, милок! — откровенничал он, хватая Бушуева за отворот пиджака. — Я ведь, считай, механик, комбайнером работал, трактористом... И кой черт загнал меня в эту дыру? Ведь дыра! Оглянись — лес, лес, да в небо продушина.

Бушуев в такие минуты был вял, молчалив, глядел на слезящееся под дождем окно, за которым, не умолкая, ровно и тяжело шумела Большая Голова, вздыхал:

— Да-а, в заключении и то веселее.

Иногда, из-за выпитой ли водки, просто ли находило минутное откровение, начинал вспоминать:

— Я-то сам из Курской области. Там у нас солнца много и все поля, лесов-то, считай, нет. Забыл я уже свое село. Только здесь нет-нет да и придавит сердце...

Неожиданно добавлял:

— Не выдержу, сбегу от вас. Пять лет свободы ждал. Сво-бо-да...

10

Однажды вечером Бушуев снял с гвоздя гитару, пощипал струны, придавил их ладонью.

— Ну ее! Перепето, сыграно... — Добавил в рифму непотребную фразу, вынул из кармана потрепанную колоду карт, ловко перетасовал ее, предложил Лешке Малинкину: — Стукнем, что ли, в очко для забавы?

Лешка смущенно поежился:

— Да не умею я.

— Не играл — научу. Свеженькому всегда фартит. Не бойсь, обдирать не стану. Вот в банк кладу рубль, можешь бить хоть на гривенник...

Никто потом не мог сказать, откуда появилась колода карт у Бушуева. После того как его вытащили из порога, в карманах пиджака ничего не было, кроме раскисших документов и пятнадцати рублей мелкими бумажками.

Рассевшись на Лешкиной койке, Бушуев терпеливо учил:

— Не зарывайся, не зарывайся, миляга. Карты горячих не любят. Будешь или нет прикупать?.. Будешь. Даю... Смотри ты, и тут взял. Говорил, что тебе фартить станет поначалу...

Лешке шли карты, он розовел от возбуждения. Подошел Иван Ступнин, помигал желтыми ресницами, покачал головой.

— Греховное дело... Сколько в банке? Восемьдесят копеек всего-то! Ну-ко, для любонитства дай карту, ударю по ним.

Взял, с сомнением взгляделся, протянул:

— Не-ри-пе-етия! Сразу две давай. Ага!.. Ну-ко, бери себе... Моя!

Потянулись другие, с соседних коек, плотно обсели. Егор Петухов, провожая глазами карты, сердито сводил губы:

— По гривеннику, по гривеннику — глядишь, и вылетит в красный рублик. Век за эти карты не брался.

— И не берись,— поддакнул Бушуев.— Игра скупых не любит.

Часам к десяти «простучали» последний «банк». Подсчитали: Лешка выиграл двадцать рублей. Иван Ступнин и остальные проиграли и выиграли по мелочи. Бушуев расплачивался.

— Фарт — великое дело, браточки.— Заглянув в лицо Лешке своими прозрачными глазами, с чуть приметной насмешечкой добавил: — Только за мной, мой мальчик, не гонись — могу до косточек обглодать. Видишь?

Он показал Лешке карту. Тот, смущенный тем, что пришлось взять у Бушуева деньги, еще не остывший от удачи, подавленно кивнул головой: «Вижу».

— Запомнил карту? Хорошо запомнил?.. Учти, я в нее не заглядывал. Клади ее в колоду. Тасуй!.. Да шибче, душечка. Эх у тебя руки — что грабли... Перетасовал? Подними. Еще раз подними... А теперь давай всю колоду сюда...

Небольшие, ловкие, с плоскими белыми ногтями, со свежими ссадинами, полученными во время окатки, руки

Бушуева быстро перебирали карты, один глаз насмешливо прищурился.

— Эта?..

У Лешки удивленно отвалилась челюсть.

— Эт-та.

Все кругом, ухмыляясь, закачали головами.

— Мастак...

— То-то,— закончил Бушуев,— я карты наскрозь вижу. Со мной не садись.

11

И все-таки на следующий вечер сели играть на бушувеской койке — чтоб убить время, не всерьез — пять человек: Лешка, Иван Ступнин, сам Бушуев и еще двое — долговязый Харитон Козлов и рыжий Петр Саватеев. Вокруг встали любопытные, среди них Егор Петухов, которого всегда волновало, когда деньги переходили из одного кармана в другой.

Ставки были маленькие, коеечное счастье приходило то к одному, то к другому. Снова заметно везло Лешке. Он сорвал банк. Егор Петухов крикнул:

— Бывают же такие везучие!

Иван Ступнин вздыхал:

— Перипетия... Ну-кось, кто по гривенничку, а я на все стукну. Удача небось рискованных любит.

Мало-помалу игра стала расти, на смятом одеяле зашуршали не только рублевки, а десятки, четвертные, даже сотни.

Выигрывал Лешка, выигрывал Иван Ступнин. Бушуев спокойно вынимал из кармана деньги, небрежно бросал.

— Это что!.. Разве ж игра?.. Помню, деточки, по десяти тысяч в банке стояло.

Начали подсаживаться и другие. На днях выдали зарплату, все были при деньгах, каждый считал, что можно позволить себе удовольствие — проиграть или выиграть по мелочи.

Один только Егор Петухов, поджав скопчески губы, следил за картами, провожал глазами руки, прячущие деньги в карманы, осуждающе качал головой, но от играющих не отходил. Никто не обращал на него внимания.

После того как распаренно-красный, торжествующий

Иван Ступнин наложил свою широкую лапу на банк, Егор подтолкнул в бок Лешку:

— Ну-ко, подвинься. У меня ноги не железные.

— Уж не сыграть ли хочешь? — спросил Бушуев.

— А что, я хуже тебя?

— Прогоришь. Карты скупых не любят.

Еще долго Егор не решался, сидел, смотрел, поджимал губы, наконец не выдержал.

— Подбрось, что ли, и мне карту.

Но Бушуев, показывая щербатинку в зубах, насмешливо оскалился в лицо.

— Положь на кон шкурку.

Егор вскипел.

— Шпапа безродная! Не доверяет! Уж кому бы не верить, то тебе.

— Зачем лезешь, коль не веришь?

— Дай карту! Побогаче тебя, урка приبلудная, расплачусь, коль проиграю.

— Деньги на кон или катись!

— У-у, висельник! Плевал я на твою игру. Тьфу!

Егор поднялся, прошел на свою койку, лег.

— Ты зря человека обижаешь, — упрекнул Бушуева Иван Ступнин. — У нас промеж собой пакости не водятся. Проиграет — отдаст.

— Отдаст? Я, браток, знаю таких живодеров. Удавится. Достается им, когда попадают в холодные места. Требуху-то быстро из них вышибают.

— Я б твою гребуху пощупал, да рук пачкать не хочется, — проворчал Егор, не поднимая головы.

— Иль схлестнемся? У тебя же кулаки пудовые, чего робеешь?

— Хватит вам, дети малые! Ты глянь, не перебрал ли? Четвертую карту тянешь.

— Перебрал, долбани его петух в зад...

Шла игра, раздавались голоса, то сдержанно-выжидающие, то настороженные, то удивленные. Шла игра, доносился шелест денег. Егор слез с койки, вытащил свой чемодан, отпер замок.

Расправив плечи, с выражением какого-то кислого пренебрежения на лице, подошел к играющим.

— Вот, приبلудный, не лист с веника — деньги. Дай карту.

Бушуев хохотнул:

— Вот так отломил! Сколько же ты на этот пятерик червончиков собрать хочешь?

— Поскалься, у меня, поскалься! Сколько хочу, столько и выкладываю. Давай карту.

— На всю бумажку?

— Рубль ставлю.

— Не мельчись, все равно прогоришь.

— Рубль ставлю,— со злым упрямством повторил Егор.

— Эх, расчетлива девка, да принесла в подоле.

Бушуев принялся ловко раздавать карты.

Карта, брошенная Егору, утонула в его красной, с обломанными ногтями ручище, глаза остро уставились в ладонь, губы свело, казалось — вот-вот Егор изумленно свистнет. Бушуев с издевочкой щурил свои порочно-чистые глаза, показывал щербатину в плотных зубах.

Как только Егор сел, игра сразу же изменилась. До сих пор шутили, перекидывались незначительными замечаниями, похохатывали, проигрывали легко, чувствовалось, что, несмотря на поднявшиеся ставки, играют для удовольствия. С появлением Егора ставки не возросли, а, наоборот, уменьшились, но шутки как-то сразу увяли, все вдруг стало серьезным, на скомканые деньги глядели не прямо, а как-то стыдливо, искоса.

Бушуев все еще ухмылялся, но нет-нет да прикусывал нижнюю губу, и тогда на худощавом, вытянутом, с плоским подбородком лице появлялось что-то стремительное, острое, напоминающее выражение кошки перед прыжком на воробья.

Егор Петухов, напряженно приподняв плечи, стал метать банк. Но как-то быстро этот банк у него разобрали. Бушуев, пригребая к себе кучу мятых бумажек, бросил взгляд на Егора.

— Отчаливай. Кончилась твоя пятерка.

Те пять рублей, с которыми вошел в игру Егор Петухов, проиграны были незаметно, без особой боли. Осталось только ощущение пухваченного счастья.

Сердито посопев, Егор встал.

— Обождите, не начинайте.

Снова вытащил чемодан, погремел замком, выложил на койку бумажку. Иван Ступнин ухмыльнулся во всю физиономию.

— Перинетия ты, а не человек. Опять пятерку вынес, как нищим напоказ.

Бушуев ничего не сказал, только перетасовал карты и бросил на койку сто рублей.

— Кто смелый? Можно на все.

Запахло крупной игрой. Кто-то из стоявших попросил:
— Ну-ко, ребята, выдвинем в проход койку, мы присядем.

— Зачем мебель трогать, давай прямо на пол.

— И верно, чего в тесноте-то! Не в праздничных одежах, не попочаемся.

12

Расселись в круг, одни — упираясь спинами в печь, другие — подобрав под себя ноги, прямо в проходе. Ни один человек не лежал на койке — играло больше половины. Банк рос. Доставались из карманов, из зажатых в кулак смятые десятки, двадцатипятирублевки, полусотенные.

— Стучу! — объявил Бушуев.

По общежитию пронесся вздох, играющие зашевелились, распрямили затекшие спины. Последний круг. Если не разберут банк, Бушуеву достанется куча денег.

Егору Петухову до сих пор везло. Отрывал от банка по пятерке, по десятке, ни разу не промахнулся. Сейчас в потной ладони у него лежал туз червей — хорошая карта. Даже если придет валет или дама, можно без опаски добрать. А вдруг повезет — второй туз или десятка! Хорошая карта в руке!

Егор глядел на кучу денег — желтые рублевки, отливающие зеленью полусотенные. Пестрая куча! В ней выделяются величиной и благородством расцветки сторублевые бумажки.

У Бушуева, мечущего банк, прикушена губа, глаза прищурены, руки, как всегда, ловко выбрасывают карты. Куча денег и эти руки! Ловкие со свежими ссадинами на костяшках, длинные пальцы словно обрублены у концов, ногти плоские, белые. Кто знает этого человека с руками, не вызывающими никакого доверия? От него можно ждать всякого. Мошенник, и сидел должно быть, за мошенничество.

Но, о господи! Сколько возле него на полу денег! И карта хорошая — туз червей. Вот уже пятый раз к нему, Егору Петухову, приходит красная масть. Четыре раза выигрывал. Не было промашки. А тут упустить...

Куча денег. Эта куча красива, от ее близости по телу проходит озноб. Все на нее бросают скользящие взгляды... Хорошая карта!

— Тебе?.. На сколько бьешь? — отрывисто спрашивает

Бушув, и его глаза сквозь редкие ресницы глядят холодно, без насмешки, Егору кажется — враждебно.

— А сколько тут? — глухо спросил он, чувствуя, что карта в руке становится мокрой от пота.

— Уж не по всему ли бить собираешься?

— Не твоего ума дело. Сколько, спрашиваю?

— Не считал.

— Подсчитай.

— Лешка, — кивает небрежно Бушув, — сосчитай, сколько сейчас в банке. Я что-то не упомяну.

Лешка, нахмурившись, стоя на коленях, неловко начал считать, перекладывая бумажки с одного места на другое. Все кругом молчали. Егор вытирал рукавом пот с лица.

— Семьсот сорок пять рублей.

Еще раз проводит по лицу рукавом Егор, еле шевелит пересохшим языком:

— На все.

— Шалишь, папа! — Бушув дергает щекой. — Вот положи сюда при всех на уголок семьсот сорок пять — тогда поверю.

— Положу, чего ты... — не совсем уверенно возражает Егор.

— Вот и клади. Не задерживай игру. Распотроши свой сундучок. — Глаза Бушueva глядят без обычного прищура.

Егор чувствует, что он должен подняться. Этого ждет Бушув, ждут все — настороженно, молчаще.

— Ну!..

Егор тяжело поднимается. Он отсидел ноги, трудно двигать ими, колет в икрах. Потная рука мнет карту. Карта хорошая, но при любой карте можно срезаться. Если сразу придет шестерка?.. Бушув хвалился, что карты насквозь видит. И карты-то... Кто их проверял?

Егор идет к своей койке, выдвигает чемодан. Тяжелый, добротный замок, стальная дужка всунута в толстые кольца. Сам эти кольца приклепывал. При одном прикосновении к замку у Егора пропадает всякое желание играть. Но чемодан уже открыт, рука привычно лезет под белье, в укромный уголок, где у него лежат деньги — несколько пачек, зарплата за три месяца. Давно уже собирался вырваться Егор в воскресенье в райцентр, сдать с рук все деньги на книжку. Здесь пять тысяч в сотнях да рублей триста по мелочи. Одну тысячу он сейчас должен вынуть и отсчитать семьсот сорок пять рублей!.. Для кого отсчитывать? Для этого каторжника! Свои кровные! Жене рубля

не давал, в столовой не обедал. Семьсот сорок пять в руки проходимца!

— Ладно,— с трудом поворачивает голову Егор, но глядит в пол,— плевал я на твой банк. На пятьдесят рублей бью.

— То-то,— насмешливо тянет Бушуев.— А еще пугал. В его голосе Егору чудится облегчение. Тоже боится за банк. Куча денег возле него, вся куча ему достанется.

Он, Егор, выиграет пятьдесят рублей. Всего пятьдесят! Остальные не за будь здоров на пропой, на веселую жизнь этому бродяге... И карта хорошая...

Чемодан открыт, руки сквозь платок ощупывают пачки денег.

— Ну, ползи сюда! Чего там застрял? — торопит Бушуев.

— На все! — срывающимся голосом выкрикнул Егор.— Вот, сволочь, деньги!

Егор выхватил завернутые в женин платок сбережения, отделил тысячу, захлопнул чемодан. Долго искал упавшего за чемодан туза червей.

И пока он искал карту, снова пропала уверенность.

— На все...

Карта в одной руке (карта хорошая — ну, помоги бог, помоги бог!), в другой — пачка сторублевков. Кровные деньги, горбом заработанные, сбереженные жестокой экономией — обедал не каждый день...

— Видишь, стерва? Веришь теперь?

— Верю,— серьезно и коротко отзывается Бушуев.— Садись.

Все молчат, со всех сторон уставились возбужденно блестящие глаза. Ждут. А Егора охватывает отчаяние: как это случилось? Прихлопнет же его Бушуев. Эвон вытянулась воровская рожа, до сих пор щерился — теперь серьезен.

Но Бушуев уже выкинул ему карту. Егор взял ее. Отказаться? Уже поздно. Раз взял в руки карту, отказываться нельзя — возмутится не один Бушуев...

Пришел король бубен.

Бушуев прицелился острыми зрачками.

— Еще картушку?

Слышно, как кругом дышат люди.

— Дай сам потяну,— хрипло просит Егор.

Его неуклюжие, толстые, огрубелые пальцы тянут из подставленной колоды карту. Помоги бог, помоги бог!.. Егор ничего не видит, пот стекает со лба, ест глаза.

— Ну?! — всем телом подается Бушуев.

Через короля пришел туз — перебор.

Бушуев накладывает узкую, нерабочую ладонь на деньги, без слов придвигает их к своей куче.

— Возьми сдачу,— говорит он и бросает Егору несколько бумажек.

Егор послушно берет их...

Генка Шамаев, как всегда ездивший за реку, впервые застал общежитие неснящим... Все сидели на полу под лампой в табачном тумане.

Генка подошел к своей койке, откинул одеяло.

— Вижу — всерьез схлестнулись. Ужо Саша дознается, будет всем на орехи!

Никто не обратил на него внимания. Егор проигрывал оставшиеся от тыщи деньги.

13

Хмурое утро, облака цепляются за верхушки береговых елей, моросит дождь. Сплавщики, перепоясанные поверх курток и брезентовых плащей ремнями, выходя из теплого, душного общежития, поеживаются. Их лица сонны, не слышно разговоров. Как всегда по утрам, шум воды на Большой Голове кажется более громким и решительным.

Сутулясь, глядя под ноги, вместе со всеми идет к лодке и Егор Петухов. За ночь его лицо оплыло, шагает вяло, волочит по земле багор.

Возле лодок, где топчутся сплавщики, поджидая замешкавшихся, стоит Николай Бушуев. На нем поверх пиджака пузырится старая брезентовая куртка — одолжил у долговязого Харитона. И хотя Бушуев, как все, подпоясан, как у всех, за поясом топор, а в руках багор, но вид у него нерабочий, несерьезный.

Егор, пригнув лицо к земле, подошел боком, ковырнул сапогом землю, проговорил виновато:

— Слышь, нарень... Ты того... Пошутили вчерась... Смешно, право, я-то полез... Слышь, верни мне деньги, и забудем все...

Бушуев дернул в усмешке щекой, сощурился.

— Дуришь, дядя. Река-то в обратную сторону не течет.

— Слышь, отдай, говорю. Худа бы не было,— уже с угрозой надвинулся Егор.

— Ну, ну, отступи,— подобрался Бушуев.

— Сволота! Перешибу!! — Егор поднял над головой багор.

Бушуев отпрыгнул, схватился за топор.

— Давай, давай! Я т-тебя клюну в толстый череп!

Генка Шамаев, в короткой куртке, в резиновых сапогах до паха, повернув к ним вывалившийся из-под фуражки сухой чуб, прикрикнул:

— Побалуйте! Вот я вступлюсь! — Шагнув к Егору, схватился за багор.— Поделом дураку, связываться не станешь. Иди в лодку!

Егор обмяк, послушно отвернулся.

До сих пор жизнь на сплавучастке шла тихо и однообразно — день походил на день, вечер — на вечер, никаких тревог, никаких событий. Даже развлечения одинаковы — послушать радио, стонять партию-другую в «козла». От таких развлечений быстро тянуло на сон. А утром — лодки, окатка бревен, обед, и так без конца.

Но вот — плотный круг людей на полу, напряженные лица, возбужденно блестящие глаза, отрывистые слова, деньги, сваленные кучей, деньги, переходящие из одного кармана в другой, острое чувство близкой удачи, разочарования... А Егор, распотрошивший свой чемодан! Разве это не событие? Совестно признаться, но, ей-ей, пережить такой вечер куда любопытней, чем стучать перед сном костяшками домино.

Настал вечер, и все общежитие уселось в плотный круг, одни — с желанием поиграть, другие — поглазеть, со стороны поволноваться. Не участвовали только двое — Генка Шамаев и Егор Петухов, лежавший, не раздевшись, на своей койке лицом вниз.

Игра сразу пошла по-крупному. До Егора доносились сдержанные возгласы. Он лежал и сжимал от ненависти кулаки. Бушуева сейчас не тронешь, все игроки поднимутся на дыбки. Пропала тысяча, не вернешь.

А голоса бередают душу:

— Стучу!..

— Подкинь еще карту...

— Ах, черт! Вот так сорвал!

Бередают душу и короткие напряженные паузы. Кому-то подваливает счастье. А он, Егор, обиженный, забытый, лежит один, никому в голову не придет пожалеть. А если снова попробовать? Но не зарываться, а с умом, с огляд-

кой, осторожно. Вдруг да вернет свои деньги. По крупному прогорел, можно, чай, рискнуть по мелочи...

Егор слез со своей койки, осторожно выдвинул чемодан, достал деньги, отделил сотенную бумажку...

На правах обиженного, которому обязаны прощать и сочувствовать, он грубо растолкал сидящих.

— Ну-ко, потеснись!

Сел и, стараясь ни на кого не глядеть, взял карту.

14

За поселком, в конце каменной дамбы, Дубинин ставил морды. Каждый вечер он ходил их проверять. И сейчас он возвращался с ведром, в котором плескались окуни.

Шел прямо по дамбе, ступая по громадным валунам. Дамба — каменная гряда высотой чуть ли не в два человеческих роста — растянулась на четверть километра, начинаясь от столовой, наискосок влезая в бурлящую реку.

Участок Дубинина два года назад был самым тяжелым на всей реке от истоков до устья. Большая Голова забрасывала лес на каменистую отмель, и там несколько раз за лето вырастали огромные завалы. В разгар сплава приходилось работать по двенадцати часов в сутки. К осени сплавщики изматывались. Тогда-то и решили своими силами построить дамбу, которая не пускала бы бревна на отмель.

Камень к камню, крупные, ноздреватые валуны! Сколько их! Гряда, растянувшаяся на четверть километра, высотой в два человеческих роста, она весит несчитанные тысячи тонн. Все эти камни укладывали зимой каких-то два с лишним десятка людей, с помощью простых слег, веревок и одной-единственной лошаденки. Тысячи тонн камня! Значит, каждой паре рабочих рук пришлось поднять и перенести многие сотни тонн!..

Дубинин вместе со всеми ворочал тогда валуны, которые на лютom морозе обжигали сквозь брезентовые рукавицы руки. Сейчас, ступая с камня на камень, он думал о том, что если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложенные один на другой камни, то за шесть лет службы Александра Дубинина мастером выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака. Дамба удивляет, а это — побочное дело. Ребята-сплавщики привыкли к ней, как привыкли к неумолкающему

шуму воды на Большой Голове. Александра Дубинина нет-нет да охватывает смутная гордость за своих ребят: «Трудовой народ, ничего не скажешь. Не зря хлеб едят...»

Дамба кончилась, булыжный склон упирался в стену столовой. А из-за угла столовой светились окна общежития. Время довольно позднее, но там не спят...

Ощущение гордости и спокойной уверенности — все хорошо, жизнь налажена — исчезло: «Опять в карты дуются!..»

Какой-то неудачник, легкая пена, которую выбрасывает жизнь, сейчас атаманствует над двумя десятками взрослых людей, здравых, рассудительных, знающих себе цену. И ему, мастеру Дубинину, всесильному человеку, слово которого хватают на лету, не так-то просто прийти и сказать: «Баста, ребята! Кончай канитель!»

Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...

Дубинин мог заставить в трескучие морозы ворочать тяжелые камни. Нужно! Он мог приказать сплавщикам, вовсе не трезвенникам: на участке не пить. Нужно! В этом «нужно» и была сила Александра Дубинина. Но отберп сейчас карты, сразу зашумят:

— Мы что — подневольные тебе? Ншь порядочки — играть нельзя. Нет для работы вреда? Нет. Ну и не зарывайся.

А ведь так просто не кончится: где карты, там и выпивка и скандалы, мало ли что может стрястись. Пусть. Спыхватятся — тут-то он и появится, тут-то скажет свое «баста». И попробуй тогда возразить, попробуй ослушаться!

В берег уткнулась лодка. Генка Шамаев выскочил, рывком вытянул лодку на камешник, пружинящими скачками взбежал на дамбу.

— Колдуешь? — спросил он, тоже уставясь в светящиеся окна.

— Прикидываю.

— Обдерет как липку ребят и сбежит, сукин сын.

Дубинин промолчал.

— Дозволь мне, Саша, я из него и деньги вытрясу, и в шею вытолкаю.

— Успеется.

Генка переступил с ноги на ногу, приблизил свое лицо к Дубинину.

— С кем нянчишься? За чужой пазухой счастья ищешь.

Таких не вытаскивать из порога, а по башке надо бить, когда выныривают.

— Многих тогда пришлось бы по башке бить... Часто и честные люди — не чета Бушуеву — чужое заедают.

— Мудришь что-то. Кто заедает?

— Боюсь, что ты даже...

— Я?..

— Который месяц бабе голову крутишь. Побалуешься, а потом отвернешься. Тебе удовольствие, а ей слезы. Так-то... Не суди других строго.

Генка выпрямился, из-под волос блестели в темноте глаза.

— Суешься, куда не просят.

Погромыхивая по камням, он сбежал с дамбы. Дубинин постоял еще и не спеша начал спускаться.

15

Табачный дым пластовался над головами сбившихся на полу людей. Многие с испугом косятся на Бушуева: быть не может, чтобы срывал такие выигрыши без жульничества, зря зарывается, не простят... Прекратились шутки, исчез смех, в густом, прокуренном воздухе минута за минутой копилось что-то злое, все ждали — вот проветрится.

Николай Бушуев, в нижней рубашке распояской, повернув по-турецки поги, сидел возле денег. Он несколько раз рассовывал деньги по карманам, а они снова вырастали у его колен. Когда Бушуев поднимался и шел пить, все головы поворачивались вслед за ним, десятки пар глаз с подозрением следили за каждым его движением. Бушуев не спеша наливал в алюминиевую кружку воду из бака, жадно пил, возвращался, снова усаживался по-турецки.

Егор Петухов дрожащими руками тасовал карты, на рыхлом лице непривычное ожесточение, веки красные. Его чемодан выдвинут прямо в проход, в нем белеет скомканное белье.

Егор проигрывал последнее.

— На все,— безжалостно произносит Бушуев. Который уже раз за вечер он повторяет эти слова.

На все! Егор втягивает голову в плечи, руки дрожат. Он выбрасывает карту. Бушуев спокойно берет ее, мельком бросает взгляд, тянется к колоде.

— Дай сам потяну.

Дрожат руки Егора, дрожит колода карт, дрожат распущенные губы.

Кто-то недружелюбно роняет за спиной Бушуева:

— Взял!

Егор вдруг бросил на пол карты, через разбросанные деньги рванулся к Бушуеву, захрипел:

— Шаромыжничаетшь! Задушу, оплевок!

Бушуев напружиненно вскочил на ноги. Неуклюже ворочаясь среди тесно сбившихся, опешивших людей, со звериным оскалом на багровом лице, Егор ревел:

— Уничтожу! Вдребезги разнесу! Сволочь!

Поднялся на ноги, тяжелый, неуклюжий, качнулся на узкоплечего, утонувшего в просторной рубаше Николая Бушуева — сейчас сомнет, придавит, искалечит... Но Бушуев вдруг низко присел и нырнул на Егора. От короткого удара головой Егор тяжело плюхнулся на пол.

Это произошло быстро — никто не успел сообразить. Никто не схватил Егора, не задержал Бушуева.

Бушуев бросился к своей койке, откинул матрац, и в руках его оказался топор...

Стало тихо. За окнами глухо шумела вода на Большой Голове.

До сих пор все испытывали к Бушуеву только неприязнь, пусть острую, подогреваемую смутными подозрениями, но в ту минуту, когда увидели в его руках топор, поняли — он враг, сам сознает это, не зря же загодя спрятал в койке топор.

— Вот,— Бушуев качнул топором,— сунься кто... Мне терять нечего — враз кончу.

В белой, выпущенной поверх штанов рубаше, острые ключицы выпирают под запахнутым воротом, шея тонкая, длинная, как куриная нога, на бледном, тронутом черной щетиной лице пустовато-светлые глаза.

Один против всех. Каждый из сплавщиков наверняка сильнее его. Сплавщиков более двух десятков, целая толпа. И что из того, что в руках Бушуева топор? Топоры лежат в коридоре, нетрудно выскочить за дверь, разобрать по рукам...

Шумят сквозь наглухо закрытые окна пороги. Никто не двигается, стоят, переминаются, глядят на Бушуева. Пахнет не потасовкой на кулаках, нет, топор в любой миг может подняться, и нельзя сомневаться — этот человек с легким сердцем опустит его на первую же подвернувшуюся голову. Его не связывают ни совесть, ни чело-

веческие законы. А даже Егор Петухов, обезумевший сейчас от ненависти и отчаяния, не решится схватить топор, чтобы разmozжить череп другому. Более двух десятков здоровых мужиков стоят в растерянности перед слабосильным, узкогрудым человеком. Стоят и молчат... Шумит вода на реке.

Егор, сидевший на полу, пошевелился, опираясь руками в пол, стал тяжело подниматься. Все внимательно следили за ним. Холодно, с острой настороженностью следили и Бушуев.

Егор поднялся, пошатываясь, прошел к своей койке, свалился на нее. Зашевелились остальные. Напряжение прошло, но настороженность и недоверие остались — косились на Бушуева, молчали.

Бушуев присел на койку, отвалился на подушку, положив возле себя топор, не спеша вынул папиросы, закурил, откинув назад голову, стал пускать дым в потолок. Потянулись к своим койкам и остальные.

Открылась дверь, пригнув голову под прптолоку, вошел Генка Шамаев, хмуро скользнул взглядом по койкам, споткнулся, поднял замок — большой, крепкий дверной замок, — бросил его в раскрытый, с разворошенным бельем чемодан Егора.

— Деньги-то хоть с полу приберите, — хмуро сказал он, стаскивая с плеч пиджак.

Деньги, вперемешку с рассыпанными картами, валялись возле печи. Никто не пошевелился, не стал их поднимать.

Лешка Малинкин последние два дня ходил очумелый — кучи денег, удачи, проигрыши, люди, стоящие за твоей спиной, жарко дышащие в затылок. Он смутно чувствовал: все, что происходит, — нехорошее, пугающее; рад бы отойти в сторону, но нет сил. И Саша не похвалит. Омут какой-то, нырнул — не выберешься. С замиранием сердца минутами думал: чем кончится? И вот хриплый крик Егора, короткая драка, Бушуев с топором в руках у своей койки...

Как и все, Лешка почувствовал ненависть к этому непонятному человеку. Он ждал, что Иван Стуинин, Егор Петухов — люди сильные, никогда ни о чем не говорившие со страхом, — бросятся на Бушуева, скрутят его.

И никто не бросился, все, как он, Лешка, стояли в растерянности. Страшен же, видать, этот человек со светлыми глазами на прищуре. Все скопом перед ним робеют.

Лешка с опаской подошел к своей койке, стоявшей впритык к койке, на которой, развалясь, курил Бушуев, стал торопливо раздеваться. Забраться скорей с головой под одеяло, отвернуться от Бушуева, забыть о нем. Едва его голова коснулась подушки, как почувствовал — что-то твердое выпирает сквозь наволочку. Он полез рукой, но острый пристальный взгляд Бушуева заставил обернуться.

— Ты... — чуть слышно, сквозь стиснутые зубы, прошептал Бушуев, — выйди на волю...

Лешка, не понимая, таращил на него глаза.

— На волю выйди, говорю. Словно бы по нужде... Меня дождись там... Ну!..

Бушуев небрежно отвернулся, нустил дым в потолок. Лешка все еще не понимал.

— Ну... — чуть слышно вытолкнул с дымом Бушуев.

И Лешка не посмел послушаться. Влез в резиновые сапоги, придерживая руками подштанники, пошел к дверям. Никто не обратил на него внимания.

Из-за леса выползла почти полная луна. С черной реки лился ровный, равнодушный ко всякой человеческой суете шум воды. Лешка стал в тень под стену, поеживаясь в одном исподнем от ночного холода, сдерживая стук зубов, стал ждать, поминутно оглядываясь. Кажалось, со стороны подозрительно следят чьи-то глаза. Вслушивался: не уловит ли в шуме воды приближающиеся шаги...

Ждать пришлось долго. Луна, ядреная, чуть сточенная с одного бока, освещала просторный двор, железную бочку посреди двора. В конторе теплилось окно. Там сидел Саша. Если сорваться сейчас да к нему: Бушуев, мол, нехорошее затевает?.. Он-то не отступит...

Лешка топтался, поеживался и не решался сорваться с места.

Легко проскрипело крыльцо, в белой незаправленной рубашке, прижимая локтем топор, появился Бушуев. Свободной от топора рукой взял Лешку за грудь, притянул к себе, обдавая табачным перегаром, заговорил захлебывающимся шепотом:

— У тебя в подушке — десять косых... В субботу отнесешь к себе домой, в деревню. Припрячь понадежней, приду в гости. Скоро иль нет, но приду... Ты из Яремгой. третья изба справа — все знаю. Ссучишься — живым не

быть. А коль выгорит — две косых тебе на сладости. По-нял, телок? Им и в голову не придет, что деньги-то у тебя. А меня пусть щупают.

Бушуев сплюнул сквозь щербатину.

— Иди!

Лешка выбивал дробь зубами.

— Отдал бы ты деньги,— попросил он.— Ребята-то шибко сердиты.

— Не учи, сопля.

— Тог... тогда сейчас уходи. Бери деньги и уходи.

— У-у, сука, зубами стучишь... Уходи? Без паспорта-то?.. Мой паспорт Саша у себя держит... Проваливай, а то и на тебя станут косоротиться. Помни: чуть вякнешь — убью!

17

Лешка вернулся в обжитое тепло общежития. Кто-то из ребят уже безмятежно всхрапывал. Генка Шамаев курил, думал о чем-то. Деньги по-прежнему валялись на полу.

Егор Петухов, нераздетый, в сапогах, лежавший лицом вниз па своей койке, при шуме открывшейся двери вздрогнул, рывком поднял голову — взгляд дикий, веки красные, лицо опухшее.

— Ты там был? Видел его? — хрипло спросил он.

— Кого? — спросил Лешка упавшим голосом.

— Кого, кого!.. Словно не знаешь. Ты вышел, а он за тобой следом. Спелись с ним.

— С ума спятил,— повернулся к Егору Генка.— Из-за денег сбесился. Может, па меня кинешься? Ложись, Лешка.

У Лешки дрожали колени. Волоча ноги, он прошел к своей койке, залез под одеяло. Едва его голова коснулась подушки, как снова почувствовал лежавший в ней узелок с деньгами. На секунду появилось острое желание вскочить, закричать: «Ребята! Вот деньги! Он мне в подушку сунул!» В него верят. Своих обманывать! Но ведь пригрозил: «Чуть вякнешь — убью!» И убьет, долго ли такому.

Лешка поджал к животу поги и замер — никак не мог согреться, знобило.

А Егор плачущим голосом жаловался:

— Он же сбежит... Махнет с нашими деньгами за реку, только его и видели...

— Без порток, считай, выскочил. Куда он в таком виде — всякому в глаза бросится, — лениво возражал Генка. — Ты завтра за ним в оба гляди.

— Тогда что ж он там торчит? Тогда он, значит, наши деньги припрятывает...

— Вернет, заставим...

Кто-то поднял голову:

— Шабаш, ребята. Завтра в семь вставать.

Из своего угла Иван Ступнин вздохнул:

— Перипетия...

В общежитии наступила тишина. Скрипел на койке Егор.

Лешка, прижавшись ухом к выпирающим сквозь подушку деньгам, притих. Озноб прошел, но сложное, непривычное, томящее чувство охватило его. Не так давно на соседней койке, куда должен скоро вернуться Бушуев, спал Толька Ступнин. Он часто говорил Лешке о том, что читал в книгах. Рассказывал о больших городах, об институтах, об ученых людях, о самолетах, что могут поднять в воздух всех людей, какие есть на участке. Когда Лешка слушал Толю, мир за пределами их сплавучастка казался сказкой, населенной могущественными и добрыми людьми. Сейчас впервые открылось: в том большом мире живут еще и Николаи Бушуевы. Как соединить в одно Толькины рассказы и этого человека с черной душой? Запутан и непонятен большой мир...

Лешка лежал, плотно закрыв глаза, и чувствовал себя бесконечно маленьким, беспомощным, глупым перед той жизнью, которая, как океан, окружает знакомый ему островок — крохотный поселок, притиснутый лесами к реке. Первое разочарование, первое смятение, первый страх, первое наивное прозрение затянувшегося детства.

Егор Петухов не мог успокоиться. Натыкаясь на спинки кроватей, он подошел к койке Бушуева, с ожесточенным лицом стал щупать пиджак, висящий на гвозде, приподнял подушку, помял ее, откинул матрац...

«Деньги ищет... — Лешка похолодел. — Сейчас мне скажет: а ну, вставай!..» Деньги сквозь наволочку давили в висок. «Что же делать? Сказать?.. Но Бушуев?.. Что они ему сделают? Ну, выгонят, ну, в шею дадут, пусть даже поколотят — все равно останется живой и здоровый. А он и в деревне знает дом — найдет, из-под земли выроет...»

Лешка лежал, прижавшись виском к деньгам. И Егор, разбрасывающий постель Бушуева, казался ему в эти минуты не таким, каким привык всегда видеть. Раньше был

обычный человек, только, может, скупее других... Теперь — лицо злобное, упрямое, глаза красные. Узнай сейчас, что он, Лешка, лежит на деньгах, — пожалуй, душище бросится. Чужой, непонятный! А ведь больше года жил с ним бок о бок.

Затаив дыхание, Лешка глядел из-под одеяла на Егора. Тот, разворошив койку, выругался, отошел.

18

Выпотрошив наловленную рыбу, обложив ее крапивою, Дубинин выставил в сенцы, на холодок ведро, не снимая пиджака, сел в конторе и под хриплые звонки вечно бодрствующего телефона задумался.

Вспомнил, как Бушуев, только что вытащенный из порогов, лежал на койке с зеленым, обросшим щетиной лицом — острые коленки проступают сквозь одеяло, тонкие руки устало вытянуты вдоль тела, надпись на груди...

Счастья нет у тебя, сукни сын! Руку тебе протянули: давай выкарабкивайся, прислоняйся к нам. Пусть у нас у самих немудрящее счастье, но какое есть. С большим-то ты, поди, и не справишься.

Рвешь у других. Надеешься, что так легче прожить? Ой, нет. Не с землей, не с водой, не со зверем приходится воевать, а с человеком. Человек упрям, никогда не отдает свое счастье легко и просто. И потому ты, Николай Бушуев, не богат и не славен, потому жизнь тебя так гнула, что пришлось признаться: «Года идут, а счастья нет».

Но ведь есть же Бушуевы и удачники. Сколько их ходит по свету! Просторна земля, а таким вот тесно на ней, стараются оттолкнуть соседа, верхом на него сесть. Тесно?... Даже смешно думать об этом. Здесь, на участке, живут тридцать два человека, оттого и скучно — кино даже нет. А если б триста тысяч жили — пороги бы прикрыли, пароходы бы пустили, театров бы понастроили, музыка бы по вечерам играла... Просторна земля и обильна — могло бы хватить счастья всем.

Доносился шум воды, надрывался телефон на стене. Дубинин встал.

При первой встрече он сказал Бушуеву, что со сплав-участка скрыться трудно. А так ли трудно? Можно бежать не пешком и не на весельной лодке — на моторке. Она всегда стоит под берегом, моторист Тихон никогда не

снимает с нее мотора. Если вечером сесть, то за ночь вниз по течению все участки останутся за спиной. А впереди перевалочная база, там сотни рабочих, среди которых легко затеряться, там железнодорожная ветка, там шоссе... Будет потом посмеиваться, что обвел простаков вокруг пальца.

Молчаливый, загадочный, поднимался над рекой лесистый берег — величественная стена, отделяющая маленький поселок от остального мира. Река была черная, только на середине неистово трепыхался лунный свет, рвался вперед вместе с течением и не мог сорваться.

Дубинин снял с лодки мотор, положил на берег и долго стоял среди валунов, глядел на судорожно мечущийся на воде лунный след, слушал рычание порога, легкие всплески о борта лодок.

Что он может сделать? Вразумить? Найти слово? Где уж, не горазд на слова. Просто вытолкать в шею? Скинуть со своих плеч на чужие, а там хоть трава не расти — чем-то бушуевским пошакивает...

Дубинин взвалил на плечи тяжелый мотор и, глядя на свою короткую тень, ползущую по камням, стал подниматься по берегу на теплившееся окно конторы.

Не доходя метров десяти, он заметил, как в освещенном окне мелькнула тень. «Кто там? В такое время?..»

Чуть сутулясь под тяжестью мотора, Дубинин осторожно приблизился.

Согнувшись над столом, рылся в бумагах Бушуев. На столе лежал топор.

«Что это он? Что нужно?..— И вдруг осенило: — Паспорт! Я же его не отдал...»

Паспорт был не в столе, а в полевой сумке, что висела на стене возле телефона, прямо за спиной Бушуева. Он не замечал ее.

Наверно, Дубинин неосторожно переступил с ноги на ногу, Бушуев резко вскинул на окно глаза — лицо собранное, застывшее, глаза же затравленно бегают.

Они столкнулись в темных сенях.

— Саша? Ты? Я тут к тебе...— Ни страха, ни смущения в голосе. Дубинин в темноте схватил за локоть, вытащил на крыльцо.

— Пошли.

— Куда?

Дубинин не ответил.

При свете луны просторный двор казался особенно пустынным. На полпути к общежитию темнела старая железная бочка. Окна общежития светились. И этот свет в окнах, несмотря на то что время давно перевалило за полночь, и Бушуев, забравшийся в контору, и топор, не без умысла зажатый у него под мышкой,— все говорило: что-то случилось, пора действовать.

Не доходя до бочки, Бушуев остановился:

— Ты куда меня ведешь?

— Идем, не разговаривай.

— Да обожди... Хочешь, чтоб я деньги отдал?.. Так и скажи.— Голос Бушуева был миролюбив.

— Отдашь. Но прежде с ребятами потолкуем.

— Толковать-то легче, когда я деньги на стол выложу. Добрее будут...

— Вот и выложишь...

— Так я спрятал.— Бушуев, схваченный за локоть, глядел на Дубинина через плечо.

— Где?

— Не выгорело, что ж... Пойдем, покажу.

Дубинин помедлил и решился.

— Веди.

Бушуев потянул мастера от общежития к берегу, за столовую, к дамбе.

— Помнишь, Саша,— с прежним миролюбием говорил он,— ты меня спрашивал, хочу ли я домой. Я там семнадцать лет не был, с начала войны... Вот и запало: приехать бы туда, взять бы в жены бабу с домом. С деньгами-то любая примет. Жить как все. Надоело по свету болтаться, надоело, когда вертухай за спиной стоит.

— Поработал бы честно, и езжай себе. Добрым словом проводили бы.

— А еще, Саша, дорогой ты наш начальничек, надоели мне ваши леса. Живу здесь и словно не на свободе. Сырость, тучи, пороги — тьфу! У нас поля кругом, приволье, теплынь. Не хотел я твоих ребят перестыть, но сами, дураки, полезли. Как не пощупать? На берега эти тошно глядеть, на остолопов, которые живут в дыре...

— Ладно, умник, кончай разговор. Где деньги спрятал?

— Обожди. Что-то тороплив ты сегодня. У меня желания нет торопиться.

— Ну!

— Не пугай! — Бушуев вырвал локоть, стал напротив, в рубахе, выпущенной поверх брюк, в резиновых сапогах: снизу — громоздкий и неуклюжий, сверху — узкоплечий, с вытянутой шеей.

За ним, уходя в призрачную лунную ночь, возвышалась дамба, сложенная из крупных валунов, укрепленная столбами. Совсем рядом шумела Большая Голова, чувствовалось ее влажное дыхание.

Бушуев поудобнее перехватил топор.

— Тебе при людях потолковать хотелось, мне — вот так, в тесной компании. Благодать, никого кругом. — Бушуев насмешливо разглядывал мастера.

— Где деньги, сучий сын? — шагнул на него Дубинин.

— Осади, осади. Не увидят твои ребята денег.

— Ты топором не трясись, не испугаешь!

— Ой, начальничек, не лезь. Давай лучше по доброму сговоримся: ты мне скажешь, где мой паспорт лежит, и без крику отпустишь. А я, так и быть, не трону тебя.

— Брось топор! — Дубинин сжал кулаки.

Но Бушуев поднял топор, заговорил свистящим бешеным шепотом:

— С кулаками на топор — смерти хочешь! Стукну и в реку сволоку, в ней места много... Паспорт давай, гад! В твоих бумагах нет, в кармане таскаешь. Давай паспорт, паскуда!

Дубинин отскочил, попытался нагнуться, чтобы поднять камень.

— Ах, та-ак, сука! — Бушуев пошел на него. — Перышко при себе носишь! Не страшно. Махни только перышком, я т-тебя накрою!

Дубинин совсем забыл про нож, висящий у пояса. Он выдернул финку... Но что с кулаками, что с ножом — одинаково трудно драться с человеком, у которого в руках топор. Держа в руке нож, Дубинин отступал к реке, боясь споткнуться о камень и полететь на землю.

Его сапог соскользнул с камня в воду — за спиной река, отступать некуда.

— Капец тебе! Гони паспорт, не то...

И Дубинин кинулся вперед. Он успел отклониться, прикрыть рукой голову. Должно быть, топор был тупой, лезвие, задирая рукав, скользнуло от запястья к локтю. Но рука после этого сразу упала, стала непослушной, деревянной.

А рядом — искажившееся, с оскалом щербатого рта ли-

цо, широко открытые бешеные глаза. Топор снова взлетел вверх. Дубинин бросился прямо под топор, вплотную — так, в тесноте, топор неопасен, — попытался обхватить Бушуева, но разбитая рука не слушалась. Бушуев вывернулся, все еще держа над головой топор.

Не соображая, боясь только одного — что поднятый топор вот-вот опустится на голову, Дубинин ударил ножом в грудь сверху вниз — раз, другой, третий!

Топор с глухим звоном упал на камни. Бушуев вытянулся, задрал вверх подбородок и мягко, без шума откинулся назад.

Ревела вода на пороге. Кроме ее шума, не слышно было ни звука. Огромные валуны, тяжело давя друг друга, поднимались стеной. Раскинув руки, в просторной белой рубашке, лежал Бушуев, неуклюжие резиновые сапоги торчали вверх тупыми носами. Шумела вода...

Дубинин взглянул на нож, на блестящем при свете луны лезвии увидел черные пятна — кровь. Бросил нож. Заплетающимися ногами шагнул к Бушуеву, нагнулся и сначала отпрянул... Глаза Бушуева были открыты, а горло сжималось и распускалось, изо рта черной нитью текла кровь, вырывалось икающее дыхание. Снова нагнулся Дубинин, хотел приподнять голову, но рука на затылке попала во что-то липкое. Только со стороны казалось, что падение Бушуева было мягким и бесшумным, — он разбил о камни затылок. На рубашке с левой стороны груди расплзлось маслянистое, темное пятно... Дубинин разогнулся.

Он шел к дому. Отвороты резиновых сапог задевали один за другой. Шумела вода, скрипел под сапогами песок, шуршали, отмечая шаг за шагом, резиновые отвороты, глядела сверху безучастная луна...

В конторе Дубинин снял с телефона трубку. Линия, еще недавно кипевшая разговорами, теперь была пугающе тиха.

В районном отделении милиции дежурил какой-то старшина Осипов.

— Это с пятого сплава участка Дубинин говорит... Дубинин! Я тут человека убил... Да, я... Нечего рассказывать, сами узнаете... Лодку к утру выслать? Вышло...

Повесил трубку, сел на стул, бережно устроил на коленях большую руку...

На следующий день, часам к одиннадцати, моторист Тихон привез на лодке троих — следователя, врача и милиционера.

Все население маленького поселка молчаливой толпой встретило приехавших, вместе с ними пошли к дамбе, где на прибрежных камнях лежало тело Бушуева.

Врачиха, немолодая женщина с увядшим и каким-то домашним лицом, разрежала от подола до воротника рубаху на теле Бушуева, бережно касаясь груди кончиками пальцев, осмотрела раны, приподняла голову, обследовала разбитый затылок. Следователь поднял нож и, хмурясь, его разглядывал, потом попросил милиционера схватить топор.

В конторе, расстегнув пальто, отбросив с волос на плечи платок, врачиха за столом Дубинина принялась заполнять свои бумаги. От ее трудолюбиво склоненной фигуры в стенах этой комнаты — наполовину учреждения, наполовину холостяцкого жилья — веяло покоем. Когда Дубинин глядел на нее, ему казалось, что все случившееся не так уж страшно.

Следователь был молод — большие хрящеватые уши поддерживают форменную фуражку, лицо под фуражкой круглое, щекастое, губы сердечком. С Дубининым он разговаривал очень вежливо и холодно.

— Вы знали о выигрышах убитого?

— Знал.

— И вы не догадывались, где убитый может хранить деньги?

— Если б догадывался, не пошел бы вместе с ним искать их.

Дубинин отвечал и ужасался своей догадке — подозревает, что он убил Бушуева из-за денег. Хотел рассердиться, прикрикнуть: «Как ты смеешь, сопляк!» А потом понял: ведь в его годы он, Александр Дубинин, был не богаче ни умом, ни совестью. Послали к преступнику. А раз Дубинин преступник, то следователь, еще садясь в лодку, уже подзревал и не верил. Ни криком, ни добрым словом такого не переубедишь, придется терпеть.

Дубинин покорно и коротко отвечал на каждый вопрос.

— Будем опрашивать других, будем искать деньги, — заявил следователь. — Если они не найдутся, я, к сожалению,

нию, выпужден буду арестовать вас. Прошу посидеть на крыльце и никуда не удаляться без разрешения.

Дубинин вышел.

Бушуева перенесли к конторе. Он лежал у крыльца, выставив в небо подбородок, окровавленная рубашка разрезана, раскрывает плоскую грудь: «Года идут, а счастья нет».

21

Разговор с Бушуевым. Деньги. И ранним утром крик — убийство! Это уже совсем оглушило Лешку. Вой, рви волосы, маму кричи. Непонятно! Тьма!

Всю ночь деньги лежали под подушкой. Ужасные деньги! Крикнуть бы: «Вот они, освободите, будь трижды прокляты!»

Вот они!.. А Егор Петухов набросится: «Я искал, ты лежал рядом, молчал!» А какое у Егора было тогда чужое и страшное лицо... Что Егор — все набросится: с восторгом снюхался, за деньги товарищей продал!

А Саша?.. Убийца! Даже вслух произнести это слово не осмелишься, даже подумаешь — кровь стынет. Каково сейчас ему? И все он, Лешка... Он вытащил из порогов этого Бушуева (знал бы тогда!), он не решился бежать вчера к Саше и рассказать все... А теперь деньги... Если Саша узнает о них...

Отвернется Саша, отвернутся все, выгонят с участка, в деревне станет известно: «Лешка Малинкин — вор!» Куда там угрозы Бушуева. Страшно, непонятно. Как быть?

Заправляя койку, Лешка незаметно достал из-под подушки деньги. Они были завязаны в грязный носовой платок. Лешка сначала втиснул узелок в карман брюк, карман оттопырился, стало еще страшней — теперь-то уж каждый увидит. В дощатом нужнике Лешка развязал узелок, разделил деньги на две пачки и засунул их поглубже за резиновые голенища сапог — по пачке за каждое голенище.

Он вместе со всеми встречал следователя, вместе со всеми ходил на место убийства, толкался у крыльца конторы и ни на одну секунду не переставал думать — как быть? Спрятать где-нибудь в камнях, потом сделать вид, что нашел их случайно? Или того лучше — подстроить, чтоб кто-то другой нашел, например Егор Петухов? Но

при одной мысли, что ему придется воровски прятать деньги, начинался озноб. Бросить бы их в реку, забыть, не знать!

Сплавщики собрались в общежитии, и тут впервые были произнесены слова — Сашу Дубинина подозревают! И Лешка обмер. Он сидел, прятал лицо, старался не глядеть на сапоги, где были спрятаны деньги. Как-то не думал раньше, что Сашу могут обвинить. Без того казнит себя, а тут еще — подозрение — убил из-за денег! Да что же это? Надо рассказать все, начисто, деньги выложить, спасти Сашу от оговоров!..

Пришел участковый милиционер, попросил никуда пока не расходиться, вызвал к следователю первого — Генку Шамаева.

«В судах сидят люди справедливые, должны понять... Попрошу никому не рассказывать. Нашлись деньги — и все тут. Никто не виноват, кроме Бушуева, кому какое дело, где нашлись...»

Его вызвали сразу же после Егора Нетухова, и это испугало. Егор не доверяет, может всякого наговорить следователю. Тот сразу станет подозревать, а тут еще деньги увидит. Попробуй тогда оправдаться.

«Все равно скажу, все равно...» — твердил Лешка, осторожно переступая сапогами, начиненными бушуевскими тысячами.

Неподалеку от крыльца лежало тело Бушуева в окровавленной рубашке. На крыльце сидел Дубинин; рядом с ним, прислонившись к столбу, стоял милиционер.

Дубинин сидел прямо, глядел в сторону, на шумящую воду Большой Головы, бережно придерживал на коленях большую руку. И Лешке он в эту минуту показался маленьким, одиноким. Саша Дубинин уже перестал быть хозяином, он сейчас такой же беспомощный, как и сам Лешка.

А хозяин участка — незнакомый человек: фуражка с лакированным козырьком, на груди светлые пуговицы, из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду, иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «уголовный кодекс...». Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял: должно быть, страшные вещи. А ему хотелось, чтобы поняли, пожалели, простили...

Глядят пристально глаза из-под лакированного козырька фуражки. Нет, не поверит, нет, скажет — был за-

одно с Бушуевым! А Саша?.. Вдруг да он тоже не поверит? Как доказать? Как открыть правду? Правду знал один лишь Бушуев. И Лешка впервые пожалел, что Бушуев мертв, что уже никто, даже этот человек с блестящими пуговицами, — никто, никто не заставит говорить, не вырвет из него правду.

Не поверит следовательно... Не поверит Саша Дубинин... Не поверят ребята... На вопрос, не может ли он сказать, куда девал покойный Бушуев выигранные деньги, Лешка ответил:

— Не знаю.

Он снова прошел мимо Дубинина, мимо милиционера, мимо задравшего в небо подбородок Бушуева, прошел, не поднимая головы. Так же осторожно ступая, каждую секунду напряженно помня о деньгах, лежащих за голенищами сапог, направился не к общежитию, а к берегу реки. Шел и боялся оглянуться, ждал окрика: «Эй, ты! Куда?!» Но никто его не окликнул...

22

Один за другим проходят мимо товарищи — те, с кем жил рядом, те, для кого жил. Кинут жалобный, растерянный взгляд и поспешно опускают глаза. Один за другим — в контору и из конторы...

А за спиной — молчаливый милиционер, на земле — человек, которого ты убил своими руками.

Не виноват! Нельзя было поступить иначе. Чиста совесть! И когда глядел в сторону на ныряющие по Большой Голове бревна, на вздыбленный лесистый берег, на низкие покойные облака, верил — не виноват. Но глаза сами опускались к земле: восковая грудь, запрокинутая голова, окровавленные лохмотья рубашки, окостеневшая желтая рука на примятой траве...

Да, защищался, шел с пожом против топора, да, если б не убил, то сам валялся бы возле крыльца... Все так, но запрокинутая голова, бурые нятна крови на рубашке, судорожно сведенная кисть руки — нет прощения тому, кто приносит смерть.

Кипит Большая Голова, кидает бревна, сумрачные ели и сосны лезут по крутому берегу к небу, а небо низкое, покойное, обещающее короткий дождь. Бушуев никогда не увидит этого. Удар ножа — и мир исчез.

Удар ножа... Древняя, как сама жизнь, история — че-

ловек не поладил с человеком. И сто, и двести, и много тысяч лет назад такие вот Бушуевы подымали нож и тонор на других, заставляли и на них подымать нож. Неужели это проклятие вечно, неужели от него нельзя избавиться?

Сутулится на крыльце Александр Дубинин, глядит па лесистые берега, па реку, па небо. Все знакомо, каждый день видел эту реку, и эти берега. Усеянная камнем, скудная земля, но из нее, из каждой щели прет жизнь. На притоптанной, жесткой, как железо, тропинке, нагло разбросал листья подорожник — вот как мы: живем, не тужим! А совсем рядом — бескровная, окостенелая сведенная рука...

Сидит Дубинин с окаменелым лицом. Проходят мимо него товарищи, опускают глаза.

23

Моторист Тихон, обычно перед каждой поездкой проклинавший свою судьбу, сейчас был бестолково суетлив и лишь подавленно вздыхал:

— Ах, боже мой...

Мотор долго не заводился.

— Ах, боже мой, боже мой...

Наконец мотор застучал. Следовательно, врачаха, Дубинин, милиционер полезли в лодку.

Сплавщики молчаливой толпой теснились на берегу. Дубинин кивнул им головой:

— Ничего, ребята. Уладится.

— Саша, — выступил вперед Генка Шамаев, — сказать хочу... Обожди, Тихон, не отчаливай... Мы землю прободем, а докажем, что ты не виновен.

— Уладится.

— А то, что попрекал тогда... Помнишь, за Катю-то?.. Напрасно... Утрясется эта заваруха — па свадьбе погуляем.

— Ну, ну, прости, коли так.

Оставляя над водой голубоватый дымок, лодка вырлила на середину реки, вот она залясала на Большой Голове, то оседаю на бурунах, то задирая вверх нос, прошла Малую, скрылась... Никто не обронил ни слова.

Молча, каждый глядя себе под ноги, потянулись в общежитие, молча разбрелись по своим койкам.

Не было только одного Егора. Он бродил по берегу в

вечерних сумерках, отворачивал камни, заглядывал под кусты — все еще надеялся найти деньги.

Первым подал голос Генка:

— Проиграли в карты человека! И какого человека — Сашку!

— Ладно, не трави, без того тошно.

— Давайте, братцы, думать лучше, как бы выручить побыстрей.

— Деньги чертовы! Ежели б деньги нашлись, сразу б с него вину сняли.

— А может, соберем эти деньги, скажем — вот они, нашлись.

— Верно! Те-то были не меченые.

— Хитрость невелика — раскусят. Того хуже дело запутаем.

— Бросьте мудрить! Не с душой же Бушуева деньги улетели. Здесь! Камень по камню весь участок перекидаем, по бревнышку, по щепочке общезитие переберем — найдем!

И тут раздались сдавленные рыдания. Все подняли головы. Уткнувшись в подушку, плакал Лешка Малинкин.

Шумела Большая Голова за стеной. Откровенно, без стеснения рыдал Лешка. Все молчали, переглядывались. Только Иван Ступпин растерянно протянул:

— Пери-пе-тия...